



Чарльз Диккенс

Жизнь и приключения Мартина Чезлвита



Перевод с английского
Нины Дарузес

ФТМ



Чарльз Диккенс

**Жизнь и приключения
Мартина Чезлвита**

«ФТМ»

1843

Диккенс Ч.

Жизнь и приключения Мартина Чезлвита / Ч. Диккенс —
«ФТМ», 1843

ISBN 978-5-4467-1925-9

«Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (1843) – роман, написанный после посещения Диккенсом Америки. Основой сюжета явилось критическое изображение американской действительности. События романа развиваются вокруг борьбы за наследство богача Мартина Чезлвита-старшего. С глубоким мастерством раскрыта в поведении толпы жадных родственников и предприимчивых авантюристов деморализующая психология, рождающая и преступления, и отвратительное лицемерие, и откровенный эгоизм.

ISBN 978-5-4467-1925-9

© Диккенс Ч., 1843

© ФТМ, 1843

Содержание

Предисловие	5
Глава I	7
Глава II,	12
Глава III,	24
Глава IV,	36
Глава V,	49
Глава VI	64
Глава VII,	74
Глава VIII	85
Глава IX	93
Глава X,	111
Глава XI,	122
Глава XII,	136
Конец ознакомительного фрагмента.	139

Чарльз Диккенс

Жизнь и приключения Мартина Чезлвита

Предисловие

Что кажется преувеличением одному разряду умов и мнений, то другим воспринимается как очевидная истина. То, что обычно называют проницательностью, помогает различать множество характерных черт и деталей там, где человек близорукий не увидит ровно ничего. Я иногда задаю себе вопрос: уж не в этом ли разница между некоторыми писателями и некоторыми читателями? Верно ли, что именно писатель берет слишком яркие краски, или же бывает и так, что глаз читателя плохо различает цвета?

Впрочем, по этому вопросу у меня имеются практические наблюдения, представляющие больше интереса, чем только что изложенная теория. А именно: мне ни разу не удавалось взять героя прямо из жизни, без того чтобы один из двойников этого героя не спросил меня недоверчиво: «Нет, правда, неужели вы действительно видели такого, как он?»

Думаю, что все отпрыски семейства Пексниф, обитающие на земле, совершенно согласны в том, что мистер Пексниф есть преувеличение, что такого лица никогда не существовало. Я не собираюсь спорить по этому поводу со столь могущественной и высокопоставленной кликой, скажу лишь несколько слов о характере Джонаса Чезлвита.

Я полагаю, что подлая грубость и жестокость Джонаса Чезлвита была бы неестественной, если бы в его воспитании с самого детства, в правилах и примерах, которыми он всегда руководился, не было всего того, что порождало и поощряло эти отвратительные пороки. Но при таком происхождении и воспитании, когда его с колыбели поощряли во всем, что отталкивает людей, когда его хитрость, вероломство и скупость превозносили и оправдывали, Джонас представляется мне законным потомком отца, на голову которого пали грехи сына. И я смею утверждать, что возмездие, постигшее старика в его позорной старости, есть не только акт поэтического правосудия, но и прямая правда, логически доведенная до конца.

Я считаю нужным дать это пояснение в интересах читателя, который задумается над этой книгой, потому что в жизни мы часто не даем себе труда исследовать причины преступлений и пороков, обсуждаемых всеми. То, что является верным по отношению к отдельным семьям, остается верным и по отношению ко всему человеческому обществу. Что посеешь, то и пожнешь. Пусть читатель войдет в детское отделение любой тюрьмы в Англии или, прибавлю с сожалением, многих работных домов и решит сам, вырождаются ли это позорят наши улицы, населяют наши плавучие тюрьмы и исправительные дома и переполняют наши каторжные колонии, или это люди, которых мы сознательно обрекли на нищету и гибель.

Американская часть книги является карикатурой лишь постольку, поскольку она показывает (за исключением мистера Бивена) главным образом то, что достойно осмеяния в американском характере, — ту сторону, которая двадцать четыре года тому назад бросалась в глаза по преимуществу и которую скорее всего должны были разглядеть такие путешественники, как молодой Мартин и Марк Тэпли. А так как я в своих книгах никогда не высказывал склонности смягчать то, что дурно и достойно осмеяния у меня на родине, то я надеялся, что добродушный парод Соединенных Штатов в большинстве своем не осудит меня, если я и для чужого края не отступлю от своего обыкновения. Мне приятно думать, что этот великий народ не обманул моих ожиданий.

Когда эта книга впервые вышла из печати, некоторые авторитетные лица дали мне понять, что Уотертостская ассоциация и ее ораторское красноречие совершенно неправдоподобны. Поэтому я считаю нужным подчеркнуть, что вся эта часть переживаний Мартина Чезлвита есть буквальный пересказ протоколов публичных заседаний в Соединенных Штатах (а особенно протоколов некоей Водочно-винной ассоциации), которые печатались в «Таймсе» в июне – июле 1843 года, – приблизительно в то время, когда я писал эти главы моей книги, – и которые, вероятно, хранятся в архиве «Таймса».

Во всех моих писаниях я никогда не упускал случая указать на те антисанитарные условия, в которых живет наша беднота. Двадцать четыре года тому назад миссис Сара Гэмп была типичной сиделкой для неимущих больных. Лондонские больницы считались во многих отношениях почтенными учреждениями, но сколько же там было недостатков! Одним из примеров творившихся в них безобразий служит, я думаю, то, что миссис Бетси Приг была образцовой больничной сиделкой, а также то, что больницы, при наличии специальных средств и фондов, целиком и полностью предоставляли частной инициативе и благотворительности воспитывать и совершенствовать Эту категорию лиц; потом они стали много лучше благодаря стараниям некоторых добрых женщин.

Глава I

вступительная, где речь идет о родословной семейства Чезлвитов

Так как ни одна леди и ни один джентльмен из числа хоть сколько-нибудь претендующих на благовоспитанность не удостоят своим вниманием семейство Чезлвитов, не уверившись наперед в глубокой древности их рода, то нам чрезвычайно приятно сообщить, что они несомненно происходят по прямой линии от Адама и Евы и с незапамятных времен имели самое близкое отношение к сельскому хозяйству. Если бы недоброжелатели и завистники вздумали утверждать, что тот или другой Чезлвит того или другого поколения слишком уж занесся и возгордился своим происхождением, то такую слабость со стороны обвиняемого следовало бы не только извинить, но и считать похвальной, принимая во внимание неизмеримое превосходство этой семьи над всем остальным человечеством в отношении древности рода.

Интересно отметить, что если – в древнейшей фамилии, память о которой сохранила нам история, имелись убийца и бродяга¹, то и в истории других древних фамилий мы неизменно встречаемся с бесчисленными повторениями Этих двух человеческих разновидностей. Можно считать общим правилом, что чем длиннее ряд предков, тем больше в семейной истории убийств и грабежей, ибо в старину эти два вида развлечений, сочетавших здоровый моцион с верным средством поправить расстроенное состояние, являлись одновременно и благородным промыслом и полезным отдыхом для знати нашей страны.

А посему весьма утешительно и отрадно вспомнить, что во все периоды нашей истории Чезлвиты принимали деятельное участие в человекоубийственных заговорах и кровопролитных схватках. Имеются также свидетельства о том, что, закованные с головы до ног в надежную стальную броню, они весьма мужественно посылали одетых в кожаные куртки солдат на верную смерть, после чего в самом приятном расположении духа возвращались домой, к родным и знакомым.

Не подлежит никакому сомнению, что по крайней мере один из Чезлвитов пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем². Однако, надо полагать, впоследствии этот монарх не очень-то благоволил к их благородному предку, ибо ни из чего не видно, чтобы семейству Чезлвитов были пожалованы во владение земельные угодья. А между тем хорошо известно, что, награждая этого рода собственностью своих фаворитов, знаменитый норманн выказывал ту изумительную щедрость и признательность, какими обыкновенно отличаются великие мира сего, когда раздают направо и налево чужое добро.

Быть может, здесь нам следовало бы остановиться и поздравить себя с теми неистощимыми сокровищами храбрости, мудрости, красноречия, доблести, знатности и благородства, какими обогатилась Англия после вторжения норманнов; добродетелями, к которым генеалогия каждого старинного рода прибавляет немалую долю и которые вне всякого сомнения были бы ничуть не меньше и породили бы совершенно такой же длинный ряд благородных отпрысков, кичащихся своим происхождением, даже и в том случае, если бы Вильгельм Завоеватель оказался Вильгельмом Завоеванным: от такой перемены, можно сказать с полной уверенностью, решительно ничего не изменилось бы.

¹ Убийца и бродяга – намек на библейское предание о Каине, убившем своего брата Авеля и осужденном за это богом на вечные скитания.

² ...пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем. – В 1066 году Вильгельм, герцог Нормандии, во главе нормандских феодалов завоевал Англию; с 1066 по 1087 год – король Англии.

Нет ни малейшего сомнения в том, что один из Чезлвитов участвовал в Пороховом заговоре³, а может быть, и сам архипредатель Фокс⁴ был отпрыском их замечательного рода; это весьма возможно, если предположить, что один из Чезлвитов предыдущего поколения эмигрировал в Испанию, где и сочетался браком с испанкой, от которой имел потомство – единственного сына с оливковым цветом лица. Столь вероятное предположение подкрепляется, если не подтверждается безусловно, одним обстоятельством, не лишенным интереса для всех изучающих развитие наследственных склонностей у лиц, коим эти склонности передались без их ведома. Известно, что в наше время многие Чезлвиты, потерпев неудачу на других поприщах, занялись торговлей углем, без всяких на то разумных оснований и без малейшей надежды разбогатеть, и месяц за месяцем угрюмо созерцают свой более чем скромный запас товара, не имея случая даже поторговаться с покупателем. Поразительное сходство между этим занятием и тем, какому предавался великий предок Чезлвитов под сводами парламентских подвалов в Вестминстере, так явно и многозначительно, что не нуждается в комментариях.

Кроме того, устными преданиями семейства Чезлвитов установлено вполне точно, хотя неясно, к какому периоду их семейной истории это относится, что существовала некогда особа такого вспыльчивого характера и до такой степени привыкшая к обращению с огнем, что ее прозвали «выжигой», каковое прозвище, или кличка, сохранилось за нею и до сего дня в фамильных легендах. Не подлежит, разумеется, никакому сомнению, что это и была испанская сеньора – матушка Чезлвита-Фокса.

Но имеется и еще одно доказательство, прямо говорящее о тесной связи Чезлвитов с этим памятным в английской истории событием, – доказательство, которое не преминет убедить даже умы, устоявшие перед вышеприведенными догадками (если таковые найдутся).

Несколько лет тому назад во владении одного всеми уважаемого и во всех отношениях почтенного и благонамеренного члена семьи Чезлвитов (ибо даже злейший враг не мог бы усомниться в его богатстве) находился потайной фонарь несомненно древнего происхождения, тем более примечательный, что и по виду и по форме он нисколько не отличался от тех, какие употребляются в наше время. Так вот, этот джентльмен, ныне покойный, всегда готов был поклясться и не раз утверждал самым категорическим образом, что его бабушка нередко говаривала, созерцая эту почтенную реликвию: «Да-да-да! Вот этот самый фонарь нес мой правнук пятого ноября, когда был Гаем Фоксом»⁵. Эти замечательные слова произвели на внука (как и следовало ожидать) сильное впечатление, и у него вошло в привычку повторять их довольно часто. Точный смысл этих слов и вывод, который надлежит из них сделать, в высшей степени убедительны и неотразимы. Старушка, наделенная от природы решительным характером, была тем не менее слаба здоровьем и забывчива; известно, что она нередко все путала или, во всяком случае, заговаривалась, чему бывают подвержены старые и болтливые люди. Незначительная очень незначительная обмолвка, которую можно усмотреть в ее словах, очевидна, и ее ничего не стоит исправить: «Да-да-да! – говорила она, и можно заметить, что Эти начальные слова не нуждаются ни в каких поправках. – Да-да-да! Этот самый фонарь нес мой прадед, – не правнук, что лишено смысла, а прадед, – пятого ноября. Он-то и был Гай Фоке». Таким образом, у нас получается связное, естественное и

³ ...участвовал в Пороховом заговоре... – Пороховой заговор (1605) был организован группой дворян-католиков (Роберт Кетсби, Гай Фокс и др.), замышлявших убийство короля Иакова I Стюарта и его министров. Сигналом к общему выступлению должен был послужить взрыв парламента. Заговорщикам удалось спрятать в подвале под зданием парламента бочки с порохом, но в последний момент планы их были раскрыты, главари схвачены и казнены.

⁴ ...сам архипредатель Фокс. – Речь идет о Гае Фоксе, офицере, которому было поручено поджечь бочки с порохом, заложенные под здание парламента. Был схвачен, подвергнут пыткам и казнен.

⁵ ...пятого ноября, когда был Гаем Фоксом. – Пятого ноября в память раскрытия Порохового заговора ежегодно совершалась торжественная церемония – подвальные помещения парламента обходила стража с зажженными факелами. В этот же день по улицам Лондона носили чучело Гая Фокса, которое затем сжигали.

ясное замечание, вполне сообразное с тем, что нам известно об этой старушке. В нем так явно подразумевается именно этот смысл и никакой другой, что едва ли даже стоило бы приводить анекдот в первой редакции, если бы он не доказывал, чего можно добиться не только в исторической прозе, но и в поэтических творениях, когда со стороны комментатора приложено сколько-нибудь сообразительности и труда.

Говорят, будто за последнее время не сыщется ни одного примера, чтобы какой-нибудь Чезлвит был на короткой ноге со знатью. Но и тут глумливые клеветники, чьими злобными мозгами порождены все эти жалкие измышления, немоют, пораженные силой доказательств. Ибо у многих членов семейства Чезлвитов хранятся письма, из коих явствует черным по белому, что некий Диггори Чезлвит имел обыкновение «обедать с герцогом Гэмфри»⁶. Он был таким частым гостем за столом этого вельможи, и его милость, должно быть, так навязывался со своим гостеприимством, что Диггори, как видно, стеснялся и неохотно там бывал, ибо писал своим друзьям в том смысле, что ежели они не пришлют с подателем сего письма того-то и того-то, ему ничего другого не останется, как опять «отобедать с герцогом Гэмфри», причем изъяснял свое пресыщение светской жизнью и аристократическим обществом в самых недвусмысленных и сильных выражениях.

Носились слухи, – и нет надобности говорить, что они происходили из тех же низменных источников, – будто бы один из Чезлвитов, чье рождение, надо сознаться, до некоторой степени облечено тайной, был весьма невысокого и даже темного происхождения. Где же доказательства? Когда сын этого Чезлвита, которому отец, видимо, еще при жизни открыл тайну своего рождения, лежал на смертном одре, ему задали следующий вопрос самым официальным, торжественным и решительным образом:

«Тоби Чезлвит, кто был твой дедушка?» На что тот, находясь при последнем издыхании, ответил не менее официально, торжественно и решительно: «Черт-те-кто!», каковой ответ был тут же записан и засвидетельствован шестью лицами, причем каждый из свидетелей проставил полностью свое имя, фамилию и адрес. Можно, разумеется, сказать, – да некоторые и говорили, ибо нет пределов человеческому злословию, – что таких имен нету и что даже среди титулов, которые давно уже сошли со сцены, нельзя найти ни одного сколько-нибудь похожего хотя бы по звуку. Но что же из этого следует? Если отбросить теорию, выдвинутую некоторыми доброжелательными, но заблуждающимися людьми, будто дедушка Тоби Чезлвита, судя по имени, был скорее всего китайский мандарин (что совершенно не выдерживает критики, ибо нет даже намека на то, что его бабушка выезжала когда-нибудь из Англии или что какой-нибудь знатный китаец приезжал в Англию незадолго до рождения его отца, кроме тех китайцев, что выставлены в чайных лавках и уж никоим образом не могут быть приняты в расчет), – если отбросить эту гипотезу, неужели не ясно, что мистер Тоби Чезлвит или недослышал, как зовут его дедушку, или позабыл его имя, или же перепутал, как оно произносится. И что даже в то близкое к нам время, о котором идет речь, Чезлвиты находились в морганатическом родстве, так сказать с левой стороны, с какой-то неизвестной нам, но высокопоставленной и знатной фамилией?

Из документов, до сих пор хранящихся в семейном архиве, легко установить, что еще сравнительно недавно, во времена упомянутого Диггори Чезлвита, один из членов семейства добился весьма влиятельного положения и разбогател. В тех обрывках его переписки, которых не поточила моль (а моль по праву может быть названа главным архивариусом мира насекомых, – столько она пожирает всяких актов и документов), мы находим постоянные ссылки на какого-то «дядюшку»⁷, от которого он, по-видимому, ожидал большого наследства, ибо всячески добивался его расположения, постоянно поднося ему книги, часы, сто-

⁶ ...«обедать с герцогом Гэмфри»... – значит совсем не обедать (английская поговорка).

⁷ «Дядюшка» – в английском просторечии – ростовщик.

ловое серебро, золотые кольца и другие ценные предметы. Так, например, он пишет брату насчет какой-то соусной ложки, принадлежавшей этому брату, которую он, Диггори, по-видимому, взял у того на подержание или иным образом присвоил: «Не сердись, у меня ее нет – отнес к „дядюшке“. В другом случае он почти в тех же выражениях говорит о детской серебряной кружечке, которую ему поручили снести в починку. В третьем случае он пишет: „Я перетаскал к любезному „дядюшке“ все, что у меня было“. А что он имел обыкновение подолгу гостить у этого дядюшки и даже совсем к нему переселялся, видно из следующей фразы: „Кроме того, что на мне надето, все мое платье находится сейчас у „дядюшки“. Покровительство и заботы дядюшки простирались, по-видимому, слишком далеко, ибо его племянник пишет: „Уж очень берет большой интерес“, „слишком большой“, „ни с чем несообразный“, и тому подобное. Не заметно, однако же (и это довольно странно), чтобы „дядюшка“ доставил племяннику какую-нибудь выгодную должность при дворе или еще где-нибудь, или же добыл ему какое-нибудь отличие, кроме разве того, которое заключается в лицеизрении столь знатной особы да приглашений на званые вечера, а может быть, и балы, о роскоши и великолепии которых племянник распространяется весьма высокопарно, то и дело поминая какие-то «золотые шары»⁸.

Нет надобности множить доказательства высокого общественного положения и значительности Чезлвитов в разные периоды их истории. Если б имелись какие-нибудь разумные основания предполагать, что понадобятся и еще доказательства, их можно было бы громоздить одно на другое без конца, так что вырос бы целый Монблан свидетельских показаний, которым был бы задавлен и обращен в лепешку даже самый отъявленный скептик. Но так как и без этого набрался порядочный холмик, достойно возвышающийся над семейной могилой, то настоящая глава на этом поставит точку, добавив только, вместо последней лопаты земли, что очень многие Чезлвиты как мужского, так и женского пола, судя по письмам их собственных мамаш, имели точеные носы, очаровательные подбородки, сложение, достойное резца ваятеля, редкого изящества руки и ноги и чистые лбы с такой необычайно прозрачной кожей, что видны были даже синие жилки, разбегавшиеся во все стороны ручейками нежнейшей лазури. Уже сам по себе этот факт, хотя бы он был единственным, должен окончательно разрешить и уничтожить всякие сомнения на сей счет, ибо известно как нельзя лучше из авторитетных трудов, трактующих эту материю, что все вышеупомянутые приметы, а особенно точеные носы, неизменно сопутствуют персонам самого высокого ранга и бывали подмечены единственно у них.

После того как мы установили, к полному своему удовлетворению (а следовательно, и к совершенному удовольствию читателей), что Чезлвиты действительно были высокого происхождения и пользовались в разное время таким влиянием, какое не может не сделать знакомство с ними лестным и желательным для всякого здравомыслящего человека, нам надлежит приступить к делу вплотную. И, доказав, что Чезлвиты, в силу древности их фамилии, немало потрудились над созданием и приумножением человеческого рода, мы должны будем со временем признать, что те из членов семейства, которые появятся в нашем повествовании, и донныне имеют своих двойников и преемников в окружающем нас мире. Пока же мы удовольствуемся тем, что сделаем несколько замечаний самого общего характера по следующему поводу: во-первых, можно с уверенностью утверждать, нисколько не разделяя учения Монбоддо⁹ насчет того, будто предки человека были когда-то обезьянами, что люди способны подчас выкидывать самые странные и неожиданные штуки; во-вторых (но опять-

⁸ «Золотые шары». – Три золотых шара были изображены в гербе семьи Медичи. Банкиры Медичи были одновременно и крупными ростовщиками. Впоследствии золотые шары стали украшать вывески лавок ростовщиков.

⁹ Учение Монбоддо. – Джеймс Бернетт Монбоддо (1714–1799) – шотландский юрист и ученый, один из зачинателей научной антропологии.

таким образом независимо от теории Блюменбаха¹⁰ о том, будто потомки Адама наделены многими такими качествами, какие из всех божьих созданий наиболее приличествуют свиньям), что некоторые люди отличаются необыкновенной способностью думать только о самих себе.

¹⁰ ...независимо от теории Блюменбаха... – Блюменбах Иоганн Фридрих (1752–1840) – немецкий физиолог и антрополог. Выдвинул теорию о делении человечества на пять рас: кавказскую, монгольскую, малайскую, американскую и эфиопскую.

Глава II, где читателю представляют некоторых лиц, с коими он может, если угодно, познакомиться ближе

Стояли последние дни поздней осени, и заходящее солнце, пробившись, наконец, сквозь пелену тумана, застилавшую его с самого утра, ярко засияло над маленьким вильтширским селением, лежащим на расстоянии хорошей прогулки от славного старого города Солсбери¹¹.

Подобно неожиданному проблеску памяти или чувства, озаряющему душу старика, оно залило светом окрестные луга, воскресив их былую свежесть и юность. Мокрая трава засверкала в его лучах; уцелевшие местами остатки зелени на живых изгородях, там, где последние листья еще держались, храбро сопротивляясь натиску резких ветров и ранних морозов, ожили и посветлели; ручей, весь день угрюмый и тусклый, просиял веселой улыбкой; лебедушки защебетали и зачирикали среди голых ветвей, словно надеясь на то, что зиме пришел конец и весна уже наступила. Флюгер на остроконечном шпиле старинной церкви заблестел на своем высоком посту, сочувствуя общей радости, а из осененных плющом окон устремились к полыхающим небесам такие потоки огня, словно в этих мирных домишках год за годом накапливались все тепло и все румяные краски лета.

Даже те осенние приметы, которые особенно настойчиво твердили о близком приходе зимы, не омрачали общей картины и в этот час не бросали печальной тени. Опавшие листья, которыми была устлана земля, пахли приятно и навевали чувство покоя, смягчая дальний грохот колес и топот копыт и гармонически сливаясь с плавными движениями пахаря, бросающего зерно в борозды, и с бесшумным ходом плуга, который, подымая пласты жирной, черной земли, укладывал их красивым узором по щетинистому жнивью. Кое-где на неподвижных ветвях деревьев гроздьями кораллов краснели осенние ягоды, словно в сказочном саду, где вместо плодов растут самоцветы; одни деревья уже сбросили свой наряд, и каждое из них стояло посреди вороха ярко-красных листьев, глядя, как эти листья постепенно истлевают; другие еще сохраняли свой летний убор, но вся листва покоробилась и свернулась, как от огня; вокруг одних деревьев румяными грудями были сложены яблоки, созревшие этим летом; другие, вечнозеленые крепыши, при всем своем здоровье смотрели мрачно и сурово, словно свидетельствуя о том, что долговечность дается природой отнюдь не самым нежным и ветреным ее любимцам. Но и здесь, в их темных ветвях, косые лучи пролегли дорожками красноватого золота, а сияние заката, пронизывая густую чащу ветвей, казалось еще ярче и только усиливало блеск угасающего дня.

Еще минута, и его сияние померкло. Солнце село за темными длинными грядами невысоких холмов и туч, возводивших на западе облачный город – стена за стеной и башня за башней; свет угас, сверкающая церковь потемнела и остыла; ручей уже не сиял улыбкой; птицы умолкли, и все вокруг стало по-зимнему мрачно.

Поднялся к тому же ночной ветер, и верхние ветви деревьев зашатались и заплясали под его стонущий напев, стуча друг о дружку, словно кости скелета. Опавшие листья уже не лежали на земле, а кружились, гонимые ветром, ища, куда бы укрыться от его холодного

¹¹ *Солсбери* – старинный город в Южной Англии, главный город графства Вильтшир. В Солсбери находится один из интереснейших памятников английской ранней готики: старинный собор постройки XIII века, увенчанный шпилем высотой в 400 футов.

дыхания; пахарь выпряг лошадей и, склонив голову, проворно зашагал домой рядом с ними; в окнах домишек замигали огоньки, переглядываясь с темнеющими полями.

Тут-то и выступила деревенская кузница во всем своем блеске. Дюжие мехи ревели «хо-хо!», раздувая яркий огонь, а тот в свою очередь ревел, приглашая блестящие искорки на веселую пляску под радостный стук молотов о наковальню. Раскаленное докрасна железо тоже искрилось наперегонки с ними, щедро рассыпая во все стороны золотые брызги. Силач кузнец со своими подручными ковал так лихо, что развеселилась даже печальница-ночь и посветлел ее темный лик, заглядывавший с любопытством то в окна, то в двери через плечи десятка зрителей. А эти праздные зеваки стояли словно околдованные и, изредка оглядываясь назад, в темноту, только расставляли поудобнее на подоконнике ленивые локти да наклонялись чуть побольше вперед, словно прилипли к месту, словно они для того только и родились, чтобы толпиться вокруг пылающего очага, в подражание сверчкам.

Как только не совестно было ветру сердиться! Он уже не вздыхал, а бушевал вокруг веселой кузницы, хлопал дверью, ворчал в трубе, словно выговаривая работягам-мехам за то, что они пляшут под чужую дудку. И какой же он оказался пустой болтун; сколько ни шумел, ничего не мог поделать с двумя охрипшими друзьями, разве что от его воркотни они запели еще громче и веселей, и оттого огонь в горне запылал еще ярче, а искры заплясали еще бойчее; под конец они закружились так бешено, что злюке-ветру стало неважно; он с воем кинулся прочь и так хватил по дороге старую вывеску перед дверью трактира, что Синий Дракон окончательно взвился на дыбы и еще до наступления рождества совсем вылетел прочь из своей покривившейся рамки.

Что за мелочное тиранство со стороны почтенного ветра вымещать свою злобу на таких слабых, ни в чем не повинных созданиях, как осенние листья; однако этот самый ветер, уже сорвав мимоходом сердце на Драконе и разобидев его, подхватил с земли целую охапку листьев и так расшвырял и рассеял их, что они полетели очертя голову кто куда, перекатываясь друг через друга, и то становились на ребро, крутятся без устали, то в страхе взлетали на воздух и с отчаяния выкидывали всякие необыкновенные антраша. Но и этого было мало разбушевавшемуся ветру: не довольствуясь тем, что сорвал их с места, он накидывался на маленькие стайки листьев, загонял их под пилу, под доски и бревна на лесопилке и, развеивая опилки по воздуху, искал, нет ли под ними листьев, а если находил – фью-у-у! – и гонялся же он за ними, ну просто преследовал по пятам!

Перепуганные листья от всего этого только летели быстрее, и гонка была бешеная; они попадали в такие места, откуда было не выбраться и где тиран-ветер крутил и вертел их сколько его душе было угодно; они забивались под застрехи, нетопырями распластывались по стогам сена, залетали в открытые окна, прятались под живые изгороди – словом, были готовы забраться куда угодно, лишь бы спастись. Но самую отчаянную штуку они выкинули, воспользовавшись тем, что неожиданно открылась парадная дверь в доме мистера Пекснифа; они ворвались в сени, куда проник за ними и ветер; а он, едва обнаружив, что дверь с черного хода тоже открыта, взял да и задул свечу в руке мисс Пекспиф и с такой силой хлопнул парадной дверью навстречу входящему мистеру Пекснифу, что сшиб его с ног, и тот во мгновение ока очутился на спине перед собственным крыльцом. Зятем, наскучив вздорными шалостями, разбойник-ветер торжествующе умчался прочь, посвистывая над болотами и лугами, над холмами и равнинами, пока не долетел до моря, где повстречался с другими ветрами такого же буйного поведения и прогулял с ними всю ночь напролет.

Тем временем мистер Пексниф, получив от предпоследней ступеньки крыльца такую затрещину, от каких пострадавший обыкновенно видит огни несуществующей иллюминации, лежал неподвижно, уставясь на собственную парадную дверь. Надо полагать, что вид этой двери особенно наводил на размышления, не в пример прочим парадным дверям, ибо мистер Пексниф лежал что-то уж очень долго, по-видимому не испытывая никакого

желания удостовериться, расшибся он или нет; даже когда мисс Пексниф спросила через замочную скважину: «Кто там?» – таким пронзительным голосом, каким мог бы говорить сорванец-ветер, – мистер Пексниф не ответил ей ни слова; даже когда мисс Пексниф опять открыла дверь и, загородив свечу рукой, стала смотреть везде – и вокруг мистера Пекснифа, и около него, и поверх него, и куда угодно, только не на него, – он не издал ни звука и ни малейшим намеком не выразил желания, чтобы его подобрали.

– Вижу, все вижу! – кричала мисс Пексниф воображаемому озорнику, прятавшемуся за углом. – Вы у меня получите, сударь!

И все-таки мистер Пексниф не произнес ни слова, может быть потому, что уже получил.

– Ага, опомнился теперь? – кричала мисс Пексниф. Она крикнула это наудачу, но ее слова пришлись как нельзя более кстати, ибо мистер Пексниф, перед которым один за другим быстро гасли огни вышеупомянутой иллюминации и число медных ручек на двери (вертевшихся перед его глазами совершенно немыслимым образом) сократилось с четырех или пяти сот до каких-нибудь двух десятков, теперь действительно приходил в себя, и даже можно было сказать, что опомнился.

Прокричав визгливым голосом предупреждение насчет тюрьмы и полиции, а также насчет колодок и виселицы, мисс Пексниф собиралась уже запереть дверь, когда мистер Пексниф, все еще лежавший перед крыльцом, приподнялся на локте и чихнул.

– Это его голос! – воскликнула мисс Пексниф. – Это он, это наш папаша!

Услышав ее восклицание, вторая мисс Пексниф выскочила из гостиной, и обе они, выкрикивая что-то бессвязное, совместными усилиями поставили мистера Пекснифа на ноги.

– Папа! – кричали они в один голос. – Папа! Скажите же хоть что-нибудь! Ах, какой у вас ужасный вид, бедный папа!

Но поскольку внешний вид джентльмена, особенно в таких обстоятельствах, отнюдь не находится в его власти, мистер Пексниф продолжал смотреть на них, выпучив глаза и разинув рот, наподобие деревянного шелкунчика с отвисшей нижней челюстью; и так как шляпа с него слетела, лицо было покрыто бледностью, волосы встали дыбом, а платье все извальялось в грязи, то зрелище, которое он собой являл, было настолько плачевно, что обе мисс Пексниф не могли удержаться от невольного крика.

– Ну, будет, будет, – произнес мистер Пексниф. – Мне уже лучше.

– Он очнулся! – вскрикнула младшая мисс Пексниф.

– Он заговорил! – возопила старшая.

С этими радостными словами они расцеловали мистера Пекснифа в обе щеки и повели его в комнаты. Сейчас же после этого младшая мисс Пексниф опять выбежала из дома, подобрала отцовскую шляпу, сверток в коричневой бумаге, зонтик, перчатки и остальные мелочи, после чего двери были заперты и обе девицы, удалившись в малую гостиную, приступили к врачеванию ран мистера Пекснифа.

Увечья были не слишком серьезного характера: всего-навсего ссадины на тех частях тела, которые старшая мисс Пексниф называла «мослаками», то есть на локтях и коленях, – да на затылке у него появился новый орган, доселе неизвестный френологам. Уврачевав эти повреждения извне компрессами из оберточной бумаги, намоченной в уксусе, а самого мистера Пекснифа изнутри стаканчиком бренди, слегка разбавленного водой, старшая мисс Пексниф уселась разливать чай за накрытым уже столом. Тем временем младшая мисс Пексниф принесла из кухни дымящуюся яичницу с ветчиной и, поставив ее перед своим папашей, примостилась на низенькой скамеечке у его ног, так что ее глаза приходились вровень с чайным столом.

На основании этой смиренной позиции отнюдь не следует делать вывод, будто младшая мисс Пексниф была так юна, что ей в силу необходимости приходилось сидеть на ска-

меечке – оттого, что у нее были коротенькие ножки. Мисс Пексниф сидела на скамеечке потому, что была простодушна и невинна в высшей степени, в самой высшей. Мисс Пексниф сидела на скамеечке оттого, что она была вся резвость и девическая живость, оттого, что она была и шаловлива, и своевольна, и игрива, как котенок. Она была самое лукавое и в то же время самое бесхитростное существо, какое только можно себе представить, – вот что такое была младшая мисс Пексниф. В этом и заключалась ее прелесть. Она была слишком невинна и проста, слишком полна чисто детской живости, чтобы носить гребенки в волосах, или зачесывать их кверху, или завивать их, или заплетать в косы. Она носила волосы распущенными, так что кудри падали ей на плечи, располагаясь рядами, и этих рядов было столько, что на самый верх приходилась всего одна кудряшка. Фигурка у нее была полненькая и очень женственная, и тем не менее иногда – не каждый день, конечно, – она надевала детский фартучек, и до чего это ей шло! Да, действительно эта младшая мисс Пексниф была «преlestное создание» (как справедливо выразился некий молодой джентльмен в «Поэтическом уголке» одной провинциальной газеты).

Мистер Пексниф был человек добродетельный, серьезный человек, человек с возвышенными чувствами и возвышенной речью, а потому он окрестил ее Мерси. Сострадание! Ах, какое прелестное имя для такого непорочного существа, каким была младшая мисс Пексниф! Ее сестру Звали Чарити. Чудесно, просто чудесно! Мерси и Чарити! Сострадание и Милосердие! И Чарити, с ее трезвым умом и тихим, кротким, отнюдь не сварливым характером, тоже была окрещена удачно и не менее удачно оттеняла и дополняла свою младшую сестру! Как приятно было смотреть на них обеих, настолько несхожих между собой, видеть, как они любят и понимают друг дружку, как преданы друг дружке и совершенно не могут обойтись одна без другой, и как одна дополняет и исправляет другую, служа, так сказать, противовесом. Каждая из девиц, несмотря на взаимную любовь и восхищение, вела коммерцию на свой собственный страх и риск и на совершенно иных основаниях, нежели ее сестрица, объявляя, что не имеет ничего общего с конкурирующей фирмой, а если качество товаров в соседней лавочке вас не удовлетворит, почтительнейше просим осчастливить нас своим посещением! И весь очаровательный прейскурант увенчивало то обстоятельство, что оба прелестных создания ничего этого совершенно не подозревали. Не имели об этом ни малейшего понятия. Им это и в голову не приходило, даже и во сне не снилось, точно так же, как и мистеру Пекснифу. Сама природа позаботилась о том, чтобы они оттеняли друг друга, а девицы Пексниф были тут совершенно ни при чем.

Как мы уже имели случай заметить, мистер Пексниф был человек добродетельный. Вот именно. Быть может, никогда еще не было на свете человека более добродетельного, чем мистер Пексниф, особенно на словах и в переписке. Один бесхитростный почитатель как-то выразился про мистера Пекснифа, что это целый клад добродетелей, в некотором роде Фортунатова сума¹². В этом отношении он был похож на сказочную принцессу, у которой сыпались изо рта настоящие бриллианты, с той только разницей, что у него это были прекрасно отшлифованные, ослепительного блеска стекляшки. Это был человек самого примерного поведения, набитый правилами добродетели не хуже любой прописи. Некоторые знакомые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывает всем дорогу, а сам никуда не идет, – но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света, вот и все. Даже его шея выглядела добродетельной. Эта шея была у всех на виду. Заглядывая за низенькую ограду белого галстука (узел которого оставался тайной для публики, ибо мистер Пексниф завязывал его сзади), вы видели светлую долину, незатененную бакенами и простирившуюся между двумя высокими выступами воротничка. Эта шея как будто говорила, предста-

¹² *Фортунатова сума* – волшебный кошелек, в котором никогда не переводились деньги, подаренный Фортунату, герою популярной немецкой легенды XV века, богиней судьбы.

тельствую за мистера Пекснифа: «Никакого обмана тут нет, леди и джентльмены, здесь все исполнено мира и священного спокойствия». То же говорили и волосы, слегка седеющие, со стальным отливом, зачесанные со лба назад и торчащие либо прямо кверху, либо слегка нависающие над глазами, так же как и тяжелые веки мистера Пекснифа. То же говорили и его манеры, мягкие и вкрадчивые. Словом, даже его строгий черный костюм, даже его вдовство, даже болтающийся на ленте двойной лорнет – все устремлялось к одной и той же цели и громко вопияло: «Воззрите на добродетельного мистера Пекснифа!»

На медной дверной дощечке (а она не могла лгать, ибо принадлежала мистеру Пекснифу) было начертано: «Пексниф, архитектор», к чему мистер Пексниф на своих визитных карточках добавлял: «и землемер». В одном смысле, и только в этом единственном, его можно было назвать землемером с довольно обширным полем деятельности: перед его домом простиралась обширная полоса земли, которую он мог измерять взглядом. Насчет его архитектурных занятий не было известно ничего определенного, кроме того, что он никогда ничего не проектировал и не строил; но вообще подразумевалось, что глубина его познаний в этой области поистине неизмерима.

Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились главным образом к тому, что он держал учеников, ибо получение доходов, коим изредка разнообразились, отдохновения ради, его более серьезные труды, строго говоря, едва ли входит в обязанности архитектора. Все его таланты состояли в том, что он умел расставлять сети родителям и опекунам и класть в карман плату за обучение. Как только денежки за молодого человека бывали уплачены и молодой человек переселялся в дом мистера Пекснифа, мистер Пексниф брал у него взаймы чертежные инструменты (оправленные в серебро или представлявшие ценность в другом отношении) и просил его с этой минуты считать себя своим человеком в доме; затем, весьма лестно отозвавшись о его родителях или опекунах, смотря по обстоятельствам, предоставлял ему полную свободу действий в просторной комнате на третьем этаже, где, в обществе нескольких чертежных досок, рейшин, циркулей с весьма неподатливыми ножками и двух или трех сверстников, он совершенствовался в науках года три, а то и больше, соответственно условиям контракта, производя съемку содсберийского собора со всех возможных точек Зрения, а также строя в воздухе множество замков, парламентов и других общественных зданий. Быть может, нигде на земном шаре не возводилось столько пышных построек этого рода, сколько здесь, под присмотром мистера Пекснифа, и если бы хоть одна двадцатая доля тех церквей, какие строились в этой самой комнате (с одной из девиц Пексниф в роли невесты и юным архитектором в роли жениха), была действительно принята парламентской комиссией, то по крайней мере в течение пяти столетий не понадобилось бы больше строить церквей.

– Даже и в земных благах, которыми мы сейчас насладились, – произнес мистер Пексниф, покончив с едой и обводя взглядом стол, – даже в сливках, сахаре, чае, хлебе, яичнице...

– С ветчиной, – подсказала негромко Чарити.

– Да, с ветчиной, – подхватил мистер Пексниф, – даже и в них заключается своя мораль. Смотрите, как быстро они исчезают! Всякое удовольствие преходяще. Даже еда мы не можем предаваться слишком долго. Если мы пьем много чая – нам грозит водянка, если пьем много виски – мы пьяны. Какая это утешительная мысль!

– Не говорите, что мы пьяны, папа, – остановила его старшая мисс Пексниф.

– Когда я говорю мы, душа моя, – возразил ей отец, – я подразумеваю человечество вообще, род человеческий, взятый в целом, а не кого-либо в отдельности. Мораль не знает намеков на личности, душа моя. Даже вот такая штука, – продолжал мистер Пексниф, представив указательный палец левой руки к макушке, залепленной оберточной бумагой, – хотя это только небольшая плешь случайного происхождения, – напоминает нам, что мы всего-

навсего... – он хотел было сказать «черви», но, вспомнив, что черви не отличаются густотой волос, закончил: – ...бренная плоть.

– И это, – воскликнул мистер Пексниф после паузы, во время которой он, по-видимому без особого успеха, искал новой темы для поучения, – и это также весьма утешительно. Мерси, дорогая моя, помешай в камине и wygrеби золу.

Младшая мисс Пексниф послушно принялась мешать в камине, потом снова уселась на скамеечку и, положив на отцовское колено руку, прильнула к ней румяной щекой. Мисс Чарити придвинула стул поближе к огню, готовясь к беседе, и устремила взор на отца.

– Да, – произнес мистер Пексниф после краткого молчания, во время которого он, безмолвно улыбаясь и покачивая головой, глядел в камин, – мне опять посчастливилось достигнуть своей цели. У нас в доме в самом скором времени появится новый жилец.

– Молодой человек, папа? – спросила Чарити.

– Да, молодой, – ответил мистер Пексниф. – Ему представляется редкая возможность соединить все преимущества наилучшего для архитектора практического образования с семейным уютом и постоянным общением с лицами, которые, как бы ни были ограничены их способности и скромна их сфера, тем не менее вполне сознают свою моральную ответственность.

– Ах, папа! – воскликнула Мерси, лукаво грозя ему пальчиком. – Точь-в-точь объявление!

– Веселая... веселая певунья! – сказал мистер Пексниф.

Тут кстати будет заметить по поводу того, что мистер Пексниф назвал свою дочку «певуньей», что у нее совсем не было голоса, но что мистер Пексниф имел привычку ввертывать в разговор любое слово, какое только попадалось на язык, не особенно заботясь о его значении, лишь бы оно было звучно и хорошо закругляло фразу. И делал он это так уверенно и с таким внушительным видом, что своим красноречием нередко ставил в тупик первейших умников, так что те только глазами хлопали.

Враги мистера Пекснифа утверждали, кстати сказать, будто он во всем полагался на силу пустопорожних фраз и форм и что в этом заключалась сущность его характера.

– Он хорош собой, папа? – спросила младшая дочь.

– Глупышка Мерри! – сказала старшая: – «Мерри» употреблялось ласкательно вместо «Мерси». – Скажите лучше, сколько он будет платить?

– Ах, боже мой, Черри! – воскликнула мисс Мерси, всплескивая руками и самым обворожительным образом хихикая. – Какая же ты корыстная! Хитрая, расчетливая, гадкая девчонка!

Совершенно очаровательная сцена во вкусе века пасторалей: обе мисс Пексниф сначала слегка отшлепали друг друга, а после того бросились обниматься, проявив при этом всю противоположность своих натур.

– Он, кажется, недурен собой, – произнес мистер Пексниф с расстановкой и очень внятно, – довольно-таки недурен. Не могу сказать, чтобы я ожидал от него немедленной уплаты денег.

Хотя обе сестры были совсем разные, но при этих словах они одинаково широко раскрыли глаза и посмотрели на папашу таким удивленным взглядом, будто они в самом деле только и думали, что о презренной пользе.

– Ну, и что же из этого! – говорил мистер Пексниф, по-прежнему улыбаясь огню в камине. – Надеюсь, есть еще на свете бескорыстие? Не все же мы в разных лагерях – одни обидчики, а другие обиженные. Есть среди нас и такие, которые оказываются посередине, подают помощь тем, кому она нужна, и не примыкают ни к одной из сторон. А – гм?

В этой филантропической окрошке скрывался все же некий смысл, успокоивший сестер. Они обменялись взглядами и повеселели.

– Ну, к чему постоянно рассчитывать, строить какие-то планы, заглядывать в будущее, – говорил мистер Пексниф, улыбаясь все шире и глядя на огонь с таким выражением, словно это с ним он вел шутливую беседу. – Мне противны все эти хитрости. Если мы склонны быть добрыми и великодушными, смело дадим себе волю, хотя бы это принесло нам убыток вместо прибыли. А, Чарити?

Впервые подняв глаза после того, как он начал размышлять вслух, и увидев, что обе дочери улыбаются ему, мистер Пексниф подарил их таким игривым взглядом, что младшая, получив это поощрение, тут же перепорхнула к нему на колени, обняла его за шею своими прелестными ручками и поцеловала раз двадцать подряд. Во все время этой трогательной сцены она смеялась так заразительно, что к ее необузданной веселости присоединилась даже степенная и благоразумная Черри.

– Ну, будет, будет, – сказал мистер Пексниф и, слегка отстранив младшую дочь, пригладил пальцами волосы и снова принял достойное выражение лица. – Что за безрассудство! Остережемся смеяться без причины, чтобы после нам не плакать. Какие у нас дома новости со вчерашнего дня? Надеюсь, Джон Уэстлок уехал?

– В том-то и дело, что нет, – сказала Чарити.

– Почему же нет? – спросил отец. – Срок ему вышел еще вчера. И вещи его уложены, я знаю; я сам видел утром, что его сундук стоит в прихожей.

– Вчера он ночевал в «Драконе», – отвечала молодая девушка, – и пригласил мистера Пинча отобедать с ним. Вечер они провели вместе, и мистер Пинч до самой поздней ночи не являлся домой.

– А когда я встретила его утром на лестнице, папа, – вмешалась Мерси с обычной своей живостью, – господи, до чего он был страшный! Цвет лица просто необыкновенный какой-то, глаза тусклые, как у вареного судака, голова, должно быть, трещит ужасно, я это сразу заметила, а от самого несет бог знает как, ну просто до невозможности, – тут молодая особа содрогнулась, – пуншем и табаком.

– Мне кажется, – произнес мистер Пексниф с привычной для него мягкостью, но в то же время с видом жертвы, безропотно сносящей обиду, – мне кажется, мистер Пинч напрасно выбрал себе в товарищи такого человека, который в завершение долголетнего знакомства пытался, как ему известно, оскорбить мои чувства. Я не вполне уверен, что это любезно со стороны мистера Пинча. Я не вполне уверен, что это тактично со стороны мистера Пинча.

Я пойду дальше и скажу, что не вполне уверен, есть ли тут самая обыкновенная благодарность со стороны мистера Пинча.

– Но чего же можно ожидать от мистера Пинча¹³, – воскликнула Чарити, делая такое сильное и презрительное ударение на фамилии, что, казалось, она с величайшим наслаждением ущипнула бы прямо за ляжку этого джентльмена, если бы разыгрывала шараду.

– Да, да, – возразил ее отец, кротко поднимая руку. – легко нам говорить «чего мы можем ожидать от мистера Пинча», но ведь мистер Пинч наш ближний, душа моя; это единица в общем итоге человечества, душа моя, и наше право, даже наш долг, – ожидать от мистера Пинча некоторого развития тех лучших свойств характера, коими мы по справедливости гордимся. Нет, – продолжал мистер Пексниф, – нет! Боже меня сохрани, чтобы я стал говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от мистера Пинча, или чтобы я стал говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от какого бы то ни было человека (даже самого развращенного, каким нельзя считать мистера Пинча, отнюдь нет); но мистер Пинч разочаровал меня; он меня огорчил; поэтому несколько изменилось к худшему мое мнение о мистере Пинче, но не о человеческой природе! Нет, о нет!

¹³ Пинч (англ. pinch) – буквально: «ущипнуть», «щипок».

– Тише! – сказала мисс Чарити, подняв кверху палец, так как в это время кто-то осторожно постучался в парадную дверь. – Явилось наше сокровище! Попомните мои слова, это он вернулся вместе с Джоном Уэстлоком за его вещами и намерен помочь ему донести сундук до остановки дилижанса. Попомните мои слова, вот что у него на уме!

Должно быть, в то самое время как она это говорила, сундук выносили из дома, но после кратких переговоров шепотом его снова поставили на пол, и кто-то постучался в дверь гостиной.

– Войдите! – воскликнул мистер Пексниф, – сурово, но добродетельно. – Войдите!

Этим разрешением не преминул воспользоваться человек мешковатый, неловкий в движениях, крайне близорукий и преждевременно облысевший, но, заметив, что мистер Пексниф сидит к нему спиной, глядя на огонь, он нерешительно остановился, держась за дверную ручку. Он был далеко не красавец, и его фигуру облакал табачного цвета костюм, который и снова был скроен неладно, а теперь от долгой носки весь съежился и сморщился, потеряв всякий покрой; однако, несмотря на костюм и нескладную фигуру, которую отнюдь не красила сильная сутуловатость и смешная привычка вытягивать голову вперед, никому не пришло бы в голову считать его дурным человеком, разве только полагаясь на слова мистера Пекснифа. Ему было, вероятно, лет около тридцати, а с виду можно было дать сколько угодно, от шестнадцати до шестидесяти: он принадлежал к тем странным людям, которые никогда не становятся вполне дряхлыми, но выглядят стариками уже в ранней юности, а после того становятся все моложе.

По-прежнему держась за ручку двери, он несколько раз переводил глаза с мистера Пекснифа на Мерси, с Мерси на Чарити, с Чарити опять на мистера Пекснифа; но так как обе дочки глядели в огонь с тем же упорством, что и папаша, и никто из них троих не обращал на него ни малейшего внимания, он вынужден был, наконец, сказать:

– Извините меня, мистер Пексниф: я, кажется, помешал вам...

– Нет, вы не помешали, мистер Пинч, – возразил тот очень кротко, но не оглядываясь на него. – Садитесь, пожалуйста, мистер Пинч. И будьте так любезны закрыть дверь, мистер Пинч, прошу вас, если вам нетрудно.

– Да, сэр, конечно, – сказал Пинч, не закрывая, однако, дверей, а, наоборот, открывая их еще шире и боязливо кивая головой кому-то стоявшему за порогом. – Мистер Уэстлок, сэр, узнав, что вы уже вернулись домой...

– Мистер Пинч, мистер Пинч! – произнес Пексниф, поворачиваясь кругом вместе со стулом, и глядя на Пинча с выражением глубочайшей скорби: – Я не ожидал этого с вашей стороны. Я не заслужил этого с вашей стороны!

– Но, право же, сэр... – настаивал Пинч.

– Чем меньше будет вами сказано, мистер Пинч, – остановил его Пексниф, – тем будет лучше. Я не жалею ни на что. Не оправдывайтесь, пожалуйста.

Нет, позвольте, сэр, – воскликнул Пинч с большим жаром, – прошу вас! Мистер Уэстлок, СЭР, уезжая из этих мест навсегда, желает расстаться с вами по-дружески. У вас с мистером Уэстлоком, сэр, вышло на днях маленькое недоразумение; у вас и прежде бывали маленькие недоразумения...

– Маленькие недоразумения! – воскликнула Чарити.

– Маленькие недоразумения! – эхом отозвалась Мерси.

– Дорогие мои! – сказал мистер Пексниф, все с тем же возвышенным смирением простирая руку к небесам. – Милые! – Выдержав торжественную паузу, он кротко кивнул мистеру Пинчу, как бы говоря: «Продолжайте», – но мистер Пинч до того растерялся, не зная, что говорить дальше, и так беспомощно глядел на обеих девиц, что разговор, вероятно, и закончился бы на этом, если бы красивый юноша, едва достигший возмужалости, не пере-

ступил в эту минуту порога и не подхватил нить беседы на том самом месте, где она оборвалась.

– Послушайте, мистер Пексниф! – сказал он, улыбаясь, – пусть между нами не останется никакого враждебного чувства, прошу вас. Я очень сожалею о том, что мы с вами не ладили, и сожалею как нельзя более, если я вас чем-нибудь оскорбил. Не поминайте меня лихом, сэр.

– Я ни одному человеку на свете не желаю зла, – кротко отвечал мистер Пексниф.

– Я же вам говорил, – громким шепотом вмешался мистер Пинч, – я так и знал! Я это от него всегда слышал.

– Так вы подадите мне руку, сэр? – воскликнул Джон Уэстлок, делая вперед шага два и взглядом приглашая мистера Пинча внимательно следить за происходящим.

– Гм! – произнес мистер Пексниф самым кротким голосом.

– Вы подадите мне руку, сэр?

– Нет, Джон, – отвечал мистер Пексниф с почти неземным спокойствием, – нет, я не подам вам руки. Я простил вас. Я давно уже простил вас, еще в то время, когда вы корили меня и издевались надо мной. Я примирился с вами во Христе, а это гораздо лучше, нежели подавать вам руку.

– Пинч, – сказал юноша, уже не скрывая своего презрения к бывшему наставнику, – что я вам говорю?

Бедняга Пинч, совершенно потерявшись, взглянул было на мистера Пекснифа, который с самого начала беседы не сводил с него глаз, но так и не найдя, что ответить, перевел взгляд на потолок.

– Что касается вашего прощения, мистер Пексниф, – сказал юноша, – то на таких условиях я его не приму. Я не желаю, чтобы меня прощали.

– Не желаете, Джон? – отвечал мистер Пексниф с улыбкой. – Но вам придется его принять. Вы не можете этому противиться. Прощение есть дар небес, оно есть самая возвышенная добродетель; оно вне вашей сферы и не подвластно вам, Джон. Я все-таки прошу вас. Вы не заставите меня помнить зло, которое вы мне причинили, Джон.

– Зло! – воскликнул тот со всем жаром юности. – Хорош голубчик! Зло! Я ему делал зло! Он и думать забыл про пятьсот фунтов, которые выманил у меня под всякими предлогами, и про семьдесят фунтов в год за стол и квартиру, когда за них много было бы и семнадцати! Нечего сказать, мученик!

– Деньги, Джон, – сказал мистер Пексниф, – это корень всякого зла. Прискорбно видеть, что вы уже поддались их пагубному влиянию. А я не хочу даже помнить, что они существуют на свете. Не хочу помнить и о поведении того заблудшего, – здесь мистер Пексниф, до сих пор изыскавшийся со всей кротостью миротворца, возвысил голос, словно желая сказать: «Я тебя, негодяя, насквозь вижу», – того заблудшего, который привел вас сюда, пытаясь нарушить (к счастью, тщетно) покой и душевный мир человека, которому не жаль было бы отдать за него последнюю каплю крови.

Тут голос мистера Пекснифа задрожал, в ответ послышались глухие рыдания его дочерей. Более того, в воздухе реяли и звучали два незримых голоса, – один восклицал: «Скотина!», другой: «Свинья!»

– Способность прощать, – произнес мистер Пексниф, – прощать вполне и до конца, бывает иногда совместима и с сердечными ранами: быть может, если сердце ранено, тем больше в этом чести. Душа моя все еще содрогается и глубоко скорбит о неблагодарности этого человека, но я испытываю гордость и радость, говоря, что прощаю ему. Нет! Прошу этого человека, – возвысил голос мистер Пексниф, видя, что Пинч собирается заговорить, – прошу его не перебивать меня замечаниями; он премного меня обяжет, если не произнесет сейчас ни слова. Я не уверен, что у меня найдутся силы перенести это испытание. Через

самое короткое время, надеюсь, я найду в себе достаточно твердости, чтобы продолжать беседу с ним так, как если бы ничего этого не произошло. Но не сейчас, – закончил мистер Пексниф, снова поворачиваясь к огню и махая рукой по направлению к дверям, – не сейчас!

– О! – воскликнул Джон Уэстлок со всем презрением и негодованием, какие могло выразить это односложное восклицание. – Всего наилучшего, барышни! Идем, Пинч, не стоит над этим задумываться. Я был прав, а вы ошибались. Это не так важно, в другой раз будете умнее.

С этими словами он похлопал по плечу своего приунывшего товарища, повернулся на каблуках и вышел в коридор, куда, нерешительно потоптавшись сначала в гостиной, последовал за ним и бедный мистер Пинч, с выражением глубочайшей подавленности и печали на лице. Затем они вдвоем подхватили сундук и отправились навстречу дилижансу.

Этот быстроходный экипаж проезжал каждый вечер мимо перекрестка на углу, куда оба они и направились теперь. Несколько минут они шли по улице молча, пока, наконец, молодой Уэстлок не расхохотался громко. Потом он замолчал, потом опять расхохотался, и так несколько раз подряд. Однако его спутник ни разу не отозвался тем же.

– Вот что я скажу вам, Пинч! – начал вдруг Уэстлок после новой продолжительной паузы. – В вас мало злости. Какое там мало! Ни капли нет!

– Ну что ж! – сказал Пинч со вздохом. – Не знаю, право. Это, может быть, даже лестно. Может, еще тем лучше, что во мне ее нет.

– Тем лучше! – передразнил его спутник. – Тем хуже, хотите вы сказать.

– И все-таки, – продолжал Пинч, занятый собственными мыслями и не слыша этих последних слов своего друга, – во мне, должно быть, немало того, что вы называете злостью; иначе как бы я мог до такой степени огорчить Пекснифа? Мне бы очень не хотелось его обижать – не смейтесь, пожалуйста! – не хотелось бы ни за какие деньги; а, видит бог, они мне крайне были бы нужны, Джон. Как он огорчился!

– Он огорчился! – возразил его друг.

– Разве вы не заметили, что у него навернулись слезы! – воскликнул Пинч. – Боже ты мой, Джон, ведь это далеко не пустяки – видеть человека до такой степени взволнованным и знать, что ты этому виной! А слышали вы, как он сказал, что ему не жаль было бы отдать за меня последнюю каплю крови?

– А вам нужна эта последняя капля? – довольно резко возразил Джон. – Вот если бы он не жалел для вас того, что вам действительно нужно, – тогда другое дело. А то ведь ему жаль для вас порядочной работы, жаль карманных денег, жаль обучить вас хоть чему-нибудь! Ему жаль для вас даже баранины в сообразной пропорции с картошкой и овощами!

– Боюсь, – сказал Пинч, снова вздыхая, – что я очень много ем! Не могу же я не видеть, что очень много ем. И вы это знаете, Джон.

– Вы много едите? – переспросил его спутник с не меньшим возмущением, чем прежде. – Откуда вам это может быть известно?

По-видимому, этот вопрос заключал в себе большую убедительную силу, так как мистер Пинч только повторил полупшепотом, что питает сильное подозрение на этот счет и очень боится, что так оно и есть.

– Впрочем, так оно или не так, – прибавил он, – это к делу не относится, важно то, что мистер Пексниф считает меня неблагодарным. Джон, на мой взгляд, нет на свете преступления более вопиющего, чем неблагодарность, и если он упрекает меня в неблагодарности и думает, что я действительно заслужил такой упрек, для меня это – просто нож острый!

– А по-вашему, он этого не знает? – отвечал тот пренебрежительно. – Ну вот что, Пинч, не буду я с вами спорить, но только вы сами отдайте себе отчет, какие у вас резоны быть ему благодарным, хорошо? Сначала переменим руки, а то сундук тяжелый. Ну, вот так. А теперь говорите.

– Во-первых, – начал Пинч, – он принял меня в ученики и взял с меня гораздо меньше, чем просил сначала.

– Положим, – ответил его друг, ничуть не тронувшись таким великодушием. – А что во-вторых?

– Как что во-вторых? – воскликнул Пинч с некоторым даже вызовом. – Да все решительно! Моя бедная бабушка умерла счастливой, успокоенная мыслью, что поместила меня к такому превосходному человеку. Я вырос у него в доме, я теперь его доверенное лицо, его помощник, он назначил мне жалованье; а когда дела пойдут лучше – и мои перспективы тоже изменятся к лучшему. Вот это все и есть во-вторых, и многое другое тоже! А в качестве пролога и предисловия и к во-первых и к во-вторых, Джон, вы должны принять во внимание, что я родился для более простой и бедной жизни, что в его профессии я смыслю мало и таланта к ней у меня нет, да, в сущности, нет способностей и ни к чему другому, кроме разных пустяковых дел, которые никому не могут быть особенно нужны и полезны.

Он говорил все это с такой искренностью и с таким чувством, что его спутник невольно переменил тон и, усевшись на сундук (к этому времени они успели дойти до придорожного столба на перекрестке), жестом пригласил его сесть рядом и положил руку ему на плечо.

– Том Пинч, – сказал он, – я думаю, что лучше вас едва ли найдется человек на свете.

– Да нет, что вы, – ответил Том. – Если бы вы только знали Пекснифа так, как я его знаю, вы и про него сказали бы то же самое, и, право, не ошиблись бы.

– Я скажу о нем все, что вам будет угодно, – возразил тот, – и ничего не скажу ему в поношение.

– Так это ради меня, а не ради него, – сказал Том, грустно качая головой.

– Ради кого хотите, Том, лишь бы вам это пришлось по сердцу. Да! Замечательный человек! Он ведь не зацапал и не загреб в свою мошну последние трудовые гроши вашей бедной старухи бабки, – она, кажется, была экономкой, Том?

– Да, – сказал мистер Пинч, обняв свое костлявое колено и кивая головой, – она была экономкой в помещицьем доме.

– Он не зацапал и не загреб в свою мошну ее последние трудовые гроши, вскружив ей голову блестящей перспективой ваших будущих успехов и счастья, хотя отлично знал (лучше всякого другого!), что этому никогда не бывать! Он не вымогал у нее денег, играя на ее слабой струнке, зная, что она гордится вами, что она воспитала вас, что она мечтает сделать из вас джентльмена! Он тут ни при чем!

– Ну да, – сказал Том Пинч, заглядывая в глаза своему другу и как будто сомневаясь в значении его слов, – разумеется, он тут ни при чем.

– Вот и я то же говорю, – ответил юноша, – разумеется, нет. Он взял с вас несколько не меньше, чем просил, потому что у старухи это было все, что она имела; и это было гораздо больше, чем он ожидал. Он тут ни при чем! Он держит вас в помощниках не потому, что вы ему полезны; не потому, что ваша удивительная вера в его мнимые добродетели служит ему хорошую службу во всех его проделках; не потому, что вашу честность приписывают ему; не потому, что слухи о ваших прогулках на досуге с книжками на древних и новых языках дошли даже до Солсбери и сделали из вашего наставника Пекснифа особу великой учености и чрезвычайного веса. Еще бы, Том, – разумеется, ему от вас мало пользы!

– Да, разумеется, немного, – отвечал Пинч, глядя на своего друга в совершенном смущении. – Какая может быть Пекснифу польза от меня! Что вы!

– А разве я не говорю, – возразил тот, – что смешно даже думать об этом?

– Это просто сумасшествие, – сказал Том.

– Сумасшествие! – подхватил молодой Уэстлок. – Еще бы не сумасшествие! Только сумасшедший подумает, будто Пекснифу приятно слышать, что любитель, который играет по воскресеньям на органе и музицирует иногда в летние сумерки, это тот молодой человек,

что служит у мистера Пекснифа, – а, Том? Только сумасшедший подумает, что такой человек пустится на мелкие хитрости – припишет себе те сотни пустяковых дел, которые выполняете вы (и которым, разумеется, он научил вас), – а, Том? Только сумасшедший подумает, что это вы создаете ему известность, и создаете гораздо более верным и дешевым способом, чем если бы его имя печаталось в афишах, – а, Том? Но с таким же успехом можно подумать и обратное: что он далеко не всегда с нами откровенен, что и жалованье он вам назначил не слишком большое и не слишком щедрое, и, как это ни дико и ни невероятно, но можно подумать, – говоря это, он при каждом слове постукивал Тома по груди, – что Пексниф строит свои расчеты на вашем характере, а по характеру вы робки и склонны доверять не себе, а другим, и более всего тому, кто меньше всех достоин доверия. Да это ли не сумасшествие, Том!

Мистер Пинч выслушал его слова с растерянным видом, который объяснялся отчасти их содержанием, отчасти же их стремительностью и горячностью. Когда же Джон замолчал, мистер Пинч глубоко вздохнул и с грустью заглянул другу в глаза, словно не в состоянии решить, что именно они выражают. Казалось, он надеялся, несмотря на темноту, найти ключ к истинному смыслу его слов и уже собирался было ему ответить, как вдруг почтовый рожок весело зазвучал в их ушах, положив конец разговору, по-видимому к великому облегчению младшего из собеседников, который живо вскочил с сундука и протянул руку мистеру Пинчу.

– Обе ваши руки, Том! Я буду писать вам из Лондона, не забывайте меня!

– Да, – сказал Том. – Да. Пишите, пожалуйста. Прощайте. Протайте же. Как-то не верится, что вы уезжаете. Кажется, будто вы приехали только вчера. Прощайте, дорогой мой друг!

Джон Уэстлок ответил на его прощальные слова не менее сердечно, затем взобрался на империал. И вскачь понеслась карета по темной дороге; ярко блестели фонари, и почтовый рожок будил эхо, далеко разносившееся вокруг.

– Ступай своей дорогой, – произнес Пинч вдогонку дилижансу. – Мне трудно поверить, что ты не живое существо, не какое-нибудь гигантское чудовище, которое время от времени наведывается в наши места, унося моих друзей в далекий мир. Сегодня же, как мне кажется, ты больше обычного торжествуешь и буйствуешь. Да и стоит трубить над такой добычей, потому что Джон чудесный малый, простая душа, и, насколько мне известно, у него только один недостаток: сам того не желая, он чудовищно несправедлив к Пекснифу.

Глава III, где мы знакомимся с некоторыми другими лицами на тех же условиях, что и в предыдущей главе

Выше уже упоминался – и не раз – некий дракон, с жалобным скрипом качавшийся перед дверью деревянной гостиницы. Это был облезлый и дряхлый дракон; от частых зимних бурь с дождем, снегом, изморозью и градом он стал из ярко-синего грязно-серым, самого тусклого оттенка. Однако он все висел да висел, с идиотским видом встав на дыбы, и день ото дня становился все тусклее и расплывчатое, так что, если глядеть на него с лица вывески, казалось – будто он просочился насквозь и проступил на обороте.

Это был весьма учтивый и обязательный дракон, то есть был в те далекие времена, когда он еще не расплылся окончательно, ибо даже теперь, едва держась на ногах, он подносил одну переднюю лапу к носу, будто говоря:

«Не бойтесь, это я только так, шучу!», а другую простирает вперед любезным и гостеприимным жестом. Право, нельзя не согласиться, что в наши дни все драконово племя в целом сделало большой шаг вперед в отношении цивилизованности и смягчения нравов. Драконы уже не требуют ежедневно по красавице на завтрак, с педантичностью тихого старого холостяка, привыкшего получать каждый день поутру горячую булку: в наше время они больше известны тем, что чуждаются прекрасного пола и не поощряют дамских визитов (особенно в субботу вечером) и уже не навязывают свое общество дамам, не спросившись наперед, придется ли оно по вкусу, как это за ними водилось в старину.

Эта похвала цивилизованным драконам отнюдь не заводит нас так далеко в дебри естествознания, как может показаться с первого взгляда, ибо сейчас мы должны заняться драконом, логово которого находилось по соседству с домом мистера Пекснифа, и, поскольку это благовоспитанное чудовище уже выведено на арену, ничто не мешает нам приступить к делу.

В течение многих лет дракон этот покачивался, громыхая и скрипя на ветру, перед окнами парадной спальни гостеприимного заведения, которому присвоено было его имя, но за все те годы, что он покачивался, громыхал и скрипел, никогда еще не бывало такой возни и суматохи в его грязноватых владеньях, как в тот вечер, который последовал за событиями, весьма подробно описанными в предыдущей главе; никогда еще не бывало такой беготни вверх и вниз по лестницам, такого множества огней, такого шушуканья, такого дыма и треска от дров, разгорающихся в отсыревшем камине; никогда так старательно не просушивались простыни, никогда так не пахло на весь дом раскаленными грелками, никогда не бывало таких хлопот по хозяйству; короче говоря, ничего подобного еще не доводилось видеть ни дракону, ни грифону, ни единорогу¹⁴ и никому из всего их племени с тех самых пор, как они начали интересоваться домашним хозяйством.

Пожилый джентльмен и молодая леди, ехавшие вдвоем, без спутников, на почтовых, в облупленной старой карете и направлявшиеся неизвестно откуда и неизвестно куда, вдруг свернули с большой дороги и остановились перед «Синим Драконом». И теперь этот самый джентльмен, который неожиданно расхворался в дороге и только поэтому отважился заехать в такой трактир, мучился от ужасных колик и спазм, но, невзирая на свои страдания, ни за

¹⁴ ...ни дракону, ни грифону, ни единорогу... – легендарные чудовища, встречающиеся в мифологии различных народов. В средние века изображениями этих чудовищ украшали военные доспехи и знамена. Позднее драконы, грифоны и единороги, как шутит Диккенс, «начали интересоваться домашним хозяйством» и перекочевали на вывески постоянных дворов и трактиров.

что не позволял пригласить к себе доктора и не желал принимать никаких лекарств, кроме тех, что достала из дорожной аптечки молодая леди, да и вообще ничего не желал, а только доводил хозяйку до полной потери чувств, наотрез отказываясь решительно, от всего, что бы она ему ни предлагала.

Из всех пятисот средств, какие могли облегчить его страдания и были предложены этой доброй женщиной менее чем за полчаса, он согласился только на одно. А именно – лечь в постель. И как раз из-за того, что ему стелили постель и прибирали в спальне, и поднялась вся возня в той комнате, перед окнами которой висел дракон.

Джентльмен был без сомнения очень болен и страдал невыносимо, хотя с виду это был очень крепкий и выносливый старик, с характером твердым как железо и голосом звучным как медь. Однако ни опасения за собственную жизнь, которые он выражал неоднократно, ни сильнейшие боли, терзавшие его, нисколько не повлияли на его решение. Он так-таки не желал ни за кем посылать. Чем хуже больной себя чувствовал, тем тверже и непреклоннее становилась его решимость. Если пошлют за кем бы то ни было для оказания ему помощи, он ни минуты больше не останется в этом доме (так он и выразился), хотя бы ему пришлось уйти пешком и даже умереть на пороге.

Так как в деревне не было практикующего врача, а проживал только замухрышка-аптекарь, который торговал также бакалеей и мелочным товаром, то хозяйка на свой страх послала за ним в первую же минуту, как только стряслась беда. И само собой разумеется, именно потому, что он понадобился, его не оказалось дома. Он уехал куда-то за несколько миль, и его ожидали домой разве только поздно ночью, а потому хозяйка, которая к этому времени совершенно потеряла голову, поскорей отправила того же посыльного за мистером Пекснифом, который, как человек образованный, конечно сумеет распорядиться и взять на себя ответственность, а как человек добродетельный – сумеет преподать утешение страждущей душе. Что ее постоялец нуждается в чьей-нибудь энергичной помощи по этой части, достаточно явствовало из беспокойных восклицаний, которые то и дело у него вырывались, свидетельствуя о том, что он тревожится скорее о земном, чем о небесном.

Человек, посланный с этим секретным поручением, имел не больше успеха, чем в первый раз: мистера Пекснифа тоже не оказалось дома. Тем не менее больного уложили в постель и без мистера Пекснифа, и часа через два ему стало значительно лучше, так как приступы колик становились все реже. Мало-помалу они совсем прекратились, хотя временами больной чувствовал такую слабость, что это внушало не меньше опасений, чем самые припадки.

В один из таких светлых промежутков молодая девушка и хозяйка гостиницы сидели вдвоем перед камином в комнате больного, как вдруг старик, осторожно озираясь по сторонам, приподнялся в своем пуховом гнезде и со странным выражением скрытности и недоверия принялся писать, воспользовавшись пером и бумагой, которые были положены по его приказанию на стол рядом с кроватью.

Хозяйка «Синего Дракона» была по внешности именно такова, какова должна быть хозяйка гостиницы: полная, здоровая, добродушная, миловидная, с очень белым и румяным лицом, по веселому выражению которого сразу было видно, что она и сама с удовольствием прикладывает ко всем яствам и питьям в кладовой и погребе и что они идут ей на пользу. Она была вдова, но, уже давно перестав сохнуть по мужу, успела снова расцвести и до сих пор была в полном цвету. Она и сейчас цвела как роза: розы были на ее пышных юбках, розы на груди, розы на щеках, розы на чепце – да и на губах тоже розы, и притом такие, которые очень стоило сорвать. У нее и сейчас еще были живые черные глаза и черные как смоль волосы, и вообще она была еще очень недурна – аппетитная, полненькая и крепкая, как крыжовник, – и хоть, как говорится, не первой молодости, а все же вы могли бы поклясться, даже под присягой, даже перед любым судьей или мэром, что немного найдется на свете

девушек (господь с ними со всеми!), которые вам так понравились бы и так пришлись по душе, как веселая хозяйка «Синего Дракона»!

Сидя перед огнем, прелестная вдовушка по временам с законной гордостью собственности оглядывала комнату – просторное помещение, какие нередко встречаются в деревенских домах, с низким потолком и осевшим полом, покатым от дверей вглубь, и двумя ступеньками в таком совершенно неожиданном месте, что, входя в комнату, новый человек нырял головой вперед, как в бассейн, невзирая на все предупреждения. Это была не какая-нибудь легкомысленная и возмутительно светлая спальня из нынешних, где человеку, который мыслит и чувствует в какой-то мере последовательно, просто невозможно уснуть, до того ода не соответствует своему назначению; наоборот, это было отличное, навевающее скуку и сон помещение, где каждый предмет напоминал вам, что вы пришли сюда именно затем, чтобы спать, и ничего другого от вас не ждут. Тут не было беспокойных отблесков огня, как в этих ваших модных спальнях, которые даже в самые темные ночи бьют в глаза своим французским лаком; мебель старинного красного дерева лишь время от времени подмигивала огню, как сонная кошка или собака, – только и всего. Самые размеры, формы и безнадежная неподвижность кровати, гардероба и даже стульев и столов навевали сон: они были явно апоплексического сложения и не прочь всхрапнуть. Со стен не таращились портреты, укоряя вас за леность, на пологие кровати не сидели круглоглазые, отвратительно бессонные и нестерпимо назойливые птицы. Плотные темные занавеси, глухие ставни и тяжелая груда одеял – все предназначалось для того, чтобы удерживать сон, не допуская извне света и движения. Даже старое чучело лисицы на шкафу утратило последние остатки зоркости, потому что единственный стеклянный глаз у него выпал, и оно дремало стоя.

Рассеянное внимание хозяйки «Синего Дракона» блуждало среди этих предметов, задерживаясь на каждом не больше чем на мгновение. Вскоре, однако, оно отвлеклось от мебели и даже от кровати с ее новым бременем ради юного создания, которое сидело рядом с нею, погрузившись в задумчивое молчание и не отрывая глаз от огня.

Девушка была еще очень молода, по-видимому не старше семнадцати лет, держалась застенчиво и робко, однако самообладанием и умением скрывать свои чувства она была наделена в большей степени, чем женщины даже более солидного возраста. Это она только что доказала как нельзя лучше, ухаживая за больным джентльменом. Она была невысокого роста и худенькая, как и пристало в ее годы, но вся прелесть юности и девичества украшала ее милую головку. Ее лицо было очень бледно – отчасти, надо полагать, от недавнего волнения. По той же причине слегка растрепались темно-каштановые волосы и, выбившись из прически, небрежно падали на шею, за что ни один свидетель мужского пола не решился бы ее осудить.

Она была одета как девушка из общества, но крайне просто, и даже когда сидела неподвижно, как теперь, во всем ее облике было что-то милое, вполне совпадавшее со свойственной ей скромной и непритязательной манерой одеваться. Сначала она время от времени тревожно поглядывала на кровать, но потом, убедившись, что больной успокоился и занялся писанием, тихо передвинула свой стул ближе к огню – по-видимому, инстинктивно чувствуя, что свидетели ему нежелательны; отчасти же для того, чтобы незаметно для больного дать волю своим чувствам, которые она до того сдерживала.

Все это, и даже гораздо больше, румяная хозяйка «Синего Дракона» успела заметить и понять вполне, как только женщина умеет понять женщину. Наконец она сказала, нарочно понизив голос, чтобы не слышно было больному:

– Приходилось ли. вам видеть у него такие приступы раньше, мисс? Часто это с ним бывает?

– Мне приходилось видеть его больным, но никогда еще ему не бывало так плохо, как сегодня.

– Какое счастье, мисс, – сказала хозяйка «Дракона», – что все рецепты и лекарства были с вами!

– Они и предназначены для таких случаев. Мы никогда без них не путешествуем.

«Ах, вот как! – подумала хозяйка. – Эй, да вы привыкли путешествовать, да еще путешествовать вместе».

Она до такой степени боялась, как бы эта мысль не отразилась у нее на лице, что, встретившись взглядом с гостьей и будучи честной женщиной, несколько смутилась.

– Этот джентльмен... ваш дедушка... – начала она опять после короткой паузы, – он совсем не хочет никакой помощи, так что вы, должно быть, очень за него боитесь, мисс?

– Сегодня я сильно тревожилась... Он... он мне не дедушка.

– Я хотела сказать «отец», – возразила хозяйка, чувствуя, что сделала досадный промах.

– И не отец, – отвечала молодая девушка. – И не дядя, – прибавила она с улыбкой, предупреждая всякие дальнейшие догадки. – Мы с ним не родня.

– Ах ты господи! – отвечала хозяйка, смешавшись еще больше прежнего. – Как же это я могла так ошибиться, когда знаю не хуже всякого другого, что больные всегда кажутся гораздо старше своих лет! Да еще зову вас «мисс»! – Дойдя до этих слов, она невольно взглянула на левую руку девушки и опять запнулась, так как обручального кольца на среднем пальце не было.

– Когда я сказала, что мы чужие друг другу, – отвечала та кротко и также не без смущения, – это значило – совсем чужие, а стало быть, и не муж и жена. Вы звали меня, Мартин?

– Звал вас? – откликнулся старик, быстро взглянув на нее и поспешно пряча под одеяло бумагу, на которой писал. – Нет, не звал.

Она уже сделала шага два к кровати, но сразу остановилась и замерла на месте.

– Нет, не звал, – повторил он с раздражением. – Почему вы спрашиваете? Если я вас звал, то какая была бы надобность в этом вопросе?

– По-моему, сударь, это скрипела вывеска за окном, – заметила хозяйка; предположение, кстати сказать, отнюдь не лестное для голоса старого джентльмена, как она и сама почувствовала в ту же минуту.

– Не важно, что именно это было, сударыня, – возразил старик, – только не я. Ну, что же вы там стали, Мэри, как будто у меня чума! Все меня боятся! – прибавил он, бессильно откидываясь на подушку, – все, даже она! Это проклятие какое-то! Чего же еще ждать!

– Нет, нет, что вы. Конечно, нет, – сказала добродушная хозяйка, вставая и подходя к нему. – Приободритесь, сударь. Это только болезненные фантазии.

– Какие там еще болезненные фантазии? – вскинулся на нее старик. – Что вы смыслите в фантазиях? Откуда вы слышали про фантазию? Все то же! Фантазии!

– Ну вот, смотрите, вы же мне пикнуть не даете, – отвечала хозяйка «Синего Дракона» с невозмутимым добродушием. – Господи ты мой боже, ничего плохого в этом слове нет, хоть оно и старое. И у здоровых людей тоже бывают свои причуды, да еще какие странные сплошь и рядом.

Как ни была безобидна ее речь, она подействовала на недоверчивого старика, словно масло на огонь. Он поднял голову с подушки, устремил на хозяйку темные глаза, сверкание которых усиливалось бледностью впалых щек, в свою очередь казавшихся еще бледнее от черной бархатной ермолки, и впился в ее лицо пристальным взглядом.

– А не рано ли вы начинаете! – произнес он таким тихим голосом, что, казалось, скорее думал вслух, чем обращался к ней. – Однако вы не теряете времени. Вы делаете то, что вам поручено, чтобы заслужить награду? Ну-с, так кто же подослал вас?

Хозяйка в изумлении посмотрела на ту, кого он называл «Мэри», и, не найдя ответа на ее поникшем лице, опять взглянула на старика. Сначала она даже испугалась, думая, что он повредился в рассудке; однако неторопливая сдержанность его речи и твердая решимость,

которая сказывалась в выражении его резко очерченной физиономии, а главное в крепко сжатых губах, убедили ее в противном.

– Ну же, – продолжал старик, – отвечайте мне, кто он такой? Впрочем, раз мы находимся здесь, мне нетрудно догадаться, можете быть уверены.

– Мартин, – вмешалась молодая девушка, кладя руку ему на плечо, – подумайте, как недолго мы пробыли в этом доме, даже имя ваше тут неизвестно.

– Если только вы... – начал он. Ему, как видно, очень хотелось высказать подозрение, что она злоупотребила его доверием, открывшись хозяйке; но, вспомнив нежные заботы девушки или растрогавшись выражением ее лица, он сдержался и, улегшись поудобнее на кровати, замолчал.

– Ну, вот! – сказала миссис Льюпин, ибо только от ее имени «Синему Дракону» разрешалось удовлетворять нужды людей и животных. – Вот теперь вы успокойтесь, сударь. Вы просто позабыли на минуту, что вас окружают одни друзья.

– Ох, – простонал старик с раздражением, беспокойно водя рукой по одеялу, – к чему вы говорите мне о друзьях? Неужели я без вас не знаю, кто мне друзья и кто – враги?

– По крайней мере, – кротко настаивала миссис Льюпин, – эта молодая леди вам друг, я уверена.

– У нее нет оснований быть врагом, – отозвался старик голосом человека, окончательно потерявшего надежду и доверие к людям. – Думаю, что друг! Бог ее знает. Ну, вот что: дайте-ка мне уснуть. Свечу оставьте на месте.

Как только обе они отошли от кровати, старик вытащил бумагу, над которой трудился так долго, и сжег ее на свече дотла. Покончив с этим, он погасил свечу и, отвернувшись с тяжелым вздохом к стене, натянул одеяло на голову и затих.

Уничтожение бумаги, так странно не вязавшееся с затраченным на нее трудом и к тому же грозившее пожаром «Синему Дракону», привело миссис Льюпин в немалое замешательство. Но молодая девушка, не выказав ни удивления, ни любопытства или тревоги, шепнула ей на ухо, что побудет с больным еще немного, и, поблагодарив ее за внимание и помощь, просила не сидеть с нею, так как она привыкла быть одна и скоротает время за чтением.

Миссис Льюпин полностью, и даже с процентами, унаследовала ту законную долю любопытства, какая полагается прекрасному полу, и во всякое другое время, вероятно, было бы не так-то легко заставить ее понять этот намек. Но сейчас, растерявшись от изумления перед всеми этими загадками, она немедленно покинула комнату и отправилась, нигде не задерживаясь, вниз, в свою маленькую гостиную, где и уселась в кресло с неестественным для нее спокойствием. Как раз в эту критическую минуту послышались шаги в коридоре и мистер Пексниф, умильно улыбаясь, заглянул через невысокий прилавок на открывавшуюся глазам перспективу уюта и комфорта и прошептал:

– Добрый вечер, миссис Льюпин!

– Боже мой, сэр! – воскликнула она, вставая ему навстречу. – Как я рада, что вы пришли!

– И я тоже очень рад, что пришел, – отвечал мистер Пексниф, – если могу быть полезным. Я очень рад, что пришел. В чем дело, миссис Льюпин?

– Один джентльмен заболел в дороге и остановился у меня, он лежит наверху и очень плох, – отвечала сквозь слезы хозяйка.

– Один джентльмен заболел в дороге, лежит наверху и очень плох, вот как? – повторил мистер Пексниф. – Ну-ну!

В этом замечании не было решительно ничего такого, что можно было бы назвать оригинальным, нельзя также сказать, чтобы в нем содержалась какая-нибудь особенная мудрость, дотоле неизвестная человечеству, или чтобы оно открывало какой-нибудь неведомый источник утешения. Но мистер Пексниф смотрел так благосклонно и кивал головой так

успокоительно, и во всей его обходительной манере сквозило такое чувство собственного превосходства, что и всякий на месте миссис Льюпин утешился бы от одного присутствия и звука голоса такого человека; и хотя бы он сказал всего-навсего, что «глагол должен согласоваться в роде и числе с существительным, любезный мой друг», или что «восемью восемь шестьдесят четыре, почтеннейший», – все же слушатель был бы глубоко благодарен мистеру Пекснифу за его мудрость и человеколюбие.

– А сейчас как он себя чувствует? – спросил мистер Пексниф, стаскивая перчатки и грея руки перед огнем с таким сострадательным видом, как будто это были чьи-то чужие руки, а не его собственные.

– Ему легче, он успокоился, – отвечала миссис Льюпин.

– Ему легче, и он успокоился, – произнес мистер Пексниф. – Хорошо, оч-чень хорошо!

И тут опять, хотя это утверждение принадлежало миссис Льюпин, а не мистеру Пекснифу, мистер Пексниф присвоил его себе и утешил им миссис Льюпин. В устах миссис Льюпин это было не бог весть что, а в устах мистера Пекснифа – целое откровение. «Я замечаю, – казалось, говорил он, – а через мое посредство и все нравственное человечество в целом усматривает, что ему легче и он успокоился».

– А все-таки что-то, должно быть, тяготит его совесть, – сказала хозяйка, покачивая головой, – потому что разговор у него, сударь, до того чудной, что вы такого и не слыхивали. Видно, на душе у него очень нелегко и он нуждается в совете такого человека, который по добродетели своей мог бы ему помочь.

– Тогда, – заметил мистер Пексниф, – я самый подходящий для этого человек. – Он сказал это как нельзя более ясно, хотя не произнес ни слова. Он только покачал головой, как бы не доверяя собственным силам.

– Я опасаюсь, сэр, – продолжала хозяйка, сперва оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь, а потом опустив глаза в землю, – очень опасаюсь, сэр, что совесть его не совсем спокойна оттого, что он не родственник... и... и даже не муж... Этой молоденькой леди...

– Миссис Льюпин! – произнес мистер Пексниф, воздевая руку кверху с выражением настолько близким к суровости, насколько это было совместимо с кротостью его характера. – Особе! Молодой особе?

– Очень молодой особе, сэр, – поправилась миссис Льюпин и присела, краснея, – извините меня, сэр, я сама не знаю, что говорю, так я нынче расстроена, – которая и сейчас при нем.

– Которая и сейчас при нем, – размышлял вслух мистер Пексниф, грея себе спину точно так же, как он грел себе руки: будто это была вдовья спина, или сиротская спина, или спина его врага, или вообще чья-то чужая спина, которую менее добродетельный человек преспокойно оставил бы зябнуть. – О боже мой, боже мой!

– А в то же время я должна сказать, и говорю по чистой совести, – заметила серьезно хозяйка, – что по виду и манерам она не внушает подозрений.

– Ваши подозрения, миссис Льюпин, – важно сказал мистер Пексниф, – вполне естественны.

Что касается этого замечания, то да будет здесь отмечено в укор врагам достойного человека, что они всегда утверждали не краснея, будто мистер Пексниф находил все дурное вполне естественным и, поступая таким образом, невольно разоблачал самого себя.

– Ваши подозрения, миссис Льюпин, – повторил он, – вполне естественны и, я не сомневаюсь, весьма основательны. Я зайду к этим вашим постояльцам.

С этими словами он снял пальто и, проведя пальцами по волосам, скромно заложил руку за жилет и слегка кивнул головой хозяйке, чтобы она шла вперед.

– Постучаться сначала? – спросила миссис Льюпин, останавливаясь у дверей спальни.

– Нет, – ответил мистер Пексниф, – войдите так, пожалуйста.

Они вошли на цыпочках, – вернее, хозяйка приняла эту предосторожность, ибо мистер Пексниф всегда ходил бесшумно. Пожилой джентльмен все еще спал, а его молоденькая спутница все еще сидела с книжкой перед камином.

– Боюсь, – сказал мистер Пексниф, останавливаясь в дверях и сообщая своей голове меланхолический наклон, – боюсь, что это выглядит не совсем естественно. Боюсь, миссис Льюпин, что тут какая-то хитрость.

Прошептав эти слова, он выступил вперед, заслоня хозяйку; и в ту же минуту, услышав шаги, молодая девушка поднялась с места. Мистер Пексниф бросил быстрый взгляд на книгу, которую она держала в руках, и снова шепнул миссис Льюпин, с еще большим прискорбием:

– Да, сударыня, книга душеспасительная. Я заранее опасался этого. Я так и предчувствовал, что перед нами весьма хитрая особа!

– Кто этот джентльмен? – спросил предмет его добродетельных сомнений.

– Т-с-с! Не беспокойтесь, сударыня, – остановил мистер Пексниф хозяйку, которая собиралась что-то ответить. – Эта молодая... – он все же не решился произнести слово «особа» и заменил его другим, – эта молодая незнакомка, миссис Льюпин, извинит меня, если я отвечу кратко, что живу в этой деревне, быть может пользуюсь Здесь некоторым влиянием, хотя и незаслуженно, и что я пришел сюда по вашему зову. Я пришел сюда, как обычно, из сочувствия к больным и страждущим.

С этими внушительными словами мистер Пексниф приблизился к постели больного и, торжественно похлопав раза два по одеялу, как будто этим способом достигалось полное проникновение в сущность болезни, уселся в мягкое кресло, где стал дожидаться пробуждения пациента в некоторой задумчивости и со всеми удобствами. Какие бы возражения ни услышала миссис Льюпин от молодой девушки, дальше нее это не пошло, ибо мистеру Пекснифу ничего не было сказано и сам мистер Пексниф больше никому не сказал ни слова.

Прошло целых полчаса, прежде чем старик пошевелился, но, наконец, он заворочался на кровати и, хотя еще не совсем проснулся, по некоторым признакам видно было, что сон его близок к концу. Одеяло постепенно сползло с его головы, и он повернулся в ту сторону, где сидел мистер Пексниф. Через некоторое время его глаза открылись, и он лежал несколько секунд, сонно глядя на своего гостя, не отдавая себе ясного отчета в его присутствии.

В этом пробуждении не было ничего замечательного, если не считать впечатления, произведенного им на мистера Пекснифа: он наблюдал его, как наблюдают какое-нибудь чудо природы. Его руки все сильнее и сильнее сжимали подлокотники кресла, глаза округлились от изумления, рот раскрылся, волосы надо лбом встопорщились более обыкновенного, и, наконец, когда старик сел на кровати и устался на Пекснифа, не менее его ошеломленный, все колебания этого добродетельного человека исчезли, и он громко воскликнул:

– Это Мартин Чезлвит!

И тут же замер в изумлении, настолько неподдельном, что старик, как ни был он расположен считать это изумление притворным, должен был убедиться в его искренности.

– Да, я Мартин Чезлвит, – ответил он ворчливо, – я Мартин Чезлвит, и желаю, чтобы вас повесили, а то ходите тут и не даете мне спать. Он даже приснился мне, этот молодчик, – сказал он, опять ложась и отворачиваясь к стене, – а ведь я еще и знать не знал, что он сидит тут, рядом со мной.

– Любезный кузен... – произнес мистер Пексниф.

– Ну вот! С самых первых слов! – заворчал старик, беспокойно повертывая седую голову то вправо, то влево и вскидывая руки кверху. – С самых первых слов он уже навязывается мне в родню! Так я и знал, все они на один лад! Близкие или дальние, кровная родня

или седьмая вода на киселе, – всегда одно и то же. Уф! А ведь стоит моим родственникам слово сказать, и какой длинный разворачивается список обманов, подвохов и интриг.

– Прошу вас, не судите обо мне опрометчиво, мистер Чезлвит, – сказал Пексниф тоном как нельзя более сострадательным и в то же время как нельзя более беспристрастным, ибо он уже успел прийти в чувство и вполне овладел собой и всеми своими добродетелями. – Вы пожалеете о своей опрометчивости, я уверен.

– Он уверен! – презрительно заметил Мартин.

– Да, – отвечал мистер Пексниф. – Именно, именно, мистер Чезлвит! И напрасно вы думаете, сэр, что я собираюсь вам льстить или заискивать перед вами, – я как нельзя более далек от этого. Вам нечего опасаться, сэр, что я повторю то неприятное слово, которое вас так задело. Да и к чему бы это? Разве я жду от вас чего-нибудь или мне что-нибудь нужно? Насколько мне известно, вы не обладаете ничем таким, что давало бы вам счастье и чему я мог бы позавидовать.

– Это, пожалуй, верно, – проворчал старик.

– Помимо этих соображений, – продолжал мистер Пексниф, зорко наблюдая за действием своих слов, – вам должно быть достаточно ясно, что, если бы я хотел втереться к вам в доверие, я бы прежде всего остерегся обращаться к вам как к родственнику, зная ваши взгляды и будучи убежден наперед, что хуже этого я не мог бы представить рекомендации.

Мартин не удостоил его ответом, но так ясно дал понять одним движением ноги под одеялом, что это резонно и что спорить с этим он не намерен, как если бы выразил свое мнение в самой обстоятельной речи.

– Нет, – сказал мистер Пексниф, закладывая руку за жилет и словно готовясь предъявить свое сердце Мартину Чезлвиту по первому его требованию, – я пришел сюда с тем, чтобы предложить свои услуги незнакомцу. Я не предлагаю их вам, ибо знаю, что вы отнеслись бы ко мне с недоверием. Но пока вы прикованы к этой кровати, сэр, я смотрю на вас, как на постороннего человека, и интересуюсь вами совершенно так же, как интересовался бы посторонним при тех же обстоятельствах. Помимо же этого – вы мне безразличны, мистер Чезлвит, так же, как я вам.

Сказав это, мистер Пексниф откинулся на спинку кресла, сияя таким чистосердечным простодушием, что миссис Льюпин удивилась, почему вокруг его головы нет сияния, как у святых.

Последовало долгое молчание. Старик с возрастающим беспокойством ворочался на кровати с боку на бок. Миссис Льюпин и молодая девушка молча смотрели на одеяло. Мистер Пексниф рассеянно поигрывал лорнетом, Закрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться.

– Что? – неожиданно произнес он, открывая глаза и устремляя их на больного. – Прошу прощения. Мне показалось, что вы заговорили. Миссис Льюпин, – продолжал он, неторопливо поднимаясь с места, – не думаю, чтобы я мог быть чем-нибудь здесь полезен. Джентльмену теперь легче, а другой такой сиделки, как вы, ему не найти. Что?

Это последнее восклицание относилось к старику, который опять переменял положение и теперь повернулся лицом к мистеру Пекснифу, в первый раз за все время разговора.

– Если вы желаете что-нибудь сказать мне, сэр, прежде чем я уйду, – продолжал мистер Пексниф после новой паузы, – можете располагать моим временем, но при условии, что вы будете разговаривать со мной как с посторонним, – только как с посторонним.

Если мистер Пексниф понял по какому-нибудь движению Мартина Чезлвита, что тот желает с ним говорить, то судить об этом он мог, лишь исходя из правил, па которых обычно строится мелодрама и в силу которых старик фермер и его сын простаки всегда понимают, что хочет сказать немая девушка, когда, выбежав к ним в сад, она повествует о своих злоключениях в совершенно невразумительной пантомиме. Однако Мартин Чезлвит не спра-

шивал ни о чем и только сделал своей молодой спутнице знак удалиться, после чего она немедленно вышла из комнаты вместе с хозяйкой, оставив его наедине с мистером Пекснифом. Некоторое время они молча глядели друг на друга, или скорее старик глядел на мистера Пекснифа, ибо мистер Пексниф опять закрыл глаза и, отвратясь от предметов материального мира, устремил духовный взор в недра собственной души. Что это занятие щедро вознаграждало его за труды и раскрывало перед ним завлекательную и восхитительную перспективу, было видно по выражению его лица.

– Вы желаете, чтобы я разговаривал с вами, как с совершенно посторонним лицом, – начал старик, – не так ли?

Мистер Пексниф легким пожатием плеч и едва заметным движением век дал понять, не открывая глаз, что он по-прежнему вынужден на этом настаивать.

– Пусть будет по-вашему, – сказал Мартин. – Сэр, я человек богатый. Не настолько богатый, как полагают некоторые, но все же состоятельный. Я не скряга, сэр, хотя, как я слышал, меня обвиняют и в этом, и многие этому верят. Я не вижу никакой радости в том, чтобы владеть деньгами. Дьявол, именуемый богатством, не может принести мне ничего, кроме несчастья.

Вряд ли было бы правильно, говоря о скромности манер мистера Пекснифа, сослаться на распространенную поговорку и сказать, что с виду он и воды не замутит или что во рту у него даже масло не тает. Наоборот, с виду казалось, что из мистера Пекснифа можно надевать уйму масла, сбивая млеко гуманности и благожелательности, бывшее фонтаном из его сердца.

– Но именно по той же причине, почему я не коплю денег, – продолжал старик, – я и не швыряю их зря. Иные находят отраду в том, чтобы копить их, другие – в том, чтобы тратить; меня же это не прельщает. Кроме забот и огорчений, деньги мне ничего принести не могут. Я ненавижу их. Они, словно призрак, маячат передо мной повсюду и отравляют всякое удовольствие общения с людьми.

Очевидно, в голове мистера Пекснифа мелькнула некая мысль, которая в ту же минуту отразилась и на его физиономии, иначе Мартин Чезлвит не закончил бы свою речь так отрывисто и так сурово:

– Вы, конечно, посоветовали бы мне, ради моего душевного спокойствия, расстаться с этим источником всех зол и передать деньги другому, кому они не были бы в тягость. Даже вы, быть может, согласились бы взять на себя бремя, которое гнетет меня так тяжело. Однако, любезный незнакомец и добрый христианин, – продолжал старик, и лицо его потемнело при этих словах, – в этом-то и заключается главное мое горе. Мне известно, что деньги немало приносят и добра; мне известно, что они не раз помогали торжествовать победу, в них справедливо видят магический ключ, отмыкающий врата, преграждающие путь к мирским почестям, радостям и счастью. Какому же человеку, какому достойному, честному, неподкупному существу могу я доверить подобный талисман теперь или после моей смерти? Знаете ли вы такое лицо? Ваши добродетели, конечно, неоценимы, но можете ли вы указать мне другое человеческое существо, которое безнаказанно выдержало бы общение со мной?

– Общение с вами, сэр? – эхом отозвался мистер Пексниф.

– Да, – повторил старик, – выдержало бы общение со мной – со мной! Вы слышали о несчастном, который, во исполнение собственной неразумной просьбы, превращал в золото все, к чему прикасался? Проклятие моей жизни в том, что исполнилось и мое безрассудное желание, и я осужден испытывать людей золотом и находить в них фальшь и пустоту.

Мистер Пексниф покачал головой и сказал:

– Вам так кажется.

– О нет, не кажется! – воскликнул старик. – Да и в ваших словах «вам так кажется» я слышу подлинный звон металла, из которого вы отлиты. Поймите, любезнейший, – доба-

вил он еще более горько, – что мне, ныне богатому человеку, пришлось на своем веку иметь дело со всякими людьми: с родней, чужими и знакомыми; с людьми, которым я доверял, будучи беден, и доверял справедливо, ибо тогда они еще не обманывали меня и не чернили друг друга. Но ни разу не довелось мне, одинокому богачу, столкнуться с человеком – нет, нет, ни разу, – в котором я не обнаружил бы скрытой гнили, до времени затаившейся и ждущей только случая, чтобы выйти наружу. Предательство, обман, низкие происки, ненависть к действительным или воображаемым соперникам, добивающимся моих милостей, корысть, ложь, низость и раболепство или, – и тут он зорко посмотрел в глаза своему родственнику, – притворная честность и независимость, что едва ли не хуже, – вот те прелести, какие вывело на чистую воду мое богатство. Брат против брата, сын против отца, друзья, попирающие ногами друзей, – вот общество, в котором я провел всю свою жизнь. Существуют рассказы, – не знаю, сказка они или быль, – о богачах, переодетых нищими, которые разыскивают добродетель и, найдя, вознаграждают ее. Глупцы и простаки, сколько труда они затратили понапрасну! Им следовало бы пускаться на такие поиски в своем собственном обличье. То-то была бы достойная цель для всяких низких и грабительских происков, для интриг и оболъщений со стороны своры мошенников, которые с радостью стали бы плевать на гроб одураченной жертвы; тогда эти поиски добродетели окончились бы тем же, чем окончились мои; и искатели пришли бы к тому же, к чему пришел теперь я.

Мистер Пексниф решительно не знал, что на это ответить; во время последовавшей короткой паузы он всеми силами старался показать, будто бы собирается изречь нечто достойное оракула, будучи твердо уверен, что старик прервет его на полуслове. И он не ошибся; Мартин Чезлвит, переведя дыхание, продолжал:

– Выслушайте меня до конца; посудите сами, какой выгоды можете вы добиться повторения этого визита. и оставьте меня в покое. Я до такой степени развратил и испортил натуру каждого, кто соприкасался со мной, сея вокруг себя корыстные помыслы и надежды; я породил столько раздоров и свар, даже в пределах собственной семьи, в мирном кругу родных; я, словно пылающий факел, столько раз воспламенял взрывчатые газы и пары домашней атмосферы, которые без меня остались бы непотревоженными, – что в конце концов я попросту бежал от всех, кто меня знает, и, скрываясь в безвестных убежищах, все последнее время жил жизнью изгнанника. Молодая девушка, которую вы только что видели... Ага! Ваши глаза загорелись, не успел я заговорить о ней! Вы уже ненавидите ее, вот как!

– Даю вам честное слово, сэр... – сказал мистер Пексниф, прикладывая руку к сердцу и опуская глаза.

– Я забыл, – воскликнул старик, глядя на мистера Пекснифа таким проницательным взором, что тот его почувствовал, хотя и не поднимал глаз и не мог его видеть, – прошу прощения. Я забыл, что вы мне совсем чужой. На минуту вы мне напомнили некоего Пекснифа, моего родственника. Как я уже говорил вам, молодая девушка, которую вы только что видели, – это сиротка, которую я взрастил и воспитал, или удочерил, если вам больше нравится это слово, с совершенно особой целью. Уже с год или более того она моя постоянная спутница, а с недавних пор и единственная. Она знает, что я дал торжественную клятву не оставлять ей по завещанию ни гроша; но пока я жив, она получает годовое содержание, не слишком щедрое и не слишком скарредное. Мы уговорились избегать ласковых и льстивых обращений, она всегда будет звать меня по имени, так же как и я ее. Пока я жив, она связана со мной узами выгоды, а так как моя смерть не сулит ей напрасных надежд, – напротив, она все потеряет, – то, быть может, она и станет меня оплакивать, хотя я об этом мало тревожусь. Это единственный друг, какого я могу иметь теперь или в будущем. Судите же сами, много ли выгод принесет вам час, проведенный со мною, и оставьте меня, чтобы не возвращаться больше.

С этими словами старик медленно опустился на подушки. Мистер Пексниф так же медленно поднялся с места и, предварительно кашлянув, начал:

– Мистер Чезлвит!

– Ну вот! Уходите! – прервал его старик. – Довольно с меня. Вы мне надоели.

– Меня это огорчает, сэр, – возразил мистер Пексниф, – потому что я должен исполнить долг, от которого не отступлю, можете быть уверены. Да, сэр, не отступлю ни за что.

Как это ни прискорбно, но когда мистер Пексниф стал перед кроватью, выпрямившись во весь рост и адресуясь к старику во всем величии добродетели, тот бросил яростный взгляд на подсвечник, словно испытывая сильнейшее желание запустить им в голову своего кузена. Однако он сдержался и показал гостю пальцем на дверь, словно давая понять, что именно туда ему следует выйти.

– Благодарю вас, – сказал мистер Пексниф. – Я сам это знаю и сейчас уйду. Но сперва я просил бы, чтобы вы позволили мне высказаться; мало того, мистер Чезлвит, вы должны – да, да, я повторяю! – должны меня выслушать. То, что вы сообщили мне сегодня, несколько не удивило меня, сэр. Все это естественно, вполне естественно, и по большей части было известно мне и раньше. Не стану говорить, – продолжал мистер Пексниф, извлекая носовой платок и мигая обоими глазами сразу, как бы против воли, – не стану говорить, что вы во мне ошиблись. Пока вы находитесь в таком настроении, я ни за что этого не скажу. Право, я хотел бы, чтобы у меня был другой характер и чтобы я мог подавить даже вот это невольное признание в слабости, которую я не в силах скрыть от вас, но которую считаю унижительной и которую вы по доброте своей простите мне. Если вам угодно, – прибавил мистер Пексниф со слезой в голосе, – мы припишем это простуде, или понюшке табаку, или нюхательным солям, или луку – чему угодно, только не истинной причине.

Тут он помолчал с минуту и спрятал лицо в платок. Потом улыбнулся как бы через силу и, ухватившись одной рукой за столбик кровати, продолжал: – Но, мистер Чезлвит, хотя я готов забыть о себе, тем не менее должен сказать вам ради себя самого, ради своей репутации – да, сэр, у меня есть репутация, которую, как высшее достояние, я оставляю в наследство своим двум дочерям, – я должен сказать вам, не в своих интересах, но в интересах другого, что ваше поведение дурно, противоестественно, чудовищно, что ему нет никакого оправдания. И еще скажу вам, сэр, – продолжал далее мистер Пексниф, паря на цыпочках между занавесями кровати и как бы воочию возносясь над корыстными расчетами мира, так что, казалось, не держись он крепко за столбик, почтенный джентльмен ракетой взвился бы к небесам, – скажу без страха и пристрастия, что вам не подобает забывать вашего внука, молодого Мартина, который имеет на вас все права самого близкого родственника. Это не годится, сэр, – повторил мистер Пексниф, качая головой. – Вы, может быть, думаете, что годится, – но это не годится. Вы, конечно, позаботитесь о молодом человеке: вы должны позаботиться о нем, и это вам известно. Я уверен, – продолжал мистер Пексниф, бросая взгляд на перо и чернила, – что вы и сами уже обо всем подумали. Благослови вас господь за это. За то, что вы поступили как должно. За то, что вы ненавидите меня. И спокойной вам ночи!

Свою речь мистер Пексниф закончил торжественным мановением правой руки, после чего снова заложил эту руку за борт жилета и удалился. По всему видно было, что он взволнован, но походка его оставалась твердой. Не чуждый человеческим слабостям, он находил опору в сознании, что совесть его чиста.

Мартин Чезлвит некоторое время лежал молча, и лицо его выражало немое изумление, которое пересиливало гнев; наконец он пробормотал едва слышно:

– Что это значит? Неужели вероломный мальчишка избрал своим орудием наглеца, который только что вышел отсюда? Почему же нет? Ведь он тоже в заговоре против меня,

как и все прочие: оба они одного поля ягоды. Опять козни, опять козни! О эгоизм, эгоизм! Куда ни повернись, ничего кроме эгоизма!

Некоторое время он молчал и только перебирал пальцами сожженную бумагу на подсвечнике. Он перебирал ее в полном рассеянии, затем и мысли его обратились к этой бумаге.

– Еще одно завещание составлено и уничтожено, – пробормотал он, – ничего не решено, ничего не сделано, а ведь я... мог умереть сегодня! Вижу ясно, каким гнусным целям послужат в конце концов эти деньги, – восклицал он, чуть ли не корчась в постели. – Всю мою жизнь я не знал ничего, кроме забот и горя из-за этих денег, да и после моей смерти они будут возбуждать только раздор и вражду. Так всегда бывает. Какие тяжбы произрастают повседневно на могилах богачей! Сколько сеется лжи, ненависти, раздоров среди близких родных, там, где нет места ничему, кроме любви. Горе нам, ибо за многое нам придется ответить! О эгоизм, эгоизм! Каждый за себя, а за меня – никто!

Вездесущий эгоизм! Но разве не было какой-то доли эгоизма и в этих размышлениях; да и во всей истории Мартина Чезлвита, по собственному его свидетельству?

Глава IV, из которой следует, что если в единении сила и родственные чувства приятно видеть, то род Чезлвитов надо считать самым сильным и самым приятным на свете

Итак, сей достойнейший муж, мистер Пексниф, распрощавшись со своим кузеном в торжественных выражениях, запечатленных в предыдущей главе, отправился к себе домой, где и просидел целых три дня, не отваживаясь даже на прогулку за пределами собственного сада, из боязни, как бы его в это время не вызвали спешно к одру провинившегося и кающегося родственника, которого мистер Пексниф, по своему великому милосердию, решил простить без всяких оговорок и любить на каких угодно условиях. Но таковы были упрямство и озлобление сурового старика, что покаянного зова не последовало, и четвертый день ожидания застал мистера Пекснифа гораздо дальше от его благочестивой цели, чем первый.

В продолжение всего этого времени он забегал в «Дракон» в любой час дня и ночи и, платя добром за зло, справлялся о здоровье закоснелого упряма, проявляя величайшее внимание к нему, так что миссис Льюпин, видя такую бескорыстную заботу, совсем расчувствовалась, — ибо в разговорах с ней он неукоснительно подчеркивал, что сделал бы то же самое и для чужого человека, даже для нищего, если б тот находился в таком положении, — и пролила немало умиленных и восторженных слез.

Тем временем старый Мартин Чезлвит сидел у себя запершись, не видясь ни с кем, кроме своей юной спутницы да еще хозяйки «Синего Дракона», которую допускали к нему в иных случаях. Однако, как только она входила в комнату, Мартин притворялся, будто спит, и до тех пор не отвечал ни слова даже на самый простой вопрос, пока его не оставляли наедине с молодой девушкой, хотя мистеру Пекснифу, который усердно подслушивал у дверей, удалось-таки установить, что с ней старик бывал довольно разговорчив.

Вечером четвертого дня случилось так, что мистер Пексниф, войдя, по обыкновению, в общую залу «Дракона» и не застав там миссис Льюпин, прошел прямо наверх, намереваясь, в пылу христианского усердия, приложить ухо к замочной скважине и, душевного спокойствия ради, удостовериться в том, что жестокосердый пациент чувствует себя хорошо. Случилось так, что мистер Пексниф, тихонько войдя в темный коридор, куда сквозь упомянутую замочную скважину обычно падал косой луч света, к своему изумлению не увидел этого луча; а далее случилось так, что мистер Пексниф, найдя ощупью дорогу к дверям спальни и нагнувшись второпях, чтобы удостовериться путем личного осмотра, не велел ли старик, по своей подозрительности, заткнуть скважину изнутри, — так сильно столкнулся головой с кем-то другим, что не мог не испустить довольно громкого восклицания «ой!», исторгнутого у него чувством страха. И, наконец, случилось так, что мистер Пексниф немедленно вслед за этим был схвачен за шиворот неведомой силой, которая издавала смешанный запах мокрых зонтиков, пивной бочки, горячего грога и насквозь прокуренного трактирного помещения, и без всяких околичностей отведен вниз, в ту самую залу, откуда только что пришел и где он теперь очутился лицом к лицу с совершенно незнакомым ему джентльменом престранной наружности, который одной рукой держал мистера Пекснифа за шиворот, а другой, свободной, изо всех сил растирал себе голову, глядя на него довольно свирепо.

По наружности незнакомца можно было отнести к тому разряду людей, который принято именовать «благородной бедностью», хотя, судя по одежде, нельзя было сказать, что он находится в стесненных обстоятельствах: наоборот, пальцы у него свободно вылезали из

перчаток, а подошвы сапог существовали почти самостоятельно, отделившись от головок. Его невыразимые были голубовато-серого цвета – когда-то очень яркого, а теперь потускневшего от времени и грязи, – и тик туго натянуты, в силу противодействия подтяжек и штрипок, что, казалось, готовы были в любую минуту лопнуть на коленках. Его синяя венгерка военного покроя, со шнурами, была застегнута на все пуговицы до самого подбородка, а шейный платок цветом и узором напоминал те салфетки, какими парикмахеры обычно подвязывают своих клиентов, совершая над ними профессиональное таинство. Его шляпа дошла до такого состояния, что весьма затруднительно было бы решить, какого цвета она была вначале – белая или черная. При всем том он носил усы – и даже очень щетинистые усы, не то чтобы мягкие и снисходительные, но довольно свирепого и надменного фасона, поистине дьявольские усы, а сверх того целую копну нечесаных волос. Он был очень грязен и очень нахален, очень дерзок и очень угодлив, – словом, это был человек, который мог бы добиться в жизни чего-то лучшего и несомненно заслуживал гораздо худшего.

– Вы подслушивали у дверей, негодяй вы этакий! – сказал незнакомец.

Но мистер Пексниф пренебрег им, как, вероятно, Георгий Победоносец пренебрег драконом, когда это чудовище находилось при последнем издыхании; не удостоив его ответом, он сказал:

– Где миссис Льюпин, хотел бы я знать? Неужели этой доброй женщине неизвестно, что здесь находится человек, который...

– Постойте! – воскликнул джентльмен. – Одну минуту! А если ей известно? Что тогда?

– Что тогда? – воскликнул мистер Пексниф. – Что тогда? Знаете ли вы, сэр, что я друг и родственник этого больного джентльмена? Что я его защитник, его покровитель, его...

– Но все-таки не муж его племянницы, – прервал незнакомец, – это уж наверняка, потому что он побывал здесь раньше вас.

– То есть как это? – удивленно и негодуя спросил мистер Пексниф. – Что вы мне рассказываете, сэр?

– Одну микутку! – воскликнул тот. – Может быть, вы кузен? Тот, что живет в здешних местах?

– Да, я кузен, который живет в здешних местах, – отвечал достойный человек.

– Ваша фамилия Пексниф? – спросил незнакомец.

– Да, это моя фамилия.

– Честь имею представиться и прошу вашего прощения, сэр, – сказал незнакомец, дотрагиваясь до шляпы, а затем ныряя под шейный платок в поисках воротничка, который, однако, ему не удалось извлечь на поверхность. – Вы видите перед собой человека, который тоже интересуется тем джентльменом, что наверху. Одну минуту.

Сказав это, он приставил палец к кончику своего римского носа, в знак того, что собирается посвятить мистера Пекснифа в какую-то тайну, потом, сняв шляпу, начал рыться в тулье, где было много измятых бумажонок и каких-то мелких клочков, похожих на сигарные обертки, и, наконец, выбрал среди них конверт от старого письма, порядком засаленный и насквозь пропахший табаком.

– Прочтите вот это, – сказал он, подавая конверт мистеру Пекснифу.

– Адресовано эсквайру Чиви Слайму, – возразил Пексниф.

– Я думаю, вы знаете эсквайра Чиви Слайма? – спросил незнакомец.

Мистер Пексниф пожал плечами, как бы говоря:

«Я знаю, что есть такое лицо, – к моему величайшему прискорбию».

– Очень хорошо, – заметил джентльмен. – Это и привело меня сюда, это меня и интересует. – Тут он опять нырнул за воротничком и вытащил какую-то веревочку.

– Весьма огорчительно, друг мой, – сказал мистер Пексниф, покачивая головой и безмятежно улыбаясь, – весьма огорчительно, но я вынужден сказать вам, что вы не то лицо,

за которое себя выдаете. Я знаю мистера Слайма, друг мой, и, право, зря вы это, совсем ни к чему: самая лучшая политика – честность.

– Пойдите! – воскликнул джентльмен, простирая вперед руку в таком узком и тесном рукаве, что она походила на сукодную колбасу. – Одну минуту!

Он замолчал и, не теряя времени, расположился поудобнее перед огнем, став к нему спиной. Затем, забрав полы венгерки в левую руку и поглаживая усы большим и указательным пальцами правой, руки, продолжал:

– Я понимаю вашу ошибку и не обижаюсь. Почему? Потому что она мне льстит. Вы полагаете, что я выдаю себя за Чиви Слайма. Сэр, если есть на свете человек, на которого лестно и почетно быть похожим всякому джентльмену, то этот человек мой друг Слайм. Потому что это самый великодушный, самый независимый, самый оригинальный, самый образованный, самый даровитый, самый возвышенный ум и самый шекспировский, если не мильтоновский, характер, какой мне известен, и в то же время – это самый распоследний неудачник, заслуг которого, к сожалению, не признают. Нет, сэр, я не настолько тщеславен, чтобы выдавать себя за Слайма. Ни одному человеку на свете я не уступлю ни в чем; но Слайм, признаюсь откровенно, человек много выше меня. И, следовательно, вы не правы.

– Я судил на основании этого, – сказал мистер Пексниф, протягивая ему конверт.

– Не сомневаюсь, – отвечал джентльмен. – Видите ли, мистер Пексниф, все дело здесь в особенностях, свойственных гению. У всякого истинного гения свои особенности. Сэр, особенность моего друга Слайма в том, что он всегда ко всему готов и пребывает в ожидании. Пребывать в ожидании – свойственно ему, сэр. Он и сейчас пребывает в ожидании, тут, за дверью. Вот это и есть, – заключил незнакомец, потрясая указательным пальцем у себя перед носом, расставляя ноги пошире и в то же время не сводя внимательного взгляда с мистера Пекснифа, – это и есть самая замечательная и любопытная черта характера мистера Слайма; и когда будут описывать жизнь мистера Слайма, биографу придется как следует развить эту черту, иначе общество будет разочаровано. Заметьте, общество будет разочаровано. Мистер Пексниф кашлянул.

– Биограф Слайма, сэр, кто бы он ни был, – продолжал джентльмен, – должен обратиться ко мне или, если я удалюсь в этот самый, как его, откуда нет возврата, пускай адресуется к моим душеприказчикам за разрешением порываться в моих бумагах. Этой слабой рукой я сделал кое-какие записи о некоторых делах мистера Слайма – моего названного брата, – они изумят вас, сэр. Не далее как пятнадцатого числа прошлого месяца, не будучи в состоянии уплатить по маленькому счету, он употребил одно выражение, сэр, которое было бы вполне уместно в воззваниях Наполеона Бонапарта к французской армии.

– А скажите, пожалуйста, – спросил мистер Пексниф, видимо чувствуя себя не совсем ловко, – какие, смею спросить, у мистера Слайма могут быть здесь дела? Хотя, ради моей репутации, мне бы не следовало интересоваться его делами.

– Во-первых, – отвечал джентльмен, – разрешите мне сказать, что я против этого замечания и отвергаю его безусловно, отвергаю с негодованием, от лица моего друга Слайма. Во-вторых, позвольте представиться. Моя фамилия – Тигг. Имя Монтегю Тигг, быть может, знакомо вам, сэр, в связи со славными событиями испанской войны¹⁵?

Мистер – Пексниф нерешительно покачал головой.

– Не беда, – сказал джентльмен. – Это был мой отец, и я ношу его имя. И потому я горд, горд, как Люцифер. Извините меня, одну минуту. Мне хотелось бы, чтобы мой друг Слайм присутствовал при окончании нашей беседы.

¹⁵ ...в связи со славными событиями испанской войны... – О какой испанской войне идет речь – не ясно. Мистер Тигг-старший мог участвовать в войне Испании с Англией (1779–1783) и в Испано-Португальской войне 1801 года.

Сделав это заявление, он побежал к выходу и в самом скором времени вернулся с приятелем, несколько ниже его ростом, облаченным в синий камлотовый плащ на полинялой красной подкладке. От долгого ожидания на холоде его резкие черты сильно заострились и осунулись, растрепанные рыжие бакенбарды и нечесанные волосы взлохматились еще больше, – словом, неказистого и неряшливого в нем было гораздо больше, чем шекспировского или мильтоновского.

– Так вот, – сказал мистер Тигг, похлопывая своего симпатичного друга по плечу одной рукой, а другой призывая мистера Пекснифа к вниманию, – вы с ним родня, а родственники никогда не ладили между собой и не будут ладить, в чем я вижу мудрое предопределение и естественную необходимость, иначе все вращались бы только в семейном кругу и надоели бы друг другу до смерти. Будь вы с ним в ладах, мне бы это показалось адски подозрительным, но по тому, как дело обстоит между вами сейчас, я вижу, что оба вы чертовски разумные ребята и с вами можно столкнуться о чем угодно.

Тут мистер Чиви Слайм, великие таланты которого, по-видимому, находились по ту сторону морали и заключались в подлости, украдкой толкнул своего приятеля в бок и что-то шепнул ему на ухо.

– Чив, – отвечал мистер Тигг тоном человека, не терпящего вмешательства в свои дела, – сейчас дойду и до этого. Или я сам за все отвечаю, или вовсе ни за что не берусь. Я совершенно уверен, что мистер Пексниф не откажется одолжить человеку ваших дарований такую ничтожную сумму, как пять шиллингов. – Однако, заметив по выражению лица мистера Пекснифа, что тот отнюдь не разделяет этой уверенности, мистер Тигг опять представил палец к носу, специально и единственно для этого почтенного джентльмена, как бы приглашая его обратить внимание на то, что потребность в небольших займах есть еще одна из особенностей гения, присущих его другу Слайму, к которой он, Тигг, откосится снисходительно, ибо такие слабости представляют значительный метафизический интерес; что же касается его личного ходатайства насчет небольшого аванса, то он только соображался с желаниями своего друга, нисколько не считаясь со своими собственными нуждами или выгодами.

– О Чив, Чив! – прибавил мистер Тигг по окончании этой пантомимы, взирая на своего названного брата с выражением глубокой задумчивости. – Клянусь жизнью, вы являетесь собою удивительный пример могучего духа, подверженного мелким слабостям. Если бы не было на свете телескопа, я из своих наблюдений над вами мог бы убедиться, что на солнце есть пятна! Странный это мир, клянусь богом, и мы обречены в нем на жалкое прозябание, неизвестно для чего и почему, мистер Пексниф! Ну, да что там! Как ни рассуждай, а мир не переделаешь! Вспомните слова Гамлета: сколько бы Геркулес ни размахивал палицей во всех направлениях, разве он в силах помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах или собакам погибать от пули¹⁶, когда они в знойную погоду бегают по улице без намордника? Жизнь есть загадка, и разгадать ее дьявольски трудно, мистер Пексниф. Мое мнение таково, что разгадки вовсе нет, как в знаменитой головоломке: «Почему человек в тюрьме похож на человека вне тюрьмы?» Клянусь душой и телом, все это в высшей степени странно, а впрочем, что толку разговаривать. Ха-ха!

Сделав такой утешительный вывод из своих мрачных раздумий, мистер Тигг воспрянул духом и продолжал с прежней живостью:

– Вот что я вам скажу. Я по характеру человек мягкосердечный, можно сказать – даже слишком, и не могу стоять и смотреть, как вы друг другу собираетесь перегрызть горло,

¹⁶ ...сколько бы Геркулес ни размахивал палицей во всех направлениях, разве он в силах помешать котам поднимать отчаянную возню на крышах или собакам погибать от пули... – вольная передача сентенции Гамлета из 1-й сцены V акта трагедии Шекспира «Гамлет»: Хотя бы Геркулес весь мир разнес, А кот мяучит, и гуляет пес. (Перевод М. Лозинского.)

когда этим все равно ничего не выгадаешь. Мистер Пексниф, вы кузен нашего уважаемого завещателя, а мы его племянники, то есть я хочу сказать: Чив его племянник. Если разобратся по существу, то, может, вы более близкая родня, чем мы. Очень хорошо, не возражаю. Но вас к нему не допустят, и нас тоже. Даю вам самое что ни на есть честное слово, сэр, я смотрю в эту замочную скважину с девяти утра, с небольшими перерывами для отдыха, дожидаясь ответа на самую умеренную и благородную просьбу о небольшом временном пособии, какую только можно себе представить, – всего пятнадцать фунтов, сэр, и под мое поручительство. И все это время, сэр, он сидит взаперти с совершенно посторонней особой и оказывает ей неограниченное доверие. Так вот, я и утверждаю категорически, говоря о создавшемся положении, что это не годится, это не пройдет, этого терпеть нельзя, и совершенно невозможно позволить, чтобы это продолжалось.

– Каждый человек, – отвечал мистер Пексниф, – имеет право, несомненное право (которого я, например, ни за что на свете не берусь оспаривать) руководиться в своих поступках собственными симпатиями и антипатиями, – если, разумеется, в них нет ничего противного нравственности и религии. Возможно, я и сам чувствую, что мистер Чезлвит не относится ко мне, например, – предположим, что ко мне, – с той христианской любовью, какую нам следовало бы питать друг к другу; возможно, что я огорчен этим обстоятельством и скорблю о нем; однако я остерегусь сделать из этого вывод, будто холодность мистера Чезлвита к своим близким вообще лишена всяких оснований. Боже сохрани! Кроме того, мистер Тигг, – продолжал Пексниф еще более веско и внушительно, – как же можно воспрепятствовать мистеру Чезлвиту оказывать кое-кому то весьма странное и удивительное доверие, о котором вы говорите и существование которого я не могу отрицать, а могу только оплакивать в интересах самого мистера Чезлвита? Подумайте. любезный сэр, – заключил мистер Пексниф, взирая на него с грустью, – как же можно говорить так опрометчиво?

– Я с вами согласен, – отвечал Тигг, – вопрос действительно трудный.

– Без сомнения, трудный вопрос, – отвечал мистер Пексниф. Произнося эти слова, он несколько отодвинулся в сторону, как будто вспомнив вдруг о моральной пропасти, лежащей между ним и человеком, к которому он адресовался. – Без сомнения, трудный вопрос. И я отнюдь не уверен, что это такой вопрос, который имеет право обсуждать каждый. Всего хорошего!

– Вам, я думаю, неизвестно, что супруги Спотлтоу уже здесь? – сказал мистер Тигг.

– Что вы говорите, сэр? Какие Спотлтоу? – спросил мистер Пексниф, круто останавливаясь на полдороге к дверям.

– Мистер и миссис Спотлтоу, – возвестил эсквайр Чиви Слайм, в первый раз за все время заговорив громким голосом и очень недовольным тоном и переступая при этом с ноги на ногу. – Ведь Спотлтоу женился на моей двоюродной сестре, так? А миссис Спотлтоу – родная племянница Чезлвита, так? Была когда-то его любимицей. И вы еще спрашиваете, какие Спотлтоу.

– Нет, клянусь всем святым! – воскликнул мистер Пексниф, возводя глаза к небу. – Это ужасно! Корыстолюбие этих людей просто отвратительно!

– И не один только Спотлтоу, Тигг, – продолжал Слайм, глядя на мистера Тигга, но обращая свою речь к мистеру Пекснифу. – Энтони Чезлвит с сыном тоже что-то пронюхали и явились сюда нынче после обеда. Я видел их только что, когда стоял за дверью, и пяти минут не прошло.

– О маммона, маммона! – возопил мистер Пексниф, ударяя себя по лбу.

– Стало быть, – продолжал Слайм, не обращая внимания на то, что его перебили, – и брат, и еще один племянник тоже здесь, к вашему сведению.

– Вот в этом-то и все дело, сэр, – сказал мистер Тигг, – в этом-то и существо вопроса, к которому я собирался приступить, когда мой друг Слайм в двух словах изложил всю суть.

Мистер Пексниф, уж если ваш кузен (а наш дядюшка) появился так кстати, то надо принять какие-то меры, чтобы он опять не скрылся; и по возможности бороться с тем влиянием, которое на него оказывает эта самая интриганка и фаворитка. Все заинтересованные лица чувствуют это, сэр. Все родственники валом валят сюда, сэр. Настало такое время, когда всякая зависть, все личные интересы должны быть забыты, сэр, когда надо объединить наши силы против общего неприятеля. Вот разобьем неприятеля, тогда каждый и будет стоять сам за себя; каждая леди и каждый джентльмен, участвующие в игре, начнут запускать шары в ворота завещателя уже за свой собственный страх и риск, и никому в итоге это не принесет убытка. Подумайте хорошенько. Сейчас вы можете себя ничем не связывать. Нас вы застанете в «Семи Звездах и Полумесяце» во всякое время, мы всегда готовы принять любое подходящее предложение. Гм! Чив, дорогой мой, не сходите ли вы взглянуть, какая на дворе погода?

Мистер Слайм исчез, не теряя времени, и, как надо полагать, отправился пребывать в ожидании. Мистер Тигг, расставив ноги настолько широко, насколько это допускает самый сангвинический темперамент, кивнул мистеру Пекснифу и улыбнулся ему.

– Мы не должны, – сказал он, – относиться слишком строго к маленьким странностям нашего друга Слайма. Вы видели, как он шептал мне на ухо? Мистер Пексниф это видел.

– Вы слышали мой ответ, я думаю? Мистер Пексниф слышал.

– Пять шиллингов, а? – проникновенно заметил мистер Тигг. – Ах, какой это необыкновенный человек! И какая скромность!

Мистер Пексниф промолчал.

– Пять шиллингов! – в раздумье продолжал мистер Тигг. – И с уплатой ровно через неделю, вот что всего приятней. Вы это слышали?

Мистер Пексниф этого не слышал.

– Нет? Вы меня удивляете! – воскликнул Тигг. – Ведь это же и есть самое замечательное. Я не знаю случая, чтобы этот человек не сдержал своего слова. Вам, может быть, надо разменять деньги?

– Нет, – сказал мистер Пексниф, – благодарю вас. Не беспокойтесь.

– Ах, вот как, – возразил мистер Тигг. – А то, если нужно, я вам разменяю, – и он принялся что-то насвистывать; но не прошло и десяти секунд, как вдруг оборвал свист и, озабоченно взглянув на мистера Пекснифа, сказал:

– А может быть, вы не желаете одолжить Слайму пять шиллингов?

– Да, это не совсем желательно, – отвечал мистер Пексниф.

– Черт возьми! – воскликнул Тигг, решительно кивнув, как будто ему только сию минуту пришло в голову, что на это могут и не согласиться. – Очень возможно, что вы правы. Может быть, вы и мне не согласитесь одолжить пять шиллингов?

– Да, действительно, этого я тоже не могу, – сказал мистер Пексниф.

– Даже, может быть, и полукроны?

– Даже и полукроны.

– Ну, тогда мы дойдем, – продолжал мистер Тигг, – до смехотворно маленькой суммы, до полутора шиллингов. Ха-ха!

– И это тоже будет в равной мере нежелательно, – отвечал мистер Пексниф.

Выслушав этот ответ, мистер Тигг с чувством пожал мистеру Пекснифу обе руки, уверяя его весьма настойчиво, что он один из самых последовательных и замечательных людей, с какими ему, мистеру Тиггу, приходилось встречаться. Кроме того, он пояснил, что в характере его друга Слайма много таких черточек, которых он, как человек чести и строгих правил, отнюдь не одобряет, – но что он готов простить ему все эти мелкие недостатки, и даже гораздо больше, за то наслаждение, которое доставила ему сегодняшняя беседа с мистером Пекснифом; наслаждение неизмеримо более высокое и полноценное, чем то, какое мог бы

принести успех переговоров о небольшом займе в пользу его друга Слайма. А теперь, когда он все это высказал, он позволит себе почтительно пожелать мистеру Пекснифу доброго вечера, Закончил мистер Тигг. И с этими словами он ретировался, нимало не смущаясь своей неудачей, так что всякий мог бы позавидовать его самообладанию.

В тот вечер размышления мистера Пекснифа в общей зале «Дракона», а несколько позже и у себя дома, были весьма серьезного и важного характера, тем более что сведения насчет прибытия остальных родственников, полученные им от гг. Тигга и Слайма, подтвердились полностью по наведении справок. Ибо супруги Спотлтоу действительно прибыли прямо в «Дракон», где расположились на постой и немедленно выставили караул и где их появление произвело такую сенсацию, что миссис Льюпин, которая проникла в их намерения, не успели они и получаса пробить у нее в доме, лично отправилась с докладом прямо к мистеру Пекснифу, по возможности стараясь сохранить тайну; правда, эта излишняя предосторожность и заставила ее упустить мистера Пекснифа, который входил в «Дракон» с улицы как раз в то время, когда миссис Льюпин выходила со двора. Кроме того, прибыл мистер Энтони Чезлвит со своим сыном Джонасом и устроился весьма экономно в «Семи Звездах и Полумесяце», самой захудалой здешней пивной; а со следующим дилижансом явилось на место действия такое множество любящих родственников (которые во все время пути ссорились друг с другом и внутри кареты и снаружи, доводя кучера до полного умопомрачения), что менее чем через двадцать четыре часа немногочисленные трактирные номера были нарасхват и цена на частные помещения, — а их набралось во всей деревне целых четыре кровати и диван, — поднялась на сто процентов.

Словом, дошло до того, что чуть ли не все семейство Чезлвитов расположилось под стенами «Синего Дракона» и форменным образом обложило его, так что Мартин Чезлвит находился как бы в осаде. Однако он стойко сопротивлялся, отказываясь принимать какие бы то ни было письма, учтивые предложения и пакеты и упрямо отклоняя всякие переговоры с кем бы то ни было, — словом, не подавал решительно никаких надежд на капитуляцию. Тем временем вооруженные отряды родственников беспрестанно назначали друг другу встречи в разных местах поблизости; но так как никто не запомнит случая, чтобы хоть одна ветвь фамильного древа Чезлвитов была когда-нибудь согласна с другой, то тут пошла в ход такая грызня, закипели такие свары и стычки, и в прямом и в переносном смысле слова, посыпались такие колкости и любезности, началось такое задирание носов и фыркание, такое окончательное погребение всяких добрых чувств и выкапывание всяких старых счетов, какого никогда не знала эта тихая деревушка, с самых первых дней своего цивилизованного существования.

Наконец, придя в совершенное отчаяние и потеряв всякую надежду, некоторые из воителей, обращаясь друг к другу, стали пользоваться только самой умеренной бранью, и почти все держались в границах благопристойности, адресуясь к мистеру Пекснифу, из уважения к его незапятнанной репутации и влиятельному положению. Таким образом, упрямство Мартина Чезлвита мало-помалу заставило их найти общий язык и напоследок согласиться — если можно употребить такое слово, говоря о Чезлвитах, — что необходимо созвать генеральный совет и собраться всем в доме мистера Пекснифа такого-то числа ровно в полдень; на какой совет и были немедленно и торжественно приглашены все члены семейства, оказавшиеся поблизости и доступные зову.

Если у мистера Пекснифа был когда-нибудь апостольский лик, то именно в этот достопамятный день. Если его безмятежная улыбка когда-либо провозглашала без слов:

«Я вестник мира!», то именно так надо было ее понимать теперь. Если когда-либо человек сочетал в себе всю кротость ягненка с немалой долей голубиных свойств, в то же время несколько не напоминая крокодила и ни капельки не походя на змею, то этот человек был мистер Пексниф. Ах, а обе мисс Пексниф! О, безоблачное выражение лица мисс Черри, как

бы говорившее: «Я знаю, что вся моя родня оскорбляла меня так, что о прощении не может быть и речи, но я все-таки прощаю им, потому что это мой долг!» Ах, а простодушная веселость мисс Мерри, такая очаровательная, невинная и младенческая, что если бы она пошла гулять без провожатых и дело было бы пораньше осенью, то малиновка, даже не спросясь, наверное, прикрыла бы ее листьями, приняв ее за невинное дитя, которое забрело в лес, надеясь, в простоте сердечной, набрать там ежевики. Какими словами можно изобразить семейство Пексниф в этот трудный час? Ах, никакими: ибо слова возвращаются порой в дурном обществе, а Пекснифы – это сплошная добродетель.

А когда начали собираться гости! Вот это была картина. Когда мистер Пексниф, поднявшись со своего места во главе стола и взяв обеих дочерей под руки, встречал гостей в парадной гостиной и приглашал садиться, глаза его так увлажнились и физиономия так вспотела от избытка чувств, что весь он, можно сказать, размок до совершенной мягкости! А гости! Завистливые, жестокосердые, недоверчивые гости, которые замкнулись в себе, никого не слушали, ничему не желали верить и ни за что не позволили бы этим Пекснифам смягчить и усыпить их подозрительность, словно все они были из породы ежей и дикобразов!

Во-первых, тут был мистер Спотлтоу, до такой степени плешивый и с такими густыми бакенбардами, что казалось, будто ему удалось каким-то чудодейственным средством удерживать свои волосы в самый миг выпадения и навсегда прикрепить их к щекам. Тут была миссис Спотлтоу, худошавая не по возрасту и весьма поэтически настроенная дама, имевшая привычку говорить своим близким приятельницам, что эти самые бакенбарды были «путеводной звездой ее жизни»; впрочем, теперь, от сильнейшей любви к дядюшке Чезлвиту и от испытанного ею потрясения, после того как ее заподозрили в посягательстве на дядюшкино наследство, она не могла делать ничего другого, как только плакать или, по меньшей мере, стенать. Тут был и Энтони Чезлвит со своим сыном Джонасом; старик так хитрил и изворачивался всю свою жизнь, что лицо его стало острым, как бритва, и без труда прокладывало ему дорогу в переполненной народом гостиной, когда он протискивался бочком за самыми дальними стульями; а сын так хороню воспользовался наставлениями и примером отца, что выглядел года на три старше его, когда оба они стояли рядом и потихоньку перешептывались, моргая красными глазами. Тут была и вдова покойного брата мистера Мартина Чезлвита, удивительно неприятная женщина с унылой физиономией, костлявой фигурой и мужским голосом, которая в силу всех этих качеств была, что называется, решительной особой: дай ей только волю, она, утвердилась бы в правах на это звание и проявила бы себя в моральном смысле истинным Самсоном¹⁷, засадив своего деверя в сумасшедший дом, пока он не доказал бы, что находится в здравом уме и твердой памяти, полюбив ее от всей души. Рядом с ней сидели ее незамужние дочери, числом три, весьма церемонные и мужеподобные особы, до того заморившие себя узкими корсетами, что характеры, как и талии, сделались у них совершенно осиные, а тугая шнуровка сказывалась даже на кончиках носов. Тут был и молодой человек, внучатный племянник мистера Мартина Чезлвита, очень смуглый и очень волосатый, по-видимому родившийся на свет только для того, чтобы в зеркале отражалось нечто расплывчатое. Так сказать первый набросок (физиономии, не доведенный до конца. Тут была и незамужняя кузина, не замечательная ничем, кроме того, что была глуховата, жила совсем одна и вечно страдала зубной болью. Тут был и кузен Джордж Чезлвит, веселый холостяк, с претензиями на молодость, которая давно миновала, склонный к тучности и любивший покушать, до такой даже степени, что глаза у него были постоянно выпучены, словно от изумления, и настолько предрасположенный к угрям, что крапинки на шейном платке, горошки на жилете и даже блестящие брелоки, казалось, проступили на нем, как сыпь, а не появились на свет безболезненно. И наконец – тут был мистер Чиви Слайм со

¹⁷ ...истинным Самсоном... – Самсон – легендарный библейский герой, наделенный невиданной силой.

своим приятелем Тиггом. Не мешает заметить, что хотя каждый из присутствующих терпеть не мог всех остальных за то, что он или она тоже принадлежали к семейству Чезлвитов, все они дружно ненавидели мистера Тигга только за то, что он был посторонний.

Таков был милый семейный кружок, собравшийся в парадной гостиной мистера Пекснифа с приятным намерением отделать на все корки любого, будь то мистер Пексниф или кто другой, если б он вздумал обратиться к ним с речью на ту или другую – неважно, какую именно – тему.

– Это хорошо, – сказал мистер Пексниф, поднимаясь с места и обводя присутствующих взглядом, – я рад. Мои додери тоже рады. Мы благодарим вас за то, что вы собрались сюда. Мы признательны вам от всего сердца. Вы нам оказали большую честь, и поверьте, – невозможно себе представить, как он улыбнулся тут, – мы не скоро об этом забудем.

– Мне очень жаль прерывать вас, Пексниф, – заметил мистер Споттлоу, весьма грозно топорща бакенбарды, – но вы слишком уж много на себя берете, сэр. Что это вы вообразили, кому это надо оказывать вам честь, сэр?

Все присутствующие отозвались на этот вопрос одобрительным ропотом.

– Если вы собираетесь продолжать в том же духе, как начали, сэр, – с большим жаром продолжал мистер Споттлоу, сильно стуча по столу костяшками пальцев, – то, чем скорее вы это оставите и наше собрание разойдется, тем будет лучше. Мне небезызвестно ваше возмутительное желание считаться главой семьи, но я вам скажу, сэр...

Ах, вот как! Действительно! Он скажет! Он! Еще чего! Он, что ли, глава семьи! Все, начиная с решительной особы, в ту же минуту набросились на мистера Споттлоу, который, после тщетной попытки добиться общего молчания и высказаться, был вынужден снова сесть на место; сложив руки на груди и сердито поматывая головой, он мимикой дал понять своей супруге, что этот каналья Пексниф может продолжать свою речь, – он все равно сию минуту опять вмешается в разговор и тогда уж совершенно доконает мерзавца.

– Я ничуть не жалею, – сказал мистер Пексниф, продолжая свою речь, – я, право, ничуть не жалею, что произошел этот маленький инцидент. Полезно чувствовать, что все мы встречаемся здесь без маски. Полезно знать, что мы ничего не скрываем друг от друга, но каждый выступает свободно в своем собственном обличье.

Тут старшая дочь решительной особы, слегка привстав со стула и вся дрожа с головы до ног, скорее от сильного волнения, чем от робости, выразила общую надежду на то, что некоторые люди наконец-то выступят в своем собственном обличье, по крайней мере это была бы для них совершенная новость; но когда им (то есть некоторым людям) вздумается позлословить о родственниках, то пусть хорошенько смотрят, кто тут присутствует, – а иначе до этих самых родственников их слова могут дойти стороной и совсем некстати; что же касается красных носов (заметила она), то еще неизвестно, такой ли это позор иметь красный нос, поскольку люди не сами делают себе носы и не ответственны за выбор их цвета; хотя и на этот счет она еще очень сомневается, – правда ли, будто у одних носы краснее, чем у других; может, у других они еще красней. Так как это заявление сопровождалось визгливым хихиканьем двух сестер говорившей, то мисс Чарити Пексниф осведомилась весьма учтиво, уж не ей ли предназначены все эти вульгарные колкости, и, не получив никакого удовлетворительного ответа, кроме того, который содержится в пословице:

«На воре и шапка горит», немедленно перешла на личности, а сестрица Мерси, вторая ее словам, залилась веселым смехом, гораздо более веселым, чем естественным. И так как совершенно невозможно, чтобы в каких бы то ни было разногласиях между двумя дамами не приняли деятельного участия все остальные дамы, находящиеся налицо, то и решительная особа, и обе ее дочери, и миссис Споттлоу, и глухая кузина (которой полное незнакомство с сутью дела нисколько не помешало участвовать в диспуте) тут же ввязались в ссору.

Поскольку обе мисс Пексниф оказались достойными противницами трех девиц Чезлвит и у всех этих пяти молодых особ, выражаясь современным языком, накопилось очень много паров, то пререкания затянулись бы надолго, если бы не высокая доблесть и отвага решительной особы, которая, по праву пользуясь репутацией сущей язвы, так обработала и измолотила миссис Спотлтоу, осыпав ее колкостями, что не прошло и двух минут с начала состязания, как бедняжка ударилась в слезы. Она проливала их в таком изобилии и так разволновала и разогорчила этим мистера Спотлтоу, что сей джентльмен сначала поднес крепко стиснутый кулак к самому носу мистера Пекснифа, словно от созерцания такого занимательного явления природы тот мог получить какое-нибудь удовольствие или пользу, затем предложил (по мотивам, неизвестным собранию) съездить по физиономии мистера Джорджа Чезлвита за ничтожную мзду в полшиллинга и, наконец, подхватил жену под руку и в негодовании удалился. Эта выходка отвлекла в сторону внимание сражающихся, чем и положила конец ссоре, которая возобновлялась еще несколько раз лишь в виде коротких и постепенно затухающих вспышек и угасла, наконец, при всеобщем молчании.

Именно в эту минуту мистер Пексниф и поднялся во второй раз со стула. Именно в эту минуту обе мисс Пексниф приняли такой вид, как будто бы трех мисс Чезлвит вовсе не было, – не то что здесь в комнате, а вообще на свете, – а три мисс Чезлвит равным образом перестали замечать существование обеих мисс Пексниф.

– Следует пожалеть, – сказал мистер Пексниф, вспоминая кулак мистера Спотлтоу и мысленно прощая обидчику, – что наш друг так поспешил удалиться, хотя даже и тут мы можем себя поздравить, поскольку это дает нам лишнюю уверенность, что он полагается на нас во всем, что бы мы ни сказали и ни сделали в его отсутствие. А ведь это весьма утешительно, не правда ли?

– Пексниф, – произнес Энтони, который с самого начала так и ел глазами все общество, – не будьте лицемером.

– Чем, уважаемый сэръ? – переспросил мистер Пексниф.

– Лицемером.

– Чарити, душа моя, – сказал мистер Пексниф, – не забудь напомнить мне нынче, когда я буду брать свечу на ночь, чтобы я особенно усердно помолился за мистера Энтони Чезлвита, который был несправедлив ко мне.

Эти слова были сказаны самым кротким голосом и в сторону, как будто они предназначались только для ушей его старшей дочери. Затем он продолжал безмятежным топом человека, который черпает бодрость в сознании, что совесть у него чиста:

– Так как все наши мысли сосредоточены на нашем любезном, но недобром родственнике, и так как он, можно сказать, недоступен для нас, то мы собрались сегодня поистине как бы на похороны, с той лишь разницей, к счастью, что в доме нет покойника.

Решительная особа отнюдь не была уверена, что это уж такое счастье. Напротив.

– Не смею спорить, сударыня! – отвечал мистер Пексниф. – Но как бы то ни было, мы все собрались; а собравшись, нам необходимо подумать: возможно ли какими-нибудь дозволительными средствами...

– Ну, вы не хуже моего знаете, – прервала его решительная особа, – что все средства дозволительны в таких случаях, не правда ли?

– Прекрасно, сударыня, прекрасно, – возможно ли какими бы то ни было средствами – я повторяю: какими бы то ни было средствами – открыть глаза нашему высокочтимому родственнику на заблуждение, в котором он находится? Возможно ли ознакомить его какими бы то ни было средствами с истинным характером и целями молодой особы, чьи странные, весьма странные отношения к нему, – тут мистер Пексниф понизил голос до внушительного шепота, – поистине бросают тень позора и стыда на всю нашу семью и которая, как мы

знаем, – тут он снова повысил голос, – иначе для чего же она стала его спутницей? – таит в душе самые низкие замыслы, рассчитывая на его слабость и на его имущество.

По этому пункту все родственники, не соглашавшиеся ни в чем другом, выразили единодушное согласие. Боже правый, можно ли допустить, чтобы она покушалась на имущество дядюшки! Решительная особа высказалась за то, чтобы отравить ее; все три дочери за то, чтобы посадить ее в исправительный дом на хлеб и на воду; кузина с зубной болью предлагала каторгу; обе мисс Пексниф советовали розги. И только один мистер Тигг, который, не смущаясь своей крайней обтрепанностью, чувствовал себя здесь в некотором роде на положении дамского кавалера, вследствие украшения на верхней губе и шнуров на венгерке, усомнился в дозволительности всех этих мер; но и он только подмигнул всем трем девицам Чезлвит с нескрываемым восхищением, в котором проскальзывала чуть заметная ирония, словно говоря:

«Вы что-то уж слишком к ней придираетесь, милые мои барышни! Честное слово, слишком!»

– Так вот, – продолжал мистер Пексниф, скрестив оба указательных пальца особенным манером, одновременно и умиротворяющим и убедительным: – Я не хочу, с одной стороны, заходить слишком далеко, утверждая, будто она заслуживает, чтобы к ней применили все те меры, которые тут были предложены с такой настойчивостью и игривостью (одна из его витиеватых фраз); с другой стороны, я ни в коем случае не намерен подвергать сомнению наличие у меня обыкновенного здравого смысла, утверждая, будто она их не заслужила. Я хотел бы только заметить, что, по-моему, могут быть приняты некоторые практические меры, для того чтобы заставить нашего уважаемого... позволено ли мне будет сказать – высокочтимого родственника?..

– Нет! – зычным голосом прервала его решительная особа.

– В таком случае я этого не скажу, – заключил мистер Пексниф. – Вы совершенно правы, сударыня, – и я весьма ценю и благодарен вам за ваше тонкое возражение, – для того чтобы склонить нашего уважаемого родственника к тому, чтобы он прислушался к голосу природы... а не...

– Ну что же вы, папа! – крикнула Мерси.

– Гм, сказать по правде, душа моя, – произнес мистер Пексниф, посылая улыбку всем собравшимся родичам, – я никак не могу вспомнить это слово. У меня совершенно выскользнуло из памяти, как назывались легендарные животные (языческие, к сожалению), которые пели в воде.

Мистер Джордж Чезлвит подсказал:

– Лебеди.

– Нет, – сказал мистер Пексниф, – не лебеди, хотя что-то очень похожее на лебедей. Благодарю вас.

Племянник с неопределенной физиономией, который открыл рот по этому случаю в первый и последний раз, предположил:

– Не устрицы ли?

– Нет, – отвечал мистер Пексниф со свойственной ему учтивостью. – и не устрицы. Но во всяком случае что-то весьма близкое к устрицам. Прекрасная мысль, благодарю вас, уважаемый сэр, весьма и весьма. Впрочем, погодите! Сирены!.. Боже мой! Разумеется, сирены. Я хочу сказать, что, как мне кажется, можно было бы принять меры к тому, чтобы наш уважаемый родственник внял голосу природы, не поддаваясь на коварные обольщения сирен. Так вот, мы не должны упускать из виду, что у нашего уважаемого друга имеется внук, к которому он был до последнего времени весьма привязан и которого я очень желал бы видеть сегодня здесь, ибо питаю к нему глубокую и искреннюю симпатию. Достойный юноша,

весьма достойный юноша! И вот, судите сами, не представляется ли здесь удобный случай устранить недоверие мистера Чезлвита по отношению к нам и доказать свое бескорыстие?..

– Если мистер Джордж Чезлвит собирается что-то сказать мне, – сурово прервала его решительная особа, – то пусть и скажет по-человечески, а не смотрит на меня и на моих дочерей так, будто съесть нас хочет.

– Ну, насчет того, чтобы смотреть, миссис Нэд, – сердито возразил мистер Джордж. – то я слыхивал, будто даже кошке не возбраняется глядеть на короля; поэтому я надеюсь, что имею некоторое право, будучи от рождения членом этой семьи, глядеть на особу, которая породнилась с нами только в браке. А насчет того, чтобы нас съесть, то смею вас уверить, как бы вы ни были ослеплены завистью и несбывшимися надеждами, что я не людоед, сударыня!

– Ну, это еще неизвестно! – отвечала решительная особа.

– Но, если б даже я был людоедом, – сказал мистер Джордж Чезлвит, еще пуще распалясь от этого замечания, – то, наверно, сообразил бы, что дама, которая пережила трех мужей и так легко перенесла их утрату, должна отличаться необыкновенной жесткостью.

Решительная особа немедленно поднялась с места.

– А еще я прибавлю, – продолжал мистер Джордж, Энергично кивая головой на каждом втором слоге, – не называя имен и, значит, не обижая никого, кроме тех, у кого совесть нечиста, что было бы гораздо приличнее и благопристойнее, если бы известные особы, которые всякими правдами и неправдами втерлись в нашу семью и которые еще до свадьбы кругом обошли некоторых ее членов, сыграв на их слабых струнах, а потом свели их в могилу тем, что пилили и пилили без конца, так что они даже рады были умереть, – чтобы эти особы остереглись разыгрывать коршунов по отношению к другим членам семьи, которые пока еще живы. По-моему, было бы во всех отношениях лучше, если бы эти особы сидели дома, довольствуясь тем, что у них уже имеется (на их счастье), вместо того чтобы пристраиваться к чужому семейному пирогу, запах которого они чуют, находясь даже за пятьдесят миль.

– Так я и знала! – воскликнула решительная особа; обеда всех взглядом и презрительно улыбнувшись, она направилась к дверям в сопровождении всех трех дочерей. – Да, так я и знала и с первой же минуты была совершенно к этому готова. Чего же еще можно было ожидать в такой обстановке!

– Пожалуйста, сударыня, не глядите на меня взглядом офицера на половинном жалованье, – вмешалась мисс Чарити, – я этого не потерплю.

Это был язвительный намек на пенсию, которую получала решительная особа во время своего второго вдовства, до вступления в третий брак. Намек не в бровь, а в глаз.

– Я утратила всякие права на благодарность нации, когда вошла в вашу семью, дерзкая вы девчонка, – отвечала миссис Нэд. – Вот теперь я действительно понимаю, чего тогда не понимала: что так мне и надо и что, унизившись до такой степени, я потеряла все права на Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Ну, мои милые, если вы совсем готовы и достаточно наслушались этих двух воспитанных барышень, я думаю, нам пора домой. Мистер Пексниф, вот уж действительно одолжили, право! Мы думали здесь немножко развлечься, но вы превзошли наши самые смелые ожидания, до того вы всех насмешили. Благодарю вас. Всего хорошего!

Этими прощальными словами решительная особа заставила все семейство Пексниф замолчать, после чего она торжественно выплыла из гостиной, а затем и из дома, в сопровождении дочерей, которые все как одна вздернули носы и презрительно захихикали. Проходя по улице мимо окон гостиной, они все три в совершенстве изобразили беспредельный восторг и, нанеся этот последний удар, довершивший поражение всех в доме, окончательно скрылись из виду.

Но прежде чем мистер Пексниф или кто-либо из оставшихся гостей успел сказать хоть слово, мимо окон мелькнула еще одна фигура, бежавшая с большой поспешностью в проти-

воположном направлении; и немедленно вслед за этим в гостиную ворвался мистер Спотлтоу. Сравнительно с его теперешним разгоряченным состоянием, он уходил отсюда сущей ледяной статуей или снежным болваном. Его лысина источала столько елея на бакенбарды, что они были сплошь умащены и даже слиплись; все лицо горело огнем, руки и ноги дрожали; он пыхтел и задыхался.

– Уважаемый сэр! – воскликнул мистер Пексниф.

– О да! – возразил тот. – О да, конечно! Уф-ф, разумеется! Уф-ф, вот именно! Вы слышали его? Вы слышали его? Вы слышали?

– Что случилось? – отозвалось несколько голосов.

– Уф-ф, ничего! – воскликнул Спотлтоу, с трудом переводя дыхание. – Ничего решительно! Ровно ничего! Спросите вот его! Он вам скажет!

– Я не понимаю нашего друга, – сказал мистер Пексниф, оглядываясь по сторонам в совершенном изумлении. – Уверю вас, его слова для меня решительно непостижимы.

– Непостижимы, сэр! – воскликнул тот. – Недостижимы! Уж не хотите ли вы сказать, сэр, что вам ничего не известно? Что не вы заманили нас сюда и не вы составили заговор против нас? Неужели вы посмеете сказать, будто не знали, что мистер Чезлвит уезжает, сэр? Будто вы не знаете, что он уже уехал, сэр?

– Уехал! – раздался общий крик.

– Уехал! – отозвался мистер Спотлтоу. – Уехал, пока мы тут сидели. Уехал! И никто не знает, куда он уехал. Уф-ф, конечно нет! И никто не знал, что он уезжает. Уф-ф, разумеется нет! Хозяйка до последней минуты думала, будто они просто поехали прокатиться, она так-таки ничего не подозревала. Уф-ф, вот именно нет! Она ведь не раба вот этого, как его! Уф-ф, разумеется нет!

Присоединив к этим возгласам нечто вроде иронического мычания и еще раз обведя взором притихших гостей, раздраженный джентльмен снова умчался с той же невероятной прытью, и больше его не видели.

Напрасно мистер Пексниф уверял своих родственников, что это неожиданное и несвоевременное бегство было для него таким же ударом и сюрпризом, как и для прочих членов семейства. Из всех нападок и обвинений, когда-либо достававшихся на долю ни в чем не повинного человека, ни одно не могло сравниться по силе и убежденности с теми, какие пришлось выслушать мистеру Пекснифу от каждого из родственников при расставании.

Мистер Тигг в роли оскорбленной добродетели являл собой поистине потрясающее зрелище, а глухая кузина, раздражение которой усугублялось тем, что хоть она и видела все происходящее, но понимала только, что разразилась катастрофа, соскребла с башмаков грязь о скребок, а потом наследила по всему крыльцу – в знак того, что отрясает прах от своих ног, перед тем как покинуть эту обитель лицемерия и коварства.

Короче говоря, мистеру Пекснифу оставалось утешаться только одним: а именно мыслью, что все эти родственники и друзья и раньше ненавидели его точно так же и что он, со своей стороны, подарил им не больше любви, чем мог отдать, не жалея, из того обширного запаса, которым располагал по этой части. Такой взгляд на собственные дела доставил ему большое утешение; и это обстоятельство не мешает здесь отметить, поскольку оно показывает, как легко утешиться добродетельному человеку, даже потерпев неудачу и разочарование.

Глава V, содержащая полный отчет о водворении нового ученика в доме семейства Пенсии ф. С описанием всех, торжеств, состоявшихся по этому случаю, и великой радости мистера Пинча

Лучший из архитекторов и землемеров держал лошадь, в которой его враги, уже не раз упоминавшиеся на этих страницах, усматривали фантастическое сходство с хозяином. Не по внешности, ибо это была костлявая, заезженная кляча, получавшая гораздо меньше корма, чем мистер Пексниф, – но по нравственным качествам; ибо, как говорили, она много обещала и ровно ничего не делала. Она, так сказать, все собиралась пуститься вскачь, и никак не могла собраться. Бывало, еле-еле тащась по дороге, она вдруг начинала так высоко вскидывать ногами и проявлять такую дьявольскую прыть, что прямо не верилось, как это она делает меньше четырнадцати миль в час; и этой иллюзии было тем труднее противиться, что сама кляча вполне удовлетворялась собственной скоростью, и даже очная ставка с самыми ретивыми скакунами ее не смущала. Это была такого рода скотина, которая внушала живейшую надежду людям, мало с ней знакомым, и приводила в отчаяние всех, кто ее хорошо знал. В каком отношении, при означенных чертах характера, она могла бы, по справедливости, уподобиться своему хозяину, было ведомо одним только клеветникам этого добродетельного человека. Однако в том и заключается горькая истина, а также печальный пример людского недоброжелательства, что клеветники все же сравнивали лошадь с хозяином.

На этой-то лошади и на крытом экипаже, в который ее обычно впрягали, – какое бы название ему ни присвоить, он больше смахивал на пузатую двуколку, – и сосредоточились все помыслы и надежды мистера Пинча в одно ясное, морозное утро, ибо в этом щегольском экипаже он собирался ехать в Солсбери, с тем чтобы встретить там нового ученика и торжественно препроводить его в дом мистера Пекснифа.

Благословенно будь твое простое сердце, Томас Пинч! С какой гордостью ты застегиваешь подбитое ветром пальто, которое у тебя столько лет, по грустному недоразумению, называется «теплым»; как твердо ты веруешь, когда с неизменяющей тебе веселостью заклинаешь конюха Сэма «немножко попридержать лошадь», что это четвероногое сорвется с места и понесется вскачь, если его отпустить! Кто мог бы воздержаться от улыбки – сочувственной, Томас Пинч, а не обидной, – ибо, видит бог, ты и без того достаточно обижен судьбой, – наблюдая, с каким оживлением, радуясь предстоящему празднику, ты ставишь, едва отхлебнув, на кухонный подоконник белую кружку (приготовленную тобой еще с вечера, чтобы не задерживаться с завтраком) и кладешь на сиденье рядом с собой черствую корку, намереваясь съесть ее по дороге, после того как твое радостное волнение немного утихнет! Кто не воскликнул бы, глядя, – как ты выезжаешь из ворот, весь сияя, и с благодарностью и любовью кланяешься ночному колпаку Пекснифа, смутно виднеющемуся в окне его спальни: «Помоги тебе боже, Том, и пошли тебе тихий приют, где бы ты мог поселиться и жить мирно и где никакое горе не коснется тебя!»

Нет лучшей поры для прогулки по свежему воздуху пешком, верхом или в экипаже, чем ясное, морозное утро, когда надежда быстро гонит по жилам горячую кровь и щекошет все тело от головы до пяток! Как весело начинался бодрящий зимний день, который мог бы вогнать в краску томительное лето (особенно, когда оно прошло) и пристыдить весну за то, что она никогда не бывает по-настоящему холодна. Овечьи колокольчики позванивали так бодро в морозном воздухе, словно могли чувствовать на себе его живительное влияние;

деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль, – Тому он казался ничуть не хуже бриллиантов. Из деревенских труб струей высоко-высоко поднимался дым, – словно земля, блистая белизной, уже не терпела ничего грязного и стремилась освободиться от темного дыма. Ледяная корка на ручье, еще недавно подернутом рябью, была так прозрачна и тонка, будто живая струя остановилась по собственной воле, – так казалось Тому в его радости, – чтобы полюбоваться чудесным утром. А для того чтобы солнце не нарушило этого очарования слишком быстро, между ним и землей стлался тонкий туман, похожий на тот, что застилает луну летними вечерами, – на взгляд Тома, это был тот же самый туман, – и, казалось, молил солнце сжалиться и не гнать его прочь.

Том Пинч ехал не быстро, зато с таким чувством, будто летит во весь опор, – что было совершенно одно и то же: и все, что он видел по дороге, как бы сговорилось о том, чтобы развеселить его еще больше. Например, как только он завидел издали шлагбаум – очень еще издали! – жена сторожа, которая в это время пропускала какую-то подводку, бросилась опростелить обратно в сторожку сказать мужу, что едет мистер Пинч! И в самом деле, когда Том подъехал ближе, из домика гурьбой высыпали дети сторожа, крича тонкими голосами: «Мистер Пинч!» – к великой радости Тома. Сторож, неприветливый, в общем, человек, которого все порядком побаивались, вышел сам, чтобы получить с него дорожный сбор¹⁸, и угрюмо пожелал ему доброго утра; и все это вместе взятое, а также вид всего семейства, за трапезой перед огнем за круглым столиком, придавало черствой корке Тома Пинча совсем особенный вкус, как будто ее отрезали от волшебной ковриги.

Но этого еще мало. Не одни только женатые люди и дети здоровались с мистером Пинчем по дороге. Нет, нет. Блестящие глаза и белоснежные шейки тоже подбегали к окнам верхних этажей, заслышав стук его экипажа, и отвечали на его поклон не скупясь, полной мерой. Все они были веселы. Все улыбались. А самые шаловливые даже посылали Тому воздушные поцелуи, когда он оборачивался. Потому что кто же принимал всерьез мистера Пинча? Он, бедняжка, и мухи не обидит.

А утро между тем так прояснилось, и все кругом глядело так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там такое творится», – Том нимало не сомневался, что оно так и сказала, – взошло над землей во всем своем лучезарном величии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь; и когда он рассеялся, горы, холмы и отдаленные пастбища, полные степенных овец и крикливых ворон, развернулись ярко, словно новые, нарочно созданные для этого случая. Стремясь приветствовать их появление, ручей уже не стоял неподвижно, а заторопился дальше, неся эту новость на мельницу, за три мили отсюда.

Мистер Пинч трясся по дороге, полный приятных мыслей и в самом радужном настроении, как вдруг увидел на тропинке впереди себя пешехода, который быстрой и легкой походкой шагал в том же направлении что и мистер Пинч, распевая на ходу, пожалуй, чересчур громким, но зато не лишенным музыкальности голосом. Это был малый лет двадцати пяти или шести, в куртке нараспашку, надетой так свободно и небрежно, что длинные концы красного шарфа то развевались по ветру у него за спиной, то перекидывались на грудь, а пучок красных зимних ягод в петлице его бархатной куртки был виден мистеру Пинчу не хуже, чем если бы эта куртка была надета задом наперед. Он пел не умолкая и с таким увлечением, что не слышал стука колес до тех пор, пока двуколка не поравнялась с ним; только тогда он оглянулся, и мистер Пинч увидел его чудаковатое лицо с очень веселыми голубыми глазами.

¹⁸ *Дорожный сбор* – сбор за право проезда по дорогам – один из пережитков феодализма, сохранявшийся в английском законодательстве до середины XIX века.

– Как, это вы, Марк? – останавливаясь, сказал мистер Пинч. – Вот уж не думал увидеть вас здесь! Ну-ну, удивительное дело!

Веселость Марка сразу пошла на убыль, и, дотронувшись до шляпы, он ответил, что направляется в Солсбери.

– Да каким же вы франтом! – сказал мистер Пинч, разглядывая его с большим удовольствием. – Право, не думал, что вы так любите щеголять, Марк!

– Спасибо, мистер Пинч! Это за мною водится, верно. Но я, знаете ли, не виноват. А насчет франтовства, сэр, так вот в этом-то, понимаете, и все дело. – И тут он стал особенно мрачен.

– В чем же? – спросил мистер Пинч.

– В этом-то и вся заковыка. Легко быть веселым и приветливым, когда хорошо одет. Чем же тут хвалиться? Вот если бы я был весь в лохмотьях, да веселый, – тогда это кое-что бы значило, мистер Пинч.

– Так вы для того и пели сейчас, чтобы не расстраиваться из-за хорошей одежды, да, Марк? – спросил Пинч.

– Вы всегда скажете, сударь, будто в книжку поглядели, – весело ухмыльнулся Марк. – Как раз угадали.

– Ну, Марк! – воскликнул мистер Пинч. – Такого чудака, как вы, я, право, первый раз в жизни вижу. Мне всегда так казалось, а теперь я окончательно убедился. Я тоже еду в Солсбери. Хотите, подвезу. Буду очень рад вашему обществу.

Молодой человек поблагодарил его и тут же принял предложение; садясь в экипаж, он пристроился на самом краешке сиденья, совсем на весу, давая этим понять, что он тут только по любезности мистера Пинча. Дорогой они продолжали разговаривать.

– А я, видя вас таким франтом, – сказал мистер Пинч, – чуть было не решил, что вы собираетесь жениться, Марк.

– Да что ж, сэр, я и сам об этом думал, – отвечал Марк. – Пожалуй, не так-то легко быть веселым, когда есть жена, да еще дети хворают корью, а она к тому же сварливая баба. Только боюсь и пробовать. Не знаю, что из этого получится.

– Может быть, вам никто особенно не нравится? – спросил Пинч.

– Особенно, пожалуй, что и нет, сударь.

– А знаете ли, Марк, с вашими взглядами вам именно следовало бы жениться на такой особе, чтобы не нравилась и была неприятного характера.

– Оно и следовало бы, сэр, только это уж значит хватить через край. Верно?

– Пожалуй, что верно, – сказал мистер Пинч. И оба они весело рассмеялись.

– Господь с вами, сэр, – сказал Марк. – Плохо же вы меня знаете, как я погляжу. Не думаю, чтобы нашелся, кроме меня, человек, который при случае мог бы показать, чего он стоит, в таких условиях, когда всякий другой был бы просто несчастен. Только вот случая нет. Я так думаю, никто даже и не узнает, на что я способен, разве только подвернется что-нибудь из ряда вон выходящее. А ничего такого не предвидится. Я ухожу из «Дракона», сэр!

– Уходите из «Дракона»! – воскликнул мистер Пинч, глядя на него в величайшем изумлении. – Да что вы, Марк! Я просто опомниться не могу, так вы меня удивили!

– Да, сэр, – отвечал Марк, смотря прямо перед собой куда-то вдаль, как смотрят иной раз, глубоко задумавшись. – Что толку оставаться в «Драконе»? Для меня там вовсе не место. Когда я приехал из Лондона (я ведь родом из Кента) и поступил на эту должность, я думал, что в таком глухом углу скучища должна быть зверская, что другой такой дыры нигде в Англии не сыскать, а значит, и быть веселым здесь не очень легко; есть чем похвалиться. А какая же в «Драконе» скука, где там! Кегли, крикет, лапта, городки, хоровое пение, комические куплеты; зимой каждый божий вечер собирается у очага целая компания, – кто угодно будет веселым в «Драконе». Чем тут особенно хвалиться!

– Однако, если верить молве, Марк, – а я думаю, на этот раз ей можно верить, потому что и сам видел кое-что, – сказал мистер Пинч, – без вас там не было бы такого веселья; вы первый всему зачинщик и коновод.

– Может, это и так, сэр, – ответил Марк. – Только это все же не утешение.

– Да!.. – сказал мистер Пинч после короткого молчания, и его обыкновенно тихий голос прозвучал еще тише. – У меня все не идет из головы то, что вы сказали. Как же так? Что же теперь будет с миссис Льюпин?

Марк, глядя куда-то еще дальше и еще сосредоточеннее, ответил, что для нее, надо думать, это большой разницы не составит. Найдется сколько угодно бойких молодых парней, которые только рады будут занять его место. Он и сам знает таких не меньше десятка.

– Вполне возможно, – сказал мистер Пинч, – но я отнюдь не уверен, что миссис Льюпин им будет рада. А ведь я всегда думал, что вы с миссис Льюпин поженитесь, Марк, да и все так думали, насколько мне известно.

– Я ей ничего такого не говорил, – отвечал Марк, несколько смутившись, – что прямо походило бы на объяснение, и от нее ничего такого не слышал, да ведь как знать, мало ли что мне взбредет в голову на досуге, да и она мало ли что может ответить. Нет, сэр. Это мне не подойдет.

– Не подойдет быть хозяином «Драконе», Марк? – воскликнул мистер Пинч.

– Нет, сэр, ни в коем случае не подойдет, – возразил Марк, отводя взгляд от горизонта и обращая его на своего спутника. – Это сущая погибель для такого человека, как я. Да я там преспокойно просижу всю жизнь, и никто никогда не узнает, на что я гожусь. Что тут особенного, если хозяин в «Драконе» веселый? Он не может не быть веселым, сколько ни старайся.

– А миссис Льюпин знает, что вы намерены ее покинуть? – осведомился мистер Пинч.

– Я еще ей не говорил, сэр, а сказать придется. Нынче утром я собираюсь поискать что-нибудь другое, более подходящее, – сказал он, кивая в сторону Солсбери.

– Что же именно? – спросил мистер Пинч.

– Я подумывал, – отвечал Марк, – насчет какой-нибудь должности вроде могильщика.

– Господь с вами, Марк! – воскликнул мистер Пинч.

– Отличная должность, сударь, в смысле сырости и червей, – сказал Марк, убежденно кивая головой, – и быть веселым при таком занятии – дело нелегкое; одно только меня пугает, что могильщики, как на грех, ребята веселые. Не знаете ли вы, сэр, отчего это так бывает?

– Нет, – сказал мистер Пинч, – право, не знаю. Никогда над этим не задумывался.

– На случай, ежели с этим ничего не выйдет, – продолжал Марк размышлять вслух, – имеются, знаете ли, и другие занятия. Гробовщика хотя бы. Невеселая штука. Тогда еще было бы чем похвалиться. Служить у закладчика в бедном квартале, пожалуй, тоже недурно. Тюремщик видит немало горя. Лакей у доктора тоже – у него на глазах постоянно людей морят. У судебного пристава тоже не очень-то веселая должность. Даже и сборщику налогов бывает тошно глядеть на чужое горе. Да мало ли еще что может подвернуться подходящее, думается мне.

Мистер Пинч был до того огорошен этими соображениями, что у него пропала всякая охота разговаривать, и он только время от времени ронял слово или два о чем-нибудь мало-важном, искоса поглядывая на жизнерадостное лицо своего чудака приятеля, по-видимому совершенно не замечавшего, что за ним наблюдают. Так продолжалось, пока они не доехали до поворота дороги, почти на окраине города; здесь Марк сказал, что хотел бы сойти, с позволения мистера Пинча.

– Господи помилуй, Марк, – сказал мистер Пинч, который во время своих наблюдений успел сделать открытие, что куртка у его спутника распахнута, словно среди лета, и под рубашку то и дело забирается ветер, – почему вы не носите жилета?

– А какая от него польза, сэр? – спросил Марк.

– Какая польза? – сказал мистер Пинч. – Такая, что грудь в тепле.

– Господь с вами, сэр, – воскликнул Марк, – не знаете вы меня, вот что! Зачем это мне нужно держать грудь в тепле? А если даже нужно, так что со мной может случиться без жилета? Ну, схвачу воспаление легких. Что ж, тем больше мне чести, ежели при воспалении легких я буду веселый.

Так как мистер Пинч не мог найти на это подходящего ответа и только тяжело вздыхал, округлив глаза и усиленно кивая головой, Марк поблагодарил за одолжение и соскочил на ходу, чтобы не затруднять мистера Пинча остановкой. И легко, словно танцуя, он зашагал по тропе, в куртке нараспашку, в развевающемся красном шарфе, изредка оборачиваясь, чтобы кивнуть мистеру Пинчу, – самый беззаботный, добродушный и чудаковатый малый из всех, какие водятся на свете. Его недавний спутник, сильно призадумавшись, продолжал свой путь в Солсбери.

Мистер Пинч подозревал в душе, что Солсбери одно из самых злчных мест во всей Англии, что это разгульный и развращенный город, а потому, поставив лошадь в конюшню и дав конюху понять, что зайдет часика через два взглянуть, вдоволь ли у нее овса, он отправился прогуляться по улицам со смутной и довольно приятной мыслью, что там должно быть полным-полно всяких тайн и соблазнов. Этому маленькому заблуждению способствовало то обстоятельство, что день был базарный и переулки вокруг площади были сплошь заставлены подводами, лошадьми, ослиами, корзинками, тележками, завалены овощами, говядиной, требухой, пирогами, птицей и лотками с товаром всех возможных сортов и видов. Кроме того, тут были молодые крестьяне и старые крестьяне – в блузах, коричневых куртках, серых куртках, красных вязаных шарфах, гамашах, шляпах невиданных фасонов, с арапниками и самодельными дубинками в руках, – которые стояли кучками, или громко разговаривали на трактирном крыльце, или получали и отсчитывали целые пачки засаленных бумажек из таких толстых бумажников, что вытаскивать их из кармана грозило апоплексией, а запихивать обратно – спазмами в желудке. Кроме того, тут были крестьянки в касторовых капорах и красных накидках, правившие лохматыми лошадками, чуждыми всяким земным страстям, которые преспокойно везли своих хозяек куда угодно, не интересуясь, зачем это нужно, и в случае надобности могли бы стоять как вкопанные в посудной давке, с полным обеденным сервизом возле каждого копыта, а также великое множество собак, весьма заинтересованных состоянием рынка и сделками своих хозяев; и великое смешение двух языков – скотского и человеческого.

Мистер Пинч глядел на все выставленное для продажи с большим удовольствием, особенно же на лоток бродячего ножовщика, настолько его прельстивший, что им тут же был приобретен карманный ножичек с семью лезвиями, из которых ни одно не резало, как мистер Пинч обнаружил впоследствии. Осмотрев базарную площадь и удостоверившись, что фермеры сели обедать, он вернулся приглядеть за своей лошадью. Убедившись, что она наелась до отвала, Том опять вышел побродить по городу и полюбоваться окнами лавок; сначала он нагляделся досыта на банк и погадал, где именно под землей находятся те подвалы, в которых хранят золотую монету; потом обернулся и посмотрел вслед двум-трем повстречавшимся ему молодым людям, которые, как ему было известно, находились в обучении у городских нотариусов и внушали ему известное уважение, смешанное со страхом, так как вели весьма рассеянный образ жизни и были, что называется, развеселые ребята.

А самые лавки! Прежде всего тут были ювелирные лавки со всеми сокровищами мира, выставленными в окне; и такие большие серебряные часы висели там за каждым окном, что если ход у них и был неважный, то уж, конечно, не оттого, что для механизма не хватило места. По правде сказать, они казались достаточно велики и достаточно безобразны, для того чтобы быть самыми образцовыми механизмами на свете. На взгляд мистера Пинча, однако,

они были миниатюрнее швейцарских часов; а когда он увидел, что одни часы луковицей рекомендуются как часы с репетицией, наделенные редкой способностью вызванивать каждую четверть часа в кармане их счастливого обладателя, ему даже захотелось быть настолько богатым, чтобы купить их.

Но что были золото и серебро, драгоценности и хронометры по сравнению с книжными лавками, откуда шел приятный запах свежей печатной бумаги, мгновенно будя воспоминание о какой-нибудь новой грамматике, по которой он когда-то, давным-давно, учился в школе, – с надписью «Томас Пинч, пансион Гров-Хаус», выведенной отличнейшим почерком на заглавном листе! А этот легкий запах сафьяна, а все эти ряды томов, аккуратно выстроенные один над другим, – какую радость они сулили! В окне были выставлены, радуя глаз, последние лондонские издания, раскрытые на заглавном листе, а иногда даже и на первой странице первой главы, что подстрекало неосмотрительных людей начать чтение, а потом, из-за невозможности перевернуть страницу, ринуться внутрь и купить книжку! Тут были изящные фронтисписы и тонкие виньетки, указывающие, подобно придорожным столбам на окраинах больших городов, на богатую событиями жизнь, которая скрывается за ними; и книги с благообразными портретами авторов, имена которых, хорошо известные мистеру Пинчу, были освящены временем, – много он отдал бы за то, чтобы иметь их труды, в каком угодно издании, на узенькой полочке рядом со своей кроватью, в доме мистера Пекснифа. Просто мучение, а не лавка!

Была тут еще и другая лавка – не то, что первая, но все же завидное место, – где продавались детские книги и где бедняга Робинзон стоял одиноко во всем своем величии, с топором и собакой, в шапке из козьей шкуры и с ружьем, и спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей вокруг него¹⁹, призывая мистера Пинча в свидетели, что только он один из всей этой толпы оставил на песках мальчишеской памяти свой след, который бессильна стереть поступь новых поколений. Были тут и персидские сказки о летающих сундуках и волшебниках, многие годы корпящих в пещерах над колдовскими книгами; был тут и купец Абдалла, и страшная старуха, выскочившая из сундука в его спальне; и могучий талисман – несравненные сказки «Тысячи и одной ночи», с Касим-бабой, разделенным на четыре части и подвешенным к потолку разбойничьей пещеры, словно призрак головоломной арифметической задачи. Все эти бесценные сокровища, мгновенно завладев мистером Пинчем, так оттерли и отчистили волшебную лампу в его душе, что, когда он опять повернулся лицом к шумной улице, к его услугам был уже целый хоровод видений, и он снова радостно переживал счастливые дни допекснифовских времен.

Он проявил гораздо меньше интереса к лавкам аптекарей с большими, горящими, как жар, бутылками (весь блеск которых собран в пробках), где медицина не без приятности сочеталась с парфюмерией в изготовлении ароматических леденцов и девичьей кожи. Не выказал он также ни малейшего внимания (что и всегда за ним водилось) к портновским лавкам, где вывешены были новейшие фасоны столичных жилетов, которые, в силу какой-то странной метаморфозы, в лавке всегда выглядели отлично, а на заказчиках делались ни на что не похожи. Зато он остановился у театра прочесть афишу и поглядел на вход с известного рода трепетом, который отнюдь не уменьшился, когда из дверей вышел джентльмен с восковым лицом и длинными волосами и велел какому-то мальчишке сбегать к нему на квартиру за палашом. Услышав это, мистер Пинч замер в восхищении и простоял бы так до темноты,

¹⁹ ...Робинзон... спокойно взирал на Филиппа Кворла и целую орду подражателей... – Имеется в виду роман Даниеля Дефо (1660–1731) «Робинзон Крузо» (1719). Это произведение породило несметное количество подражаний, одним из которых является роман, вышедший в 1727 году под названием: «Несравненные страдания и удивительные приключения Филиппа Кворла, англичанина, который был обнаружен бристольтским купцом м-ром Доррингтоном на необитаемом острове в Южном море, где он жил около 50 лет без всякого человеческого общества, и откуда не хотел выезжать».

если бы колокол старинного собора не зазвонил к вечерне, после чего мистеру Пинчу удалось сдвинуться с места.

Помощник органиста дружил с Томасом Пипчем – и очень кстати, ибо он тоже был смиренный малый и в школе тоже вел себя, как мальчик из хрестоматии, хотя даже озорники его любили. К счастью, случилось так (Том всегда говорил, что ему везет), что помощник органиста в этот день работал один и на пыльных хорах с ним не было никого, кроме Тома; так что Том помогал ему переводить регистр, пока он играл, а потом, когда служба кончилась, и сам уселся за орган. Вечерело, и к желтому свету, струившемуся сквозь старинные окна на хорах, примешивался зловещий тускло-красный оттенок. Когда величавые аккорды огласили церковь, мистеру Пинчу почудилось, будто на них отзывается эхом каждая из древних гробниц, так же как и сокровенная глубина его собственного сердца. Мысли и надежды волной хлынули в его душу, когда стройные звуки музыки сотрясли воздух, и среди них, исполненные нового, важного смысла и значения, но в существе своем те же самые, – были все впечатления этого дня, вплоть до смутных воспоминаний детства. Чувство, которое пробуждали эти звуки в краткий миг своего существования, казалось, обнимало всю его жизнь, всю его душу; и по мере того как окружающая действительность из камня, стекла и дерева расплывалась и пропадала во мраке, эти видения становились все ярче, и Том совсем позабыл бы про нового ученика и ожидающего их обоих наставника и просидел бы так до полуночи, изливая благодарное сердце, если бы не дряхлый грубиян причетник, который непременно желал запереть церковь, не медля ни минуты. И мистер Пинч распрощался со своим приятелем, рассыпавшись в благодарностях, ощупью выбрался из темноты на уже освещенные фонарями улицы и поспешил в гостиницу обедать.

К этому времени все крестьяне разъехались по домам, и никого уже не было в усыпанной песком зале той гостиницы, где мистер Пинч на конюшне оставил свою лошадь; поэтому он попросил придвинуть маленький столик поближе к огню и с аппетитом принялся за отлично поджаренный бифштекс с дымящимся горячим картофелем, радуясь его превосходным качествам и вообще наслаждаясь жизнью вовсю. Рядом с тарелкой стояла кружка бесподобного вильтширского пива; и все это вместе взятое было так чудесно, что мистер Пинч вынужден был время от времени класть нож и вилку на скатерть и потирать руки в глубоком умилении. Когда подали сыр с сельдереем, мистер Пинч вытащил книжку из кармана и доканчивал обед уже не торопясь – то покушает немножко, то выпьет пива, то почитает, то остановится, раздумывая, каким человеком окажется новый ученик. Покончив с этим предметом размышления, он погрузился в книжку, как вдруг дверь отворилась, и вошел посетитель, напустив при этом такого холода, что сначала положительно казалось, будто он совсем загасил огонь в камине.

– Очень сильный мороз нынче, сэр, – сказал новый гость, учтиво выражая признательность мистеру Пинчу, который отодвинулся со своим столиком, уступая место пришельцу. – Не беспокойтесь, пожалуйста, прошу вас.

Проявив этим должное внимание к удобствам мистера Пинча, он тем не менее пододвинул большое кожаное кресло к самому очагу, и уселся прямо перед огнем, поставив ноги на решетку.

– Ноги у меня совсем окоченели. Да, мороз жестокий!

– Вы, должно быть, долго пробыли на холоде? – спросил мистер Пинч.

– Весь день. Да еще на козлах кареты.

«Оттого-то он и в комнату напустил такого холода, – подумал мистер Пинч. – Бедняга! То-то, должно быть, промерз до костей».

Незнакомец тоже задумался и молча просидел минут пять или десять перед огнем. Наконец он встал с места и освободился от шали и пальто, очень теплого и толстого (по сравнению с верхней одеждой мистера Пинча). Однако, сняв пальто, он ничуть не стал раз-

говорчивее, ибо снова уселся на то же место и в той же позе и, откинувшись на спинку стула, принялся грызть ногти. Он был молод – лет двадцати, быть может, – и красив, с быстрыми умными глазами и живостью взгляда и движений, которая заставила Тома еще сильнее почувствовать собственную мешковатость и сделаться еще застенчивее обыкновенного.

В комнате были часы, на которые незнакомец то и дело поглядывал. Том тоже нередко с ними справлялся, отчасти из сочувствия к своему молчаливому товарищу, отчасти же потому, что новый ученик должен был зайти за ним в половине седьмого, а стрелки уже подвигались к этому часу. Всякий раз как незнакомец перехватывал его взгляд, устремленный на часы. Томом овладевало какое-то замешательство, точно его поймали врасплох на чем-то нехорошем; и молодой человек, быть может заметив его тревогу, сказал с улыбкой:

– Как видно, мы с вами оба очень интересуемся временем. Дело в том, что я должен встретиться тут с одним джентльменом.

– И я тоже, – сказал мистер Пинч.

– В половине седьмого, – сказал незнакомец.

– В половине седьмого, – сказал Том одновременно с ним, на что молодой человек ответил изумленным взглядом.

– Молодой джентльмен, которого я ожидаю, – робко заметил Том, – должен был спросить в половине седьмого человека по фамилии Пинч.

– Боже мой! – воскликнул тот, вскакивая с места. – А я еще все время загораживал от вас огонь! Я понятия не имел, что вы и есть мистер Пинч. Я тот самый мистер Мартин, которого вы ждете. Пожалуйста, извините меня. Придвигайтесь ближе, прошу вас!

– Благодарю, – сказал Том, – благодарю вас. Мне вовсе не холодно, а вы озябли; нам же еще предстоит ехать по морозу. Хотя, что ж, если вам угодно, я придвинусь. Я... я очень рад, – сказал Том с особенной, свойственной ему, открытой и смущенной улыбкой, которая так ясно говорила о том, что он сознает все свои недостатки и просит снисхождения у собеседника, как будто он попросту написал все это на бумаге, – очень рад, что вы и есть тот человек, которого я дожидался. Я только что подумал, минуту тому назад, как хорошо было бы, если бы он был похож на вас.

– Мне приятно это слышать, – отвечал Мартин, опять пожимая ему руку, – уверяю вас, я и сам думал, какое это было бы счастье, если бы мистер Пинч оказался похож на вас.

– Нет, в самом деле? – откликнулся Том, очень довольный. – Вы не шутите?

– Честное слово, нет, – отвечал его новый знакомец. – Мы с вами отлично сойдемся, я уж знаю; и это для меня немалое облегчение. Сказать вам по правде, я вовсе не такой человек, чтобы мог сходиться со всяким, и на этот счет у меня были большие сомнения. Но теперь они рассеялись. Будьте так любезны, позвоните, пожалуйста.

Мистер Пинч вскочил с места и бросился выполнять эту просьбу с величайшей живостью (звонок был над самой головой у Мартина, который продолжал греться), с улыбкой слушая то, что говорил его новый друг.

– Если вы любите пунш, позвольте мне заказать для нас по стакану самого горячего, чтобы как следует ознаменовать начало нашей дружбы. Сказать вам по секрету, мистер Пинч, я никогда еще не нуждался так в чем-нибудь горячительном и подкрепляющем; но, не зная, что вы за человек, я не хотел пить при вас, потому что первое впечатление, видите ли, очень много значит, и сглаживается оно не скоро.

Мистер Пинч позволил, и пунш был заказан. В свое время он появился на столе, горячий и крепкий. Выпив этот дымящийся напиток за здоровье друг друга, они пустились в откровенности.

– Я до некоторой степени родня Пекснифу, знаете ли, – сказал молодой человек.

– Неужели? – воскликнул мистер Пинч.

– Да. Мой дедушка приходится ему двоюродным братом, так что мы с ним какие-то там родственники, если вы в этом можете разобраться. Я не в состоянии.

– Значит, вас зовут Мартином? – в раздумье спросил мистер Пинч. – О!

– Разумеется, Мартином, – отвечал его друг. – А лучше бы «Мартин» была моя фамилия, потому что она у меня не из благозвучных и подписывать ее очень долго. Моя фамилия Чезлвит.

– Боже мой! – воскликнул мистер Пинч, невольно подскочив.

– Неужели вас удивляет, что у меня есть и имя и фамилия? – отозвался Мартин, поднося стакан к губам. – Это не редкость!

– Нет, нет. – сказал мистер Пинч, – ничуть. О боже мой, насколько! – И припомнив, что мистер Пексниф под большим секретом просил его ничего не говорить о пожилом джентльмене с той же фамилией, остановившемся в «Дракон», напротив, воздержаться от всяких упоминаний о нем. он не нашел другого способа скрыть свое смущение, как тоже поднести стакан ко рту. Некоторое время они глядели друг на друга поверх своих стаканов и, допив их до дна, поставили на стол.

– Я велел там, на конюшне, запрягать к этому времени, – сказал мистер Пинч, опять взглядывая на часы. – Поедемте?

– Если вам угодно, – отвечал тот.

– Может быть, вы хотите править? – спросил мистер Пинч и просиял, сознавая всю заманчивость такого предложения. – А то правьте, если вам хочется.

– Ну, это зависит от того, какая у вас лошадь, – отвечал Мартин, улыбаясь. – Потому что если она плохая, так я лучше засуну руки в карманы, чтобы они не мерзли.

Он, видимо, был очень доволен своей шуткой, и поэтому мистеру Пинчу она тоже весьма понравилась. Он тоже засмеялся и тогда уже совершенно уверился в том, что шутка отличная. После того он уплатил по счету, а мистер Чезлвит заплатил за пунш, и, закутавшись потеплее, каждый как мог, они направились к выходу, где подвижность мистера Пекснифа загромождала им дорогу.

– Нет, спасибо, я не буду править, – сказал Мартин, усаживаясь на место седока. – Кстати, тут у меня сундучок. Нельзя ли его как-нибудь пристроить?

– О, разумеется! – сказал Том. – Дик, поставь его куда-нибудь.

Сундук был не таких удобных размеров, чтобы его можно было сунуть иуда угодно, но конюх Дик все же впихнул его кое-как с помощью мистера Чезлвита. Сундук оказался под ногами у мистера Пинча, и мистер Чезлвит выразил опасение, не будет ли это беспокоить мистера Пинча, на что Том ответил: «Нисколько», хотя ему из-за этого приходилось сидеть в весьма неудобной позе, мешавшей ему видеть что-либо, кроме собственных колен. Однако плох тот ветер, который никому не приносит добра; справедливость этой пословицы подтвердилась в ту же минуту, ибо морозный ветер задувал со стороны Тома и сундук вместе с Томом образовал такую плотную стену между ветром и новым учеником, что Мартин был как нельзя лучше защищен от стужи, и это было весьма утешительно.

Вечер был ясный, и ярко светила луна. Все кругом серебрилось от инея и лунного света, и местность казалась необыкновенно красивой. Сначала, под влиянием мира и безмятежной тишины, разлитой в природе, молодые люди молчали; но спустя немного, от пунша и бодрящего воздуха, они сделались необыкновенно разговорчивы и болтали без умолку. Когда путники остановились на полдороге напоить лошадей, Мартин (который не жалел своих денег) заказал еще один стакан пунша, и они выпили его пополам, отчего сделались еще разговорчивее. Главным предметом беседы был, натурально, мистер Пексниф и его семейство; и Том со слезами на глазах говорил о своих благодетелях в таких выражениях, что каждый человек, не лишенный сердца, должен был преклониться перед семейством Пексниф, чего мистер Пексниф, разумеется, не мог предвидеть и о чем решительно не подозревал, иначе он

(по свойственной ему скромности) никогда не послал бы мистера Пинча за новым учеником. Так ехали они путем-дорогой, как говорится в сказках, пока, наконец, не замелькали перед ними огоньки селения и длинная тень колокольни не легла на кладбищенскую траву, словно на циферблат часов (увы, самых верных на свете!); покорная движению светил, отмечает она быстротекущие дни, недели и годы вечно меняющейся тенью на этой священной земле.

– Церковь недурна! – сказал Мартин, видя, что его спутник замедлил и без того медленный бег лошади, когда они подъехали ближе.

– Не правда ли? – отозвался Том с большой гордостью. – И орган в ней небольшой, но очень приятного тона. Я на нем играю.

– Вот как! – сказал Мартин. – Сдается мне, что это едва ли стоит труда. И много вы получаете?

– Ничего ровно, – ответил Том.

– Ну, знаете ли, – возразил его друг, – вы, я вижу, большой чудак.

Последовало краткое молчание.

– Когда я сказал «ничего», – заметил мистер Пинч жизнерадостно, – я ошибся и сказал совсем не то, что думал, потому что это доставляет мне огромное удовольствие и возможность провести несколько счастливых часов. А на днях мне выпало на долю и еще кое-что... только вы, я думаю, вряд ли захотите слушать.

– Нет, отчего же. А что это было?

– Я видел, – сказал Том, понизив голос, – самое милое и самое красивое лицо, какое вы только можете себе представить.

– Уж я-то могу представить себе такое лицо, – задумчиво сказал его друг, – если у меня не вовсе отшибло память.

– Она пришла в первый раз, – сказал Том, кладя руку ему на плечо, – очень рано утром, когда еще только светало; и когда я обернулся и увидел, что она стоит в дверях, то весь даже похолодел: мне сначала показалось, что это видение. Через минуту я, конечно, опомнился; и слава богу, что так скоро, – я даже не перестал играть.

– Почему же «слава богу»?

– Почему? Потому что она стояла и слушала. Я был в очках и видел ее из-за занавеса так же ясно, как вижу вас; это была красавица. Немного погодя она исчезла, а я играл, пока она могла слышать.

– Для чего же вы это делали?

– Неужели вы не понимаете? – отвечал Том. – Она могла подумать, что я ее не видал, и прийти еще раз.

– И она пришла?

– Конечно. И на следующее утро и вечером тоже; и все в такое время, когда никого не было, и всегда одна. Я вставал раньше и сидел в церкви дольше, чтобы двери были отперты, когда она придет, и орган играл, иначе она огорчилась бы. Несколько дней подряд она приходила в церковь и всегда оставалась послушать. Но теперь она уехала; и из самого невероятного на этом свете всего невероятнее, что я еще когда-нибудь увижу ее.

– Вы ничего больше о ней не знаете?

– Нет.

– И вы ни разу за ней не пошли?

– Зачем я стал бы ее беспокоить? – сказал Том Пинч. – Разве она нуждалась в моем обществе? Она приходила слушать орган, а не видаться со мной; так ради чего я спугнул бы ее с места, которое так ей понравилось? Нет, господь ее храни! – воскликнул Том. – Чтобы доставить ей хоть минутную радость, я играл бы на органе каждый день до самой старости; я был бы счастлив, если бы, вспоминая о музыке, она вспоминала заодно и беднягу музы-

канта, и вознагражден сверх меры, если бы она когда-нибудь подумала и обо мне, вспоминая о том, что ей так мило.

Новый ученик был, видимо, изумлен таким малодушием мистера Пинча и, вероятно, сказал бы ему об этом и, пожалуй, дал бы хороший совет, но в эту минуту они подкатили к дому мистера Пекснифа – к парадным дверям на этот раз, ибо случай был торжественный и радостный. Лошадь принял тот самый конюх, которого мистер Пинч заклинал нынче утром придержать ретивое животное; поручив его заботам это четвероногое и шепотом попросив мистера Чезлвита никогда, ни единым звуком не обмолвиться о том, что было ему доверено в избытке чувств, Томас Пинч повел нового ученика в дом, для безотлагательного представления мистеру Пекснифу.

Мистер Пексниф явно не ожидал их так скоро: он был окружен раскрытыми книгами и, держа во рту карандаш, а в руке компас, заглядывал то в один, то в другой том с великим множеством математических чертежей, таких замысловатых с виду, что их можно было принять за схематическое изображение фейерверка. Мисс Черри тоже не ожидала их и потому, сидя перед объемистой плетеной корзинкой, занималась шитьем каких-то немыслимых ночных колпаков для бедных. Мисс Мерри тоже не ожидала их и, примостившись на своей скамеечке, примеряла – о боже милостивый! – юбку большой кукле, которую она наряжала для соседской девочки; да, это была совсем взрослая барышня-кукла, и оттого мисс Мерри сконфузилась еще больше; а кукольную шляпку она прицепила на ленте к одному из своих белокурых локонов, чтобы эта шляпка не потерялась или кто-нибудь на нее не сел. Было бы весьма затруднительно и даже просто невозможно представить себе семейство, застигнутое врасплох до такой степени, как семейство Пексниф на этот раз.

– Боже мой! – воскликнул мистер Пексниф, поднимая глаза и меняя рассеянное выражение лица на радостно-удивленное. – Уже здесь! Мартин, дорогой мой мальчик, я в восторге, что вижу вас в моем скромном жилище.

С этим любезным приветствием мистер Пексниф принял Мартина в свои объятия и несколько раз похлопал его по спине правой рукой, будто не в силах был выразить своих чувств словами.

– А вот и мои дочери, Мартин, – сказал он, придя в себя, – мои две единственные дочери, которых вы не видели – ах, эти прискорбные семейные разногласия! – с тех самых пор, как еще детьми играли вместе. Нет, нет, мои милые, к чему краснеть, когда вас застают за повседневными вашими занятиями? Мы готовились принять вас как гостя, Мартин, в нашей маленькой парадной гостиной, – говорил мистер Пексниф, улыбаясь, – но так мне больше нравится, так мне гораздо больше нравится!

Где бы ты ни находилась, о благословенная звезда невинности, как ты заблистала в небесах, когда каждая из мисс Пексниф, краснея, подала свою лилейную ручку Мартину! Как ты мерцала, словно трепеща от сочувствия, когда Мерси, вспомнив про кукольную шляпку в своих волосах, отвернулась, пряча прелестное личико, в то время как ее кроткая сестра сдернула шляпку и слегка ударила Мерси по круглому плечу в знак нежного сестринского упрека!

– А как, – спросил мистер Пексниф, оторвавшись от созерцания этого пассажа и дружески взяв мистера Пинча за локоть, – как встретил вас наш друг?

– Очень хорошо, сэр. Мы с ним в самых лучших отношениях, могу вас уверить.

– Старина, Томас Пинч! – сказал мистер Пексниф, глядя на него с нежной грустью. – Ах! Кажется, еще вчера Томас был мальчиком, только что со школьной скамьи. А ведь как подумаешь, сколько лет прошло с тех пор, как мы с Томасом Пинчем встретились на жизненном пути!

Мистер Пинч не мог вымолвить ни слова. Он был слишком взволнован. Он только пожал руку своему патрону в знак благодарности.

– И мы с Томасом Пинчем, – продолжал мистер Пексниф растроганным голосом, – пойдем по этому пути и дальше как верные и неразлучные друзья! И если случится так, что одного из нас переедут на каком-нибудь шумном перекрестке жизни, другой, не теряя надежды, отвезет его в больницу и будет сидеть у его постели, помогая ему щедрой рукой. Ну, ну, ну! – добавил он более жизнерадостным тоном, усиленно пожимая локоть мистера Пинча. – Довольно об этом! Мартин, дорогой мой друг, чтобы вы чувствовали себя как дома в этих стенах, позвольте показать вам, где мы живем! Пойдемте!

С этими словами он взял зажженную свечу и направился к выходу в сопровождении своего молодого родственника. В дверях он остановился:

– Вы составите нам компанию, Томас Пинч?

Да, Том с радостью пошел бы за ним даже на смерть и был бы счастлив отдать свою жизнь за такого человека!

– Вот здесь, – сказал мистер Пексниф, открывая дверь в гостиную напротив, – та маленькая парадная комната, о которой я вам говорил. Мои девочки гордятся ею, Мартин! Вот здесь, – открывая другую дверь, – тот маленький покой, где были задуманы все мои труды (ничтожные даже в самом лучшем случае). Мой портрет кисти Спиллера. Мой бюст работы Спокера. Считается, что он очень похож. Я и сам усматриваю большое сходство в нижней половине левой ноздри.

Мартин нашел, что бюст очень похож, но что ему не хватает одухотворенности. Мистер Пексниф ответил, что и другие находили в нем тот же недостаток. Замечательно, что и молодому его родственнику это тоже бросилось в глаза. Мистеру Пекснифу было очень отранно убедиться, что у него такой верный глаз.

– Вы видите тут разные книги, – заметил мистер Пексниф, указывая рукой на стену, – относящиеся к нашей профессии. Я и сам пописываю иногда, хотя до сих пор еще не печатался. Осторожней, тут лестница. – Вот здесь, – открывая третью дверь, – моя спальня. Здесь я занимаюсь, когда мои семейные думают, что я лег отдохнуть. Иногда я этим непозволительно подрываю свое здоровье, и сам это знаю; но искусство долговечно, а жизнь коротка. Вы видите, даже и тут под рукой имеется все нужное, чтобы набросать начерно вдруг явившийся замысел.

В объяснение этих последних слов он указал на маленький круглый столик с лампой, вокруг которой были разложены всех форматов листы бумаги, кусок резинки и готовальня; все это на тот случай, если какой-нибудь архитектурный замысел придет в голову мистеру Пекснифу среди ночи, чтобы он мог немедленно увековечить его, соскочив с кровати.

Мистер Пексниф открыл другую дверь на том же этаже и сразу же опять ее захлопнул, как будто это была комната Синей Бороды. Но прежде чем отойти от двери, он обернулся с улыбкой и сказал:

– А почему бы и нет?

Мартин не мог ответить на этот вопрос, так как не имел понятия в чем дело. Поэтому мистер Пексниф ответил сам, распахнув двери настежь:

– Комната моих дочерей. На наш взгляд, небогатое помещение на втором этаже, а для них – келья. Чистота. Воздух. Растения, как вы видите: гиацинты; книги тоже, ну и пернатые друзья (эти пернатые друзья, кстати сказать, состояли из единственного старого воробья, едва живого, а к тому же и бесхвостого, которого нарочно для этого случая принесли из кухни) – невинные забавы, пустяки, которые нравятся девушкам. Больше ничего. Тот, кто ищет здесь бездушной роскоши, будет искать напрасно.

С этими словами он повел их на третий этаж.

– Вот это, – сказал мистер Пексниф, распахивая настежь двери пресловутого помещения на третьем этаже, – та комната, где усовершенствовался, я полагаю, не один талант. В этой комнате у меня зародилась идея колокольни, которую я когда-нибудь подарю челове-

честву. Здесь мы работаем, дорогой Мартин. Не один архитектор вышел из этой комнаты: несколько человек, не правда ли, мистер Пинч?

Том подтвердил это; более того, он вполне этому верил.

– Вы видите здесь, – сказал мистер Пексниф, быстро водя свечой от одного чертежа к другому, – некоторые следы наших занятий. Солсберийский собор с севера. Он же с юга. С востока. С запада. С юго-востока. С северо-запада. Мост. Богадельня. Тюрьма. Церковь. Пороховой склад. Винный погреб. Портик. Беседка. Ледник. Планы, профили, вертикальные и поперечные разрезы – рее что угодно. А вот это, – прибавил он, входя в большую комнату с четырьмя узенькими кроватями, – ваша комната; и мистер Пинч тоже здесь живет, он человек очень тихий. Южная сторона, очаровательный вид; библиотечка мистера Пинча, как вы видите; очень уютно и удобно. Если бы вы захотели прибавить что-нибудь к этим удобствам, то вам стоит только спросить. Даже для посторонних в этом смысле нет никаких ограничений, а тем более для вас, дорогой Мартин.

Это было совершенно справедливо, и в подтверждение слов мистера Пекснифа следует сказать, что любому ученику разрешалось спрашивать все, что только душе угодно. Некоторые молодые люди целых пять лет подряд спрашивали одно и то же, и никто им не препятствовал.

– Домашние служители, – сказал мистер Пексниф, – спят наверху. Вот, кажется, и все. – После чего, снисходительно выслушивая похвалы, расточаемые его молодым другом всему устройству, мистер Пексниф опять повел его в гостиную.

Тут произошли большие перемены: приготовления к пиршеству в довольно широких размерах были почти закончены, и обе мисс Пексниф с самым радушным видом поджидали их возвращения. На столе стояли две бутылки смородинового вина, красного и белого; тарелка сандвичей (очень длинных и тощих); другая тарелка – с яблоками; третья – с морскими сухарями (как известно, сочное и лакомое яство); блюдечко с мелко нарезанными хрящеватыми апельсинами, посыпанными толченым сахаром, и совершенно окаменелый домашний пирог. У Тома Пинча просто дух захватило от таких грандиозных приготовлений, ибо, хотя новых учеников разочаровывали постепенно, особенно в отношении вина, которое разбавляли водой постепенно, так что иногда молодой джентльмен добрых две недели добирался до колодца, – это был все же настоящий пир; нечто вроде парадного банкета лорд-мэра в семейной обстановке; нечто такое, что запоминалось надолго и давало пищу для размышлений.

Мистер Пексниф пригласил общество оказать честь этому угощению, которое, помимо всех своих основных достоинств, имело еще одно дополнительное, а именно – находилось в строгом соответствии с погодой, холодной и сухой.

– Мартин, – сказал он, – сядет между вами обеими, дорогие мои, а мистер Пинч рядом со мной. Выпьем за нашего нового друга, чтобы нам жилось счастливо всем вместе! Мартин, дорогой мой друг, за ваше здоровье! Мистер Пинч, если вы будете церемониться с бутылкой, мы с вами поссоримся.

И, стараясь не морщиться от кислого вина, из уважения к чувствам остальных, мистер Пексниф оказал честь угощению и выпил тост, предложенный им самим.

– Вот вещь, – сказал он, намекая не на вино, а на общество, – которая вознаграждает человека за всякие разочарования и неприятности. Давайте же веселиться! – Тут он закусил вино морским сухарем. – Достоин сожаления то сердце, которое никогда не радуется, но наши сердца не таковы. Нет!

Беседуя таким образом, он развлекал и угощал все общество, в то время как мистер Пинч – быть может, желая увериться, что это действительно праздник, а не пленительный сон, – ел все подряд, в особенности налегая на тощие сандвичи. И вино он тоже пил беспрепятственно; мало того, памятуя слова мистера Пекснифа, он так усердно атаковал бутылку,

что каждый раз как Том наливал себе в стакан, мисс Чарити, несмотря на всю свою решимость быть любезной, не могла не глядеть на него остановившимися от ужаса глазами, точно на привидение. Мистер Пексниф в такие минуты тоже погружался в раздумье, если не в уныние; возможно, однако, что, зная свойство этого благородного напитка, он просто размышлял о том, что будет завтра с мистером Пинчем, и припоминал самые верные средства против колик.

Мартин и обе мисс Пексниф успели уже подружиться и, к общему удовольствию, оживленно обменивались воспоминаниями о днях своего детства. Мисс Мерри смеялась решительно всему, что бы ни говорили за столом, и время от времени, глядя на сияющее лицо мистера Пинча, вдруг закатывалась так неудержимо, что доходила чуть ли не до истерики. Однако ее более благоразумная сестра выговаривала ей за эти вспышки веселья, замечая сердитым шепотом, что смеяться тут вовсе нечему и что у нее просто терпения не хватает на это глядеть, хотя дело обыкновенно кончалось тем, что она и сама начинала смеяться, – впрочем, гораздо сдержаннее сестры, – говоря, что это и вправду очень смешно и что невозможно глядеть на это без смеха.

Между тем давно пора было вспомнить пункт первый великой истины, преподанный нам древним философом, – насчет того, как достигается здоровье, богатство и мудрость; непогрешимость какового изречения многократно была доказана трубочистами и другими людьми, которые вставали рано, ложились вовремя и этим наживали огромные состояния. Итак, обе девицы поднялись с места и, простившись с мистером Чезлвитом очень нежно, со своим папашей очень почтительно, а с мистером Пинчем очень снисходительно, удалились к себе в келью. Мистер Пексниф непременно захотел сам проводить своего молодого друга наверх, чтобы лично убедиться, удобно ли ему там будет, и, взяв Мартина под руку, опять повел его в спальню, в сопровождении мистера Пинча, который нес свечу.

– Мистер Пинч, – сказал Пексниф, скрестив руки на груди и присаживаясь на одну из пустых кроватей. – Я не вижу щипцов на подсвечнике. Не сделаете ли вы мне одолжение сойти вниз и спросить там щипцы?

Мистер Пинч, радуясь тому, что может быть полезным, немедленно отправился за щипцами.

– Вы должны извинить Томаса Пинча, ему не хватает лоска. – сказал мистер Пексниф со снисходительной и сожаляющей улыбкой, как только мистер Пинч вышел из комнаты. – Зато намерения у него самые лучшие.

– Он очень хороший человек, сэр.

– О да, – сказал мистер Пексниф. – Да. Намерения у Томаса Пинча самые лучшие. Он помнит добро. Мне никогда еще не приходилось жалеть о том, что я дружески относился к Томасу Пинчу.

– Думаю, что и не придется, сэр.

– Да, – сказал мистер Пексниф. – Да. Надеюсь, что не придется. Бедняга, он всегда старается сделать все, что в его силах. Но ему не хватает способностей. Пользуйтесь его услугами, Мартин, сколько захотите. Он забывается иногда немножко – вот слабость Томаса Пинча. Но его легко поставить на место. Добрая душа! Вы увидите, что с ним нетрудно ладить. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи, сэр.

Тут как раз подоспел мистер Пинч со щипцами.

– Доброй ночи и вам тоже, мистер Пинч, – сказал Пексниф. – Спокойного сна вам обоим, друзья мои! Благослови вас бог! Благослови вас бог!

С большим жаром призвав это благословение на головы своих молодых друзей, мистер Пексниф удалился к себе в комнату; они же, чувствуя сильную усталость, скоро уснули. Если Мартин и видел что-либо во сне, то ключ к его сновидениям можно будет найти на следу-

ющих страницах этого повествования. А Томасу Пинчу снились все какие-то праздники, церковные органы и ангелоподобные Пекснифы. Прошло не менее двух часов, прежде чем Пексниф увидел что-либо во сне или хотя бы коснулся головой подушки, так как все это время он сидел у себя в комнате перед камином, глядя на уголья в глубокой задумчивости. Но в конце концов и он тоже уснул и видел сны. Так, в тихие ночные часы под одной и той же кровлей может гнездиться не меньше бессвязных и противоречивых бредней, чем в голове сумасшедшего.

Глава VI

содержит наряду с прочими важными сообщениями, касающимися мистера Пекснифа и архитектуры, подробное описание успехов мистера Пинча на пути к завоеванию дружбы и доверия нового ученика

Было утро, и прекрасная Аврора, о которой столько писалось, говорилось и пелось, уже ущипнула розовыми перстами кончик носа мисс Пексниф. Шаловливая богиня усвоила себе обыкновение постоянно шутить таким образом с прелестной Черри; в переводе же на язык презренной прозы сие означает, что кончик носа у этой милой девушки за завтраком всегда бывал очень красен. Сказать по правде, в это время дня ее нос постоянно казался озябшим и блестел, как будто его начистили наждаком; сходное явление наблюдалось и в ее характере, который с утра отдавал чем-то кислым и неприятным, словно в нектар ее настроения, фигурально выражаясь, переложили лимону, чем несколько испортили вкус божественного напитка.

Этот избыток едкости в характере прелестной молодой особы обычно сказывался в том, что она еще обильнее разбавляла водой и без того жидкий чай мистера Пинча, сокращала его порцию масла до микроскопических размеров и прочее тому подобное. Но в это утро, после вступительного банкета, она позволила мистеру Пинчу хозяйничать среди яств и напитков совершенно свободно и беспрепятственно; и это до такой степени изумило и сконфузило мистера Пинча, что он, подобно дряхлому узнику, выпущенному на волю под конец жизни, не знал, как воспользоваться своей свободой, и впал в трепет и сомнение, нуждаясь в доброй душе, которая соскребала бы у него масло с хлеба, урезывала бы сахар до одного куска и вообще оказывала ему те маленькие знаки внимания, к которым он привык. Было, кроме того, нечто устрашающее в самообладании нового ученика, который постоянно «беспокоил» мистера Пекснифа просьбой передать ему хлеб и весьма хладнокровно накладывал себе с тарелки грудинку, предназначенную единственно для мистера Пекснифа. По-видимому, он думал, что это в порядке вещей, и ждал, что мистер Пинч последует его примеру, так как время от времени обращался к этому молодому человеку с замечанием, что тот «ничего не ест», – то есть с речами столь предосудительного характера, что мистер Пинч невольно опускал глаза, чувствуя себя злодеем и предателем, обманувшим доверие мистера Пекснифа. В самом деле, одна уже эта попытка выслушивать перед всем семейством такие нескромные слова сама по себе составляла завтрак и могла вполне насытить мистера Пинча, хотя он никогда еще не бывал так голоден.

Однако девицы, да и сам мистер Пексниф, вопреки этим тяжким испытаниям, оставались в наилучшем расположении духа, хотя чувствовалось, что между ними существует какой-то таинственный сговор. Когда завтрак подходил к концу, мистер Пексниф, улыбаясь, объяснил причину их общего радостного настроения.

– Не часто бывает, дорогой Мартин, – сказал он, – чтобы мои дочери вместе со мной покидали мирный домашний очаг ради суетного вихря светских удовольствий. Но сегодня мы рассчитываем поступить именно так.

– Неужели, сэр! – воскликнул новый ученик.

– Да, – отвечал мистер Пексниф, постукивая по левой руке письмом, которое держал в правой. – У меня здесь приглашение явиться в Лондон – по делу, дорогой Мартин, по

делу строго профессионального характера, – а я давно уже обещал дорогим моим девочкам, что, если только представится случай, они поедут вместе со мной. Мы отправимся нынче вечером в дилижансе, – подобно голубю к древности, дорогой мой Мартин, – и возвратимся с оливковой ветвью²⁰ не ранее чем через неделю. Под оливковой ветвью, – объяснил мистер Пексниф, – я подразумеваю наш скромный багаж.

– Надеюсь, что барышням понравится в Лондоне. – сказал Мартин.

– О, еще бы не понравилось! – воскликнула Мерри, хлопая в ладоши. – Боже мой! Черри, милочка, ты только подумай – Лондон!

– Пылкое дитя! – произнес мистер Пексниф, мечтательно глядя на свою младшую дочь. – И все же есть какая-то меланхолическая прелесть в этих юных надеждах. Приятно знать, что они никогда не осуществляются. Помню, я и дам думал когда-то, в далекие дни моего детства, что маринованный лук растет на дереве и что нее слоны так и рождаются с башенкой на спине. Впоследствии я узнал, что в действительности дело обстоит не так, далеко не так: однако эти мечты успокаивали меня в часы тяжелых жизненных испытаний. Даже когда мне пришлось сделать печальное открытие, что я пригрел на своей груди свинью во образе человека, – даже и в такой тягостный час они утешали меня.

При этом мрачном намеке на Джона Уэстлока мистер Пинч чуть не захлебнулся чаем, ибо не далее как нынче утром получил от него письмо, что было как нельзя лучше известно мистеру Пекснифу.

– Вы позаботитесь, дорогой Мартин, – продолжал мистер Пексниф, возвращаясь к прежней жизнерадостности, – чтобы дом не растащили в наше отсутствие. Мы поручаем его вам. Тут нет никаких секретов – все открыто и доступно. В противоположность тому молодому человеку из восточной сказки, которого называли, если не ошибаюсь, одноглазый календарь... не так ли, мистер Пинч?

– Одноглазый календарь²¹, мне кажется, – пролепетал Том.

– Это почти одно и то же, я думаю, – сказал мистер Пексниф, снисходительно улыбаясь, – или так считалось в мое время. В противоположность этому молодому человеку, дорогой Мартин, мы вам не только не запрещаем заглядывать во все уголки дома, но даже просим вас быть везде хозяином. Веселитесь, дорогой мой Мартин, заколите упитанного тельца, если вам захочется!

Не имелось, разумеется, никаких возражений против того, чтобы Мартин заколот и употребил с пользой для себя какого угодно тельца, упитанного или тощего, ежели только он нашелся бы в доме; но ввиду того, что никаких тельцов не паслось в угодьях мистера Пекснифа, его предложение следовало считать скорее знаком простой любезности, чем существенным доказательством гостеприимства. Этим цветком красноречия и завершилась беседа; ибо, высказавшись в таком духе, мистер Пексниф поднялся с места и повел их в оранжерею архитектурных талантов, то есть в известное уже помещение на третьем этаже.

– Позвольте подумать, – произнес он, роясь в бумагах, – чем бы таким вам заняться, пока я буду в отсутствии. Что, если бы вы представили мне проект памятника лондонскому лорд-мэру, или надгробие для шерифа, или коровник в парке какого-нибудь вельможи? А знаете ли, – сказал мистер Пексниф, складывая руки на груди и глядя на своего молодого родственника задумчиво и с интересом, – мне бы очень хотелось видеть, как вы представляете себе коровник.

Однако Мартин отнюдь не пришел в восторг от такого предложения.

²⁰ ...подобно голубю в древности... и возвратимся с оливковой ветвью... – намек на библейское предание о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. По преданию, когда воды потопа стали спадать, Ной выпустил из ковчега голубя, чтобы проверить, «сошла ли вода с лица земли». В первый раз голубь вернулся ни с чем. Во второй раз он возвратился, держа в клюве ветвь оливкового дерева. Впоследствии голубь и оливковая ветвь стали эмблемами мира.

²¹ Одноглазый календарь – странствующий монах (дервиш) из арабских сказок «Тысячи и одной ночи».

– Колодец, – продолжал мистер Пексниф, – тоже воспитывает строгий вкус. По моим наблюдениям, уличный фонарь возвышает душу и дает классическое направление уму. Изящный шлагбаум с орнаментом прекрасно действует на воображение. Не начать ли вам с изящного шлагбаума, что вы на это скажете?

– Если вам угодно, мистер Пексниф, – с сомнением отвечал Мартин.

– Погодите, – отвечал Пексниф. – Ну, вот что, вы честлюбивы и весьма искусно чертите, так попробуйте – ха-ха! – начертить план начальной школы, предусмотренный вот этим циркуляром; разумеется, сообразно с изложенными здесь требованиями. Честное слово, – игриво продолжал мистер Пексниф, – мне будет очень любопытно посмотреть, что у вас получится из начальной школы. Как знать, может быть молодой человек с вашим вкусом и натолкнется на что-нибудь такое, само по себе неосуществимое и непрактичное, чему я мог бы впоследствии придать форму. Ибо поистине, дорогой мой Мартин, поистине только в последних, завершающих штрихах и сказывается большой опыт и изящный вкус. Ха-ха-ха! Нет, в самом деле, мне доставило бы удовольствие увидеть, – продолжал мистер Пексниф, окончательно развеселившись и хлопая своего юного друга по спине, – что такое у вас получится из начальной школы.

Мартин охотно согласился взять на себя эту работу, и мистер Пексниф немедленно вручил ему все материалы, потребные для ее выполнения, распространяясь тем временем насчет магического действия завершающих штрихов, сделанных рукою мастера; оно было, по мнению многих (все тех же старых его врагов!), и в самом деле весьма удивительно и отзывалось волшебством, ибо известны были случаи, когда какое-нибудь чердачное окошко, или кухонная дверь, или десяток ступеней, или даже водосточная труба, начертанная рукою мастера, превращали проект ученика в собственное произведение мистера Пекснифа и приносили ему значительное денежное вознаграждение. Но такова уж магическая сила гения, который превращает в золото все, к чему бы ни прикоснулся!

– Если вам захочется освежиться и переменить занятие, – сказал мистер Пексниф, – Томас Пинч будет вашим наставником в искусстве съемки, он поможет вам начертить план нашего огорода, определить уклон дороги между нашим домом и придорожным столбом или же найдет для вас еще какое-нибудь полезное и приятное занятие. Во дворе имеется десятка два старых цветочных горшков и около воза кирпичей. Если бы вы, мой дорогой Мартин, смогли возвести из них к моему возвращению некое подобие ну хотя бы собора святого Петра в Риме или мечети святой Софии в Константинополе²², то это было бы весьма полезно для вас и приятно для меня. А теперь, – сказал в заключение мистер Пексниф, – оставив на время официальные отношения и возвратившись к нашим частным делам, я буду рад побеседовать с вами у себя в комнате, пока укладываю саквояж.

Мартин последовал за ним, и более часу они беседовали с глазу на глаз, предоставив Тома Пинча самому себе. Выйдя от мистера Пекснифа, молодой человек сделался весьма молчалив и невесел и в этом настроении пребывал весь день; так что Том, попытавшись раза два завести с ним разговор на безразличную тему, почувствовал, что неловко ему навязываться и мешать его мыслям, и больше уже с ним не заговаривал.

Но даже если бы его новый друг был гораздо словоохотливее, едва ли у Тома нашлось бы время много разговаривать: сначала мистер Пексниф позвал его вниз для того, чтобы он стал на саквояж и в позе древней статуи постоял до тех пор, пока саквояж не запрется; потом мисс Чарити позвала его, чтобы он увязал ей сундук; потом мисс Мерри послала за

²² *Собор св. Петра в Риме или мечеть св. Софии в Константинополе.* – Собор св. Петра – один из крупнейших архитектурных памятников эпохи Возрождения. Строился на протяжении двух веков (XV–XVII). В создании его принимали участие такие выдающиеся мастера эпохи Возрождения, как архитектор Браманте, великий скульптор, зодчий и художник – Микеланджело Буонаротти и великий художник Рафаэль. Храм св. Софии – выдающееся произведение византийской архитектуры (532–537). После захвата Константинополя турками (1453) храм св. Софии был превращен в мечеть.

ним, чтобы он поскорей шел чинить ей чемодан; потом он засел писать самые подробные ярлыки для всего багажа и тут же вызвался снести все это вниз; а после этого взялся приглядывать, чтобы багаж благополучно доставили на двух тачках к остановке дилижанса в конце переулка, и постеречь его до тех пор, пока не появится дилижанс. Словом, за этот день Тому пришлось поработать не меньше любого грузчика; но, по своему беспредельному добродушию, он не считал свои услуги ни во что, и только под конец, усевшись на чемоданы и поджидая появления Пекснифа с дочерьми под охраной нового ученика, Том вздохнул с облегчением, надеясь, что угодил своему благодетелю.

– Я, признаться, боялся, – говорил себе Том, доставая из кармана письмо и утирая пот с лица, так как разгорячился от возни, хотя день был холодный, – что у меня не найдется времени написать ей, а это было бы и сказать нельзя как жалко, потому что посылать отсюда почтой – большой расход для небогатого человека. Она обрадуется, когда увидит мой почерк, бедняжка, и узнает, что Пексниф все такой же добрый. Я бы попросил Джона Уэстлока зайти навестить ее и рассказать про мое житье-бытье на словах, да побоялся, что он станет отзываться дурно о Пекснифе и встревожит ее. Кроме того, у нее там народ щепетильный, и визит такого молодого человека может поставить ее в неловкое положение. Бедная Руфь!

Тому Пинчу немножко взгрустнулось, на полминуты, не больше, но вскоре он утешился и продолжал размышлять далее:

– Хорош же я, нечего сказать (это Джон всегда говорил, что я хороший человек; добрая душа и весельчак, этот Джон; жаль только, что он недолюбливал Пекснифа), – вздумал унывать оттого, что мы с ней живем далеко друг от друга, вместо того чтобы радоваться тому, что мне повезло и я попал сюда. Я, наверно, в рубашке родился, что встретил Пекснифа. А тут еще и с новым учеником удача необыкновенная! Первый раз вижу такого приветливого, великодушного, искреннего человека! Мы с ним как-то сразу подружились, а ведь он родственник Пекснифу; умный, способный юноша, которому все дается без труда. Вот и он, легок на помине, – идет себе по переулку с таким видом, будто и переулок его собственный.

В самом деле, новый ученик, нисколько не смущаясь честью вести под ручку мисс Мерри Пексниф и выслушивать ее прощальные любезности, появился на тропинке в сопровождении мисс Чарити и ее папаши. В ту же минуту показался дилижанс, и Том, не теряя времени, попросил мистера Пекснифа передать письмо.

– Ага! – сказал мистер Пексниф, взглянув на адрес. – Вашей сестре, Томас. Да, о да, письмо будет передано, мистер Пинч. Можете быть спокойны. Она непременно получит его, мистер Пинч.

Он дал это обещание с таким снисходительным и покровительственным видом, что Том Пинч почувствовал, о каком большом одолжении он просит (до сих пор это ему не приходило в голову), и стал усиленно благодарить мистера Пекснифа. Обе мисс Пексниф, как всегда, покатались со смеху уже при одном упоминании о мисс Пинч. – Ужас какой! Подумать только – мисс Пинч! Господи ты мой боже!

Том был очень доволен, видя их веселье, так как счел его признаком доброжелательности и сердечного расположения. Поэтому он тоже засмеялся, потирая руки, и очень оживленно пожелал им приятно путешествовать и благополучно возвратиться. Даже после того как дилижанс с оливковыми ветвями снаружи и голубыми внутри тронулся, Том все еще стоял на месте, махая рукой и раскланиваясь; он был настолько польщен необычайной любезностью девиц, что совсем позабыл про Мартина Чезлвита, который стоял в задумчивости, прислонившись к столбу и не поднимая глаз, с тех самых пор как усадил обеих мисс Пексниф в карету.

Полная тишина, наступившая вслед за суматохой и отъездом дилижанса, и морозный воздух зимнего дня привели их в чувство. Они повернулись и, точно сговорившись, зашагали прочь рука об руку.

– Какой вы невеселый! – сказал Том. – Что с вами случилось?

– Ничего такого, о чем стоило бы разговаривать, – отвечал Мартин. – Немногим больше того, что было вчера, и, надеюсь, гораздо больше, чем будет завтра. Я просто не в духе, Пинч.

– Ну что вы! – воскликнул Том. – А я, знаете ли, к отличному настроению и как нельзя больше расположен беседовать! Не правда ли, очень мило со – стороны вашего предшественника, Джона, что он написал мне?

– Да, конечно, – небрежно ответил Мартин. – Он, должно быть, так веселится, что и времени не видит, – где уж ему помнить о вас!

– Именно так я и сам думал, – возразил Том, – однако нет, он сдержал свое слово и пишет: «Милый Пинч, я часто вас вспоминаю», ну и так далее, очень внимательно и деликатно, все в том же роде.

– Он, должно быть, и в самом деле добродушный малый, – заметил Мартин довольно ворчливо, – потому что вряд ли он это думает, знаете ли.

– Так он этого не думает, по-вашему, а? – спросил Том, пристально глядя в лицо своему спутнику. – Вы считаете, он только так говорит, мне в утешение?

– Неужели же возможно, – возразил Мартин более серьезным тоном, – чтобы молодой человек, только что вырвавшись из этой собачьей конуры и получив доступ ко всем лондонским удовольствиям, нашел время или желание вспоминать добром о ком-нибудь или о чем-нибудь, что осталось тут? Скажите сами, Пинч, может ли это быть?

После краткого раздумья мистер Пинч ответил гораздо более пониженным тоном, что, пожалуй, неразумно было бы на это надеяться и что, конечно, Мартину лучше знать.

– Разумеется, мне лучше знать, – заметил Мартин.

– Да, я и сам это чувствую, – мягко сказал мистер Пинч. – Я так и говорю. – После этого краткого ответа наступило полное молчание, которое больше ничем не прерывалось. Они добрались до дома уже в темноте.

Надо сказать, что мисс Чарити Пексниф, находя неудобным забрать с собой в дилижанс объедки вчерашнего пиршества и считая невозможным сохранить их в неиспорченном виде до возвращения всего семейства, собрала все это на две тарелки и оставила на столе. Ввиду такой щедрости молодые люди имели удовольствие найти в гостинной две беспорядочные груды остатков вчерашнего банкета, состоявшие из подсохших ломтиков апельсина, черствых сэндвичей, хаотических масс окаменелого пирога и двух-трех уцелевших морских сухарей. А для того чтобы было чем запивать все эти деликатесы, остатки вина из двух бутылок были слиты в одну и заткнуты папилоткой, так что под руками имелось решительно все необходимое для того, чтобы предаваться разгулу целую ночь напролет.

Мартин Чезлвит оглядел остатки пиршества с бесконечным презрением и, хорошенько помешав угли в камине, чтобы огонь разгорелся вовсю (нисколько не церемонясь с углем мистера Пекснифа), угрюмо уселся в самое мягкое кресло, какое только нашлось. Стараясь поудобнее втиснуться в тот маленький уголок, который ему оставался, мистер Пинч уселся на скамеечку мисс Мерри и, поставив стакан на коврик перед камином, а тарелку к себе на колени, принялся пировать.

Если бы Диоген воскрес и вкатился со своей бочкой в гостиную мистера Пекснифа, то, увидев мистера Пинча на скамеечке мисс Пексниф, со стаканом и тарелкою на коленях, он бы не выдержал, как бы угрюмо ни был настроен, и улыбнулся бы самой добродушной улыбкой. Совершенное и полное удовольствие Тома; его особенное одобрение черствым сэндвичам, которые рассыпались у него во рту, словно опилки; неописуемое наслаждение, с которым он цедил кислое вино, облизывая губы, словно считал грехом упустить хотя бы каплю такого превосходного и благоуханного напитка; тот счастливый вид, с которым он медлил иногда, держа стакан в руке и, вероятно, произнося про себя какой-нибудь тост, и тревожная тень, омрачавшая его довольное лицо всякий раз, как, оглядев комнату и радуясь возможности

без помехи наслаждаться уютом, он замечал хмурую физиономию своего товарища, – да ни один циник на свете, будь он сушей ехидной по своему человеконенавистничеству, не мог бы устоять перед добродушием Томаса Пинча.

Немало нашлось бы людей, которые похлопали бы его по спине и выпили бы за его здоровье бокал смородинового вина, хотя это был чистейший уксус, – выпили бы, да еще с каким удовольствием! Другие пожали бы его честную руку и поблагодарили бы за урок, который дала им эта простая душа. Третьи посмеялись бы с ним вместе, а четвертые посмеялись бы над ним; к этому последнему разряду принадлежал и Мартин Чезлвит, который был не в силах удержаться и громко расхохотался.

– Вот это правильно, – сказал Том, одобрительно кивая. – Развеселитесь! Это лучше всего!

При таком поощрении Мартин опять рассмеялся, а потом, успокоившись, заметил:

– Первый раз вижу такого чудака, как вы, Пинч.

– Первый раз видите? – сказал Том. – Что ж, очень может быть, что я вам кажусь чудачком, ведь я почти не знаю жизни, а вы ее хорошо знаете, я думаю.

– Неплохо для моих лет, – отвечал Мартин, придвигая кресло еще ближе к огню и ставя обе ноги на каминную решетку. – Черт возьми, мне надо поговорить с кем-нибудь откровенно. Я поговорю откровенно с вами, Пинч.

– Пожалуйста! – сказал Том. – Я сочту это знаком дружеского расположения с вашей стороны.

– Я вам не мешаю? – спросил Мартин, глядя сверху вниз на мистера Пинча, который смотрел на огонь из-за его колена.

– Ничуть! – воскликнул Том.

– Надо вам знать прежде всего, – начал Мартин с некоторым усилием, как будто эта исповедь была ему не совсем приятна, – что меня воспитывали с ранних лет в надежде на большое наследство и приучили думать, что со временем я буду очень богат. Так оно и было бы, если б не вмешались некоторые причины и обстоятельства, о которых я и собираюсь вам рассказать. Они-то и привели к тому, что меня лишили наследства.

– Ваш отец лишил вас наследства? – спросил мистер Пинч, широко раскрыв глаза.

– Мой дедушка. Родителей у меня давно уже нет, я их едва помню.

– И у меня тоже их нет, – сказал Том, робко дотронувшись до руки молодого человека. – Боже мой!

– Ну, что до этого, то, знаете ли, Пинч, – по свойственной ему манере отрывисто и резко продолжал Мартин, опять мешая в камине, – очень хорошо и похвально любить родителей, если они живы, и не забывать их, если они умерли, когда вы их хоть сколько-нибудь знали. А я своих родителей почти не видел: нечего и ждать от меня особенной чувствительности. Да ее и нет; что правда, то правда.

Мистер Пинч как раз в это время задумчиво смотрел на решетку в камине. Но как только его собеседник умолк, он вздрогнул и сказал:

– О да, разумеется! – и снова притих, готовясь слушать дальше.

– Одним словом, – продолжал Мартин, – всю жизнь меня воспитывал и содержал вот этот самый дедушка, о котором я только что говорил. Ну, у него есть свои хорошие черты, нечего отрицать, я этого от вас и не скрываю, зато у него имеются два крупных недостатка, и в них-то вся беда. Во-первых, это такой упрямец, какого на свете не сыщешь. Во-вторых, он самый отвратительный эгоист.

– Да неужели? – воскликнул Том.

– Эгоизм и упрямство этого человека, – отвечал Мартин, – просто переходят все границы. Я не раз слышал, что наша семья искони отличалась этими недостатками, и думаю,

что в этом есть доля правды. Сам я этого знать не могу. Я только могу благодарить бога за то, что эти качества не перешли ко мне, и приложу все старания, чтобы не заразиться ими.

— Да, конечно, — сказал мистер Пинч. — Так и следует.

— Вот видите ли, — заключил Мартин, снова помешав угли в камине и придвинувшись к огню еще ближе, — как эгоист — он очень требователен к людям, а как упрямец — очень настойчив в своих требованиях. Он и от меня всегда требовал очень многого в смысле почтительности и покорности и даже самоотвержения, когда речь шла о его желаниях, ну и так далее. Я со многим мирился, потому что многим ему обязан (если можно говорить об обязательствах перед родным дедушкой) и потому что я его, как-никак, любил; однако мы все-таки довольно часто ссорились: я, видите ли, не всегда мог угодить на него, приспособиться к его нраву, — то есть не ради себя самого, вы же понимаете... — Тут он запнулся, не зная, как продолжать.

Мистер Пинч, который меньше всего был способен вывести другого из затруднения, не нашелся что ответить.

— Ну, вы меня понимаете, — быстро закончил Мартин, — мне нечего так уж гоняться за нужным словом. Теперь я расскажу вам самую суть, а также по какому именно случаю я очутился здесь. Я влюблен, Пинч.

Мистер Пинч воззрился на него с усиленным интересом.

— Говорю вам, я влюблен. Я влюблен в самую красивую девушку, какая только живет под солнцем. Но она в полной зависимости от моего дедушки; и если только он узнает, что она платит мне взаимностью, она останется без крова и лишится всего, что имеет. Надеюсь, в такой любви нет никакого особенного эгоизма?

— Эгоизма! — воскликнул Том. — Вы вели себя благородно. Любить ее, как вы, я думаю, любите, и, оберегая ее, даже не открыться...

— Что вы там толкуете, Пинч? — прервал его Мартин с раздражением. — Не смешите меня, мой милый. То есть как это не открыться?

— Простите меня, — ответил Том. — Я думал, что вы подразумеваете именно это, а иначе не стали бы говорить.

— Если б я не сказал ей о своей любви, какой был бы смысл влюбляться? — сказал Мартин. — Разве только для того, чтобы тосковать и мучиться?

— Это верно, — заметил Том. — Ну что ж, я догадываюсь, что она вам ответила, — прибавил он, глядя на красивое лицо Мартина.

— Ну, не совсем так, Пинч, — отвечал тот, слегка нахмурившись, — у нее там какие-то девические предрассудки насчет долга и благодарности и прочего тому подобного, что довольно трудно понять; но в основном вы правы: я узнал, что ее сердце принадлежит мне.

— Как раз то, что я предполагал, — сказал Том. — Вполне естественно! — И, очень довольный, он отпил большой глоток из стакана.

— Хотя я держал себя с самого начала крайне осторожно, — продолжал Мартин, — однако мне не удалось повести дело так, чтобы дедушка, очень ревнивый и недоверчивый, не догадался, что я ее люблю. Ей он ничего не сказал, а прямо напал на меня и в беседе с глазу на глаз обвинил меня в том, что я намеренно искушаю верность преданного ему существа (видите, какой эгоист!) — девушки, которую он учил и воспитывал, чтобы она стала ему бескорыстным и верным другом, после того как он меня женит по своему усмотрению. Тут я не вытерпел и сказал, что как ему будет угодно, но я могу жениться и сам и не желаю, чтобы он или кто-нибудь другой продавал меня с аукциона неизвестно кому.

Мистер Пинч раскрыл глаза еще шире и стал глядеть в огонь еще пристальнее прежнего.

— Можете себе представить, — продолжал Мартин, — он на это обиделся и начал говорить мне далеко не лестные вещи. И пошла беседа за беседой, слово за словом, как это всегда

бывает; а клонилось все это к тому, чтобы я от нее отказался, а не то он от меня откажется. А надо вам знать, Пинч, что я не только страстно влюблен в нее (она хотя и не богата, но так красива и умна, что сделает честь кому угодно, какие бы ни были претензии у ее будущего мужа); мало того, главной чертой моего характера является...

– Упрямство, – предположил Том в простоте душевной. Но это предположение было встречено гораздо хуже, чем он ожидал, ибо молодой человек немедленно возразил с некоторой запальчивостью:

– Какой вы чудак, Пинч!

– Прошу извинения, – сказал Том, – я думал, вы ищете нужное слово.

– Это совсем не то слово, – ответил Мартин. – Ведь я же вам говорил, что у меня в характере нет упрямства, не так ли? Я хотел сказать, если бы вы меня не прервали, что главная черта моего характера – это твердость.

– О! – воскликнул Том, поджимая губы и кивая головой. – Да, да, я понимаю.

– И так как я тверд, – продолжал Мартин, – то, разумеется, я не собирался подчиниться ему или уступить хотя бы тысячную долю вершка.

– Да, да, – сказал Том.

– Наоборот, чем больше он настаивал, тем больше я сопротивлялся.

– Разумеется! – сказал Том.

– Ну вот, – заключил Мартин, откинувшись на спинку кресла и беззаботно махнув обеими руками, как будто с этим предметом было совсем покончено и разговаривать о нем больше не стоило, – тем дело и кончилось, вот я и очутился здесь!

Несколько минут мистер Пинч сидел, уставясь на огонь с озадаченным видом, как будто ему предложили труднейшую головоломку, которую он не в силах был разгадать. Наконец он сказал:

– Пекснифа вы, конечно, знали и раньше?

– Только по имени. Видеть его я никогда не видел, потому что дедушка не только сам держался поодаль от родственников, но и меня не пускал к ним. Мы расстались в одном городе соседнего графства. Оттуда я поехал в Солсбери, увидел там объявление Пекснифа и написал ему, так как у меня есть, кажется, врожденная склонность к занятиям подобного рода и я подумал, что это мне подойдет. Как только я узнал, что объявление дал Пексниф, мне вдвое больше захотелось поехать именно к нему, из-за того, что...

– Что он такой прекрасный человек, – подхватил Том, потирая руки. – Так оно и есть. Вы были совершенно правы.

– Нет, не столько из-за этого, говоря по правде. – возразил Мартин, – сколько потому, что дедушка терпеть его не может; а после того как старик обошелся со мной так круто, мне, естественно, захотелось насолить ему побольше. Ну вот я и очутился здесь, как уже говорил вам. Моя помолвка с той девушкой, о которой я рассказывал, вероятно затянется надолго: виды на будущее у нас с ней не блестящие, а я, конечно, и не подумаю жениться, пока у меня не будет средств. Для меня, видите ли, совсем неподходящее дело обрекать себя на убожество и нищету. Любовь в одной комнате, на четвертом этаже и тому подобное...

– Не говоря уже о ней, – тихим голосом заметил Том Пинч.

– Совершенно верно, – ответил Мартин, вставая, чтобы погреть спину, и прислоняясь к каминной доске. – Не говоря уже о ней. Хотя, разумеется, ей не так уж трудно подчиниться необходимости в данном случае: во-первых, она меня очень любит; а во-вторых, я тоже многим пожертвовал ради нее, мне могло бы и больше повезти, знаете ли.

Прошло очень много времени, прежде чем Том сказал: «Да, конечно», – так много времени, что он мог бы вздремнуть в промежутке, но все же в конце концов он это сказал.

– Так вот, есть еще одно странное совпадение, которое связано с историей моей любви, – сказал Мартин, – и которым эта история заканчивается. Помните, вы мне рассказывали вчера вечером по дороге сюда про вашу хорошенькую незнакомку в церкви?

– Конечно, помню, – сказал Том, вставая со скамеечки и садясь в кресло, с которого только что поднялся Мартин, чтобы лучше видеть его лицо. – Разумеется.

– Это была она.

– Я так и знал, что вы это скажете! – ответил Том очень тихим голосом, пристально глядя на Мартина. – Неужели?

– Это была она, – повторил молодой человек. – После того, что я слышал от Пекснифа, у меня не осталось никаких сомнений, что это она приезжала и уехала вместе с моим дедушкой. Не пейте так много этого кислого вина, не то как бы вам не сделалось плохо, Пинч.

– Да, пожалуй, это вредно, – сказал Том, ставя на пол пустой стакан, который он долго держал в руках. – Так, значит, это была она?

Мартин утвердительно кивнул головой и, прибавив сердито и недовольно, что, будь это на несколько дней раньше, он бы ее увидел, а теперь она, может быть, за сотни миль от него, прошелся несколько раз по комнате, бросился в кресло и надулся, как избалованный ребенок.

Сердце у Тома Пинча было очень нежное, и он не мог смотреть равнодушно на чужое горе, а тем более на горе человека, к которому он чувствовал симпатию и который был к нему дружески расположен (в действительности или по предположению Тома) и желал ему добра. Каковы бы ни были его мысли несколько минут тому назад, – а судя по его лицу, они были совсем невеселы, – он постарался от них отделаться и преподал своему молодому другу наилучшие советы и утешения, какие только пришли ему в голову.

– Все уладится со временем, – говорил Том, – я не сомневаюсь, и после нынешних испытаний и несчастий вы еще сильнее привяжетесь друг к другу, когда настанут лучшие дни. Я читал, что так всегда бывает, да и чувство говорит мне, что это естественно и справедливо, и так оно и должно быть. Что долго не ладилося, – продолжал Том с улыбкой, которая, невзирая на его некрасивое лицо, была гораздо приятнее улыбки многих надменных красавиц. – что долго не ладилося, вряд ли может измениться так сразу, по нашему желанию; надо принимать жизнь как она есть и переделывать ее понемножку, вооружась терпением и бодростью. Я бессилен что-либо сделать, вы это хорошо знаете, зато намерения у меня самые лучшие, и если бы я мог быть полезен вам хоть чем-нибудь, как бы я был этому рад!

– Спасибо вам, – сказал Мартин, пожимая ему руку. – Вы хороший человек, клянусь честью; спасибо вам на добром слове. Разумеется, – прибавил он после минутной паузы, снова придвигая свой стул к огню, – я бы не постеснялся воспользоваться вашими услугами, если бы вы могли мне помочь. Но только, господи помилуй! – тут он сердито взъерошил волосы и посмотрел на Тома так, словно жалел, что это он, а не кто-нибудь другой, – помощи от вас не больше, чем от этой вилки или сковородки.

– Не считая желания помочь, – кротко заметил Том.

– О да, конечно. Я это и хотел сказать. Если бы желание что-нибудь значило, я бы не нуждался в помощниках. Хотя вот что вы можете сделать, если вам угодно, – и даже сейчас.

– Что именно? – спросил Том.

– Почитайте мне.

– Буду очень рад! – воскликнул Том, в восторге схватив подсвечник. – Извините, я оставляю вас на минутку в темноте, только сбегая за книгой. Что бы вы хотели? Шекспира?

– Ну что ж, – отвечал его друг, зевая и потягиваясь. – И Шекспир годится. Я сегодня устал от новых впечатлений и всей этой сутолоки; а в таких случаях, я думаю, нет удовольствия лучше, как заснуть, слушая чтение. Вы ведь не обидитесь, если я усну?

– Нисколько! – воскликнул Том.

– Тогда начинайте поскорей. И не переставайте читать, если вам покажется, что я задремал (разве только устанете сами); это так приятно – то засыпать, то просыпаться, и опять слышать все те же звуки. Вам не приходилось это испытывать?

– Нет, никогда, – ответил Том.

– Ну что ж, можно попробовать как-нибудь на днях, когда мы оба будем в подходящем настроении. Ничего, оставьте меня в темноте. Только поскорее!

Мистер Пинч побежал, не теряя времени, и минуты через две возвратился с одним из драгоценных томиков, взяв его с полки над кроватью. Мартин тем временем устроился настолько удобно, насколько позволяли обстоятельства; соорудив перед огнем диван из трех стульев, он подложил скамеечку мисс Мерри вместо подушки и улегся, растянувшись во весь рост.

– Только, пожалуйста, не очень громко, – сказал он Нянчу.

– Нет, нет, – отвечал Том.

– А вам не холодно?

– Нисколько! – воскликнул Том.

– Ну, тогда я готов.

Мистер Пинч, перелистав книгу так бережно, как будто это было живое и горячо любимое существо, выбрал пьесу и начал читать. Не успел он прочесть и пятидесяти строк, как его друг уже захрапел.

– Бедняга! – тихо сказал Том, вытягивая шею, чтобы взглянуть на него через спинки стульев. – Он так еще молод, а у него столько горя. И с какой благородной доверчивостью он все рассказал мне. Неужели это была она?

И вдруг, вспомнив про их уговор, он снова принялся читать с того места, где остановился, и читал долго, совсем позабыв, что надо снимать нагар со свечи, так что фитиль стал похож на гриб. Он до того увлекся, что забыл подбрасывать уголь в камин, и вспомнил о своем упущении только тогда, когда Мартин Чезлвит часа через два проснулся и закричал, вздрагивая от холода:

– Боже мой, огонь совсем потух! То-то мне и снилось, что я замерзаю. Велите принести еще угля. Ну и чудак же вы, Пинч!

Глава VII, в которой мистер Чиви Слайм провозглашает свою независимость, а «Синий Дракон» остается без правой руки

На следующее утро Мартин начал работать над проектом начальной школы с такой быстротой и усердием, что у мистера Пинча появились новые основания восхвалять природную даровитость этого молодого джентельмена и признавать его неизмеримое превосходство над собой. Новый ученик принимал комплименты Тома весьма благосклонно и, уже научившись за эти дни искренне уважать его – правда, на свой лад, – предсказывал, что они навсегда останутся самыми лучшими друзьями и что ни у одного из них (а тем более у Тома) не будет – он уверен – причины жалеть о том дне, когда они познакомились. Мистер Пинч был в восторге от его речей и чувствовал себя до такой степени польщенным этими сердечными уверениями в дружбе и покровительстве, что не находил слов для выражения своей радости. И в самом деле, насчет этой дружбы, какова бы она ни была, следует заметить, что она заключала в себе больше оснований для долговечности, чем иные многообещающие и скрепленные клятвой союзы, ибо до тех пор, пока одной стороне доставляло удовольствие оказывать покровительство, а другой – принимать его (в чем и заключалась сущность их характеров), не было никакого вероятия, чтобы фурии близнецы – Зависть и Гордость – стали между ними. Так, во многих случаях Дружба, или то, что слывет ею, держится скорее на контрасте характеров, чем на сходстве, опровергая старую истину.

Итак, на следующий день после отъезда семейства Пексниф оба они с головой ушли в работу. Мартин был занят своей начальной школой, а Томас – подсчетом сумм, полученных с арендаторов, и комиссионных, причитавшихся мистеру Пекснифу, причем в этом глубоко-мысленном занятии ему сильно мешала привычка его нового друга громко насвистывать во время работы, как вдруг их потревожило неожиданное вторжение человеческой головы в это святилище таланта, головы, порядком взлохмаченной и не внушавшей особенного доверия, но тем не менее посылавшей им с порога любезные улыбки, в одно и то же время игривые, заискивающие и одобрительные.

– Сам я не отличаюсь трудолюбием, джентльмены, – произнесла голова, – зато умею ценить это качество в других. Пускай я поседею и подурнею, если оно не является одним из наиболее привлекательных свойств человеческой натуры, равно как и талант. Клянусь честью, я от души благодарен моему другу Пекснифу за то, что он дал мне возможность полюбоваться очаровательной картиной, какую представляете вы оба. Вы напомнили мне Виттингтона, впоследствии трижды лорд-мэра города Лондона²³. Даю вам самое честное слово, вы очень напоминаете мне эту историческую личность. Вы оба Виттингтоны, господа, только без кошки, что мне кажется весьма приятным и счастливым исключением из правила, ибо я новее не поклонник кошачьей породы. Моя фамилия Тигг; как ваше здоровье?

Мартин посмотрел на мистера Пинча, ища объяснения, а Том, который впервые в жизни видел мистера Тигга, посмотрел на этого джентльмена.

²³ ...Виттингтона, впоследствии трижды лорд-мэра города Лондона. – Дик Виттингтон – герой популярной английской народной легенды, неоднократно упоминаемый Диккенсом. Легенда рассказывает, что, будучи учеником у торговца мануфактурой, Дик задумал бежать из Лондона, но был остановлен звоном колоколов одной из церквей, в котором он явственно различил голос, вещавший: «Вернись, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». Виттингтон вернулся назад и благодаря счастливой случайности разбогател (он продал кошку какому-то восточному князьку, во владениях которого водилось много мышей). Исполнилось и пророчество – его трижды избирали лорд-мэром Лондона. В основе легенды лежат факты из биографии исторического лица, некоего Ричарда Виттингтона (XV в.).

– Чиви Слайм? – вопросительно произнес мистер Тигг, целуя свою левую руку в знак дружеской приязни. – Поймете ли вы меня, если я сообщу вам, что я доверенное лицо Чиви Слайма, так сказать посланник его двора? Ха-ха!

– Как! – вырвалось у Мартина при упоминании знакомой ему фамилии. – А что ему от меня нужно?

– Если ваша фамилия Пинч... – начал мистер Тигг.

– Нет, это не моя фамилия, – сухо отозвался Мартин. – Вот мистер Пинч.

– Если это мистер Пинч, – воскликнул мистер Тигг, снова целуя свою руку и продвигаясь в комнату вслед за своей головой; то он позволит мне высказать, как я почитаю и уважаю его благороднейшие свойства, о которых я слышал столько похвального от моего друга Пекснифа, и как ценю его музыкальный талант, хотя сам я не бренчу, если позволительно употребить такое выражение. Если это мистер Пинч, я осмелюсь выразить надежду, что вижу его в добром здравьи и что он не страдает от восточного ветра?

– Благодарю вас. – ответил Том. – Я совершенно здоров.

– Рад это слышать, – возразил мистер Тигг. – В таком случае, – прибавил он, приставляя ладонь к губам и наклонившись к уху мистера Пинча, – я пришел за письмом.

– За письмом? – повторил Том вслух. – За каким письмом?

– За письмом, – прошептал Тигг с той же осторожностью, что и раньше, – которое мой друг Пексниф адресовал эсквайру Чиви Слайму и оставил у вас.

– Он не оставлял мне никакого письма, – сказал Том.

– Т-с-с! – прервал его тот. – Неважно, хотя я и ожидал от моего друга Пекснифа большей деликатности; в таком случае я пришел за деньгами.

– За деньгами! – воскликнул Том в перепуге.

– Вот именно. – ответил мистер Тигг. И с этими словами он потрепал Тома по плечу и кивнул раза два или три головой, как бы желая сказать, что они понимают друг друга, что нет никакой надобности посвящать во все это третье лицо и что он сочтет за особое одолжение со стороны Тома, если тот без разговоров сунет деньги ему в руку.

Мистер Пинч, однако, был сильно озадачен этим необъяснимым, на его взгляд, поведением и сразу же объявил во всеуслышание, что тут, должно быть, вышла какая-то ошибка и что ему не поручали ровно ничего имеющего отношение к мистеру Тиггу или его приятелю. Мистер Тигг выслушал это заявление и попросил весьма решительно, не будет ли мистер Пинч так любезен повторить свои слова; и по мере того как Том повторял их фраза за фразой, со всей возможной ясностью и вразумительностью, мистер Тигг торжественно внимал ему, кивая головой после каждой точки. Когда же Том и вторично закончил свои объяснения, мистер Тигг уселся в кресло и обратился к молодым людям со следующей речью:

– Тогда я скажу вам, в чем дело, джентльмены. Здесь, в этом самом поселке, сейчас пребывает истинное созвездие ума и таланта; и вот, по преступной небрежности моего друга Пекснифа – иначе этого не назовешь, – мистер Слайм доведен до такого ужасного положения, какое только мыслимо в девятнадцатом веке и в современном обществе. В эту самую минуту, здесь, в «Синем Драконе», – заметьте, в трактире, в самом обыкновенном, жалком, низкопробном, насквозь прокуренном трактире для грубой деревенщины, – находится человек, с которым, говоря языком поэта, «сравнения не выдержит никто» и которого не выпускают из этого заведения за неплатеж по счету. Ха-ха! За неплатеж по счету! Я повторяю: за неплатеж по счету! Слыхали мы, конечно, и про «Жития мучеников» Фокса²⁴, и про Звездную Палату, и про Долговую Суд²⁵, но чтобы моего друга Чиви Слайма держали заложником

²⁴ «Жития мучеников» Фокса. – Джон Фокс (1516–1587) – английский богослов, выступавший против католицизма. «Жития мучеников» – популярный в свое время труд о преследовании протестантов в правление королевы Марии Тюдор, прозванной Кровавой (1553–1558).

²⁵ ...про Звездную палату и про Долговую суд. – Звездная палата – название Верховного суда, упраздненного указом

из-за какого-то счета, это уж положительно неслыханное дело, и тут я берусь спорить с кем угодно, будь он живой или мертвый.

Мартин и мистер Пинч посмотрели сперва друг на друга, а потом на мистера Тигга, который, скрестив руки на груди, взирал на них и скорбно и укоризненно.

– Не поймите меня превратно, джентльмены, – сказал он, простирая вперед правую руку. – Если б это вышло из-за чего-нибудь другого, а не из-за счета, я бы еще стерпел и все же не утратил бы уважения к человечеству, но если такого человека, как мой друг Слайм, задерживают из-за счета, который сам по себе ничто и пишется мелом на грифельной доске или даже просто на дверях, – тогда я чувствую, что где-то соскочила такой величины гайка, что расшатались самые основы общества и нельзя более полагаться даже на первопричину всех причин. Короче говоря, джентльмены, – произнес мистер Тигг, сопровождая свои слова красноречивым жестом и встряхивая головой, – если такого человека, как Слайм, задерживают из-за такой мелочи, как грошовый счет, – я отвергаю суеверия веков и ни во что более не верю. Не верю даже в то, что я ни во что не верю, будь я трижды проклят!

– Мне очень жаль, разумеется, – сказал Том после некоторого молчания. – но мистер Пексниф ничего мне не говорил, а без его приказа я бессилен что-либо сделать. Не лучше ли было бы, сэр, если бы вы сами пошли туда... откуда вы пришли... и лично одолжили бы деньги вашему другу?

– Как же это возможно, когда меня и самого задержали по той же причине? – спросил мистер Тигг. – Тем более что из-за возмутительной и, я должен прибавить, преступной небрежности моего друга Пекснифа у меня нет даже денег на дорогу.

Том хотел было напомнить этому джентльмену (который в своем волнении, вероятно, позабыл все на свете), что здесь имеется почтовая контора и если б он написал кому-нибудь из своих друзей или доверенных лиц, чтобы ему выслали денег, то письмо, может быть, и не затерялось бы в дороге; во всяком случае, как ни велика эта опасность, очень и очень стоило бы рискнуть. Однако врожденный такт заставил его воздержаться от намека, и, опять помолчав некоторое время, он спросил:

– Вы говорите, сэр, что вас также задержали?

– Подите сюда, – сказал мистер Тигг, вставая. – Вы ничего не будете иметь против, если я открою на минутку это окно?

– Разумеется, нет, – ответил Том.

– Отлично, – сказал мистер Тигг, поднимая раму. – Видите вы там внизу человека в красном шейном платке и без жилета?

– Конечно, вижу, – воскликнул Том. – Это Марк Тэпли.

– Вот как, Марк Тэпли? – сказал мистер Тигг. – Этот ваш Марк Тэпли был так любезен, что не только проводил меня сюда, но еще и дожидается, чтобы проводить меня обратно. И совершенно напрасно он так любезен, – прибавил мистер Тигг, расправляя усы, – скажу вам, сэр, что лучше было бы для Марка Тэпли еще во младенчестве захлебнуться материнским молоком, чем дожить до сего дня.

Хотя мистера Пинча и устрасила эта ужасная угроза, однако у него все же хватило духу крикнуть Марку Тэпли, чтобы он вошел в дом и поднялся наверх, и тот повиновался оклику с такой быстротой, что не успели Том и мистер Тигг убрать свои головы из окна и снова закрыть его, как обвиняемый уже предстал перед ними.

Долгого парламента в 1641 году и ставшего синонимом суда жестокого и несправедливого. Члены этого суда собирались в одном из залов королевского дворца в Вестминстере, потолок которого был украшен золотыми звездами. Долговой суд – специальные суды по взиманию небольших долгов; были учреждены в правление короля Генриха VII. По решению этих судов несостоятельные должники отправлялись в долговые тюрьмы. Тюремное заключение за долги было отменено лишь в 1869 году.

– Скажите, Марк! – обратился к нему мистер Пинч. – Боже мой, что такое могло произойти между миссис Льюпин и этим джентльменом?

– Каким джентльменом, сэр? – сказал Марк. – Я здесь не вижу никакого джентльмена, сэр, кроме вас и вновь прибывшего джентльмена, – и он довольно неуклюже поклонился Мартину, – а ведь, насколько мне известно, ничего особенного не произошло между вами обоими и миссис Льюпин.

– Какие пустяки, Марк! – воскликнул Том. – Вы же видите мистера...

– Тигга, – вставил этот джентльмен. – Погодите. Я еще его уничтожу. Всему свое время.

– Ах, этого! – возразил Марк с презрительным задором. – Ну да, его-то я вижу. И видел бы еще лучше, если б он побрился и постригся.

Мистер Тигг свирепо затряс головой и ударил себя кулаком в грудь.

– Нечего, нечего тут, – сказал Марк. – Сколько ни стучите, все равно толку не будет. Меня вы не проведете. Ничего у вас там нет, кроме ваты, да и та грязная.

– Ну, Марк, – вмешался мистер Пинч, предупреждая открытие военных действий, – ответьте же на мой вопрос. Или вы сейчас не в духе?

– Да нет, сэр, с чего же мне быть не в духе? – ответил Марк, ухмыляясь. – Не так-то легко быть веселым, когда по свету разгуливают такие вот молодчики, аки львы рыкающие, если только бывает такая порода – один рев да грива. Что может быть между ним и миссис Льюпин? Что же другое, кроме счета! И я еще думаю, что миссис Льюпин зря им мирволит, надо бы с них брать втридорога за то, что они срамят «Дракон». По-моему, выходит так. У себя в доме я бы такого мошенника и держать не стал, даже за бешеную цену, какую дерут на ярмарках. От одного его вида может скиснуть пиво в бочках! Да и скисло бы, кабы могло понимать!

– А ведь вы так и не ответили на мой вопрос, Марк, – заметил мистер Пинч.

– Да что ж, сэр, – сказал Марк, – тут особенно и отвечать нечего. Приезжают они с приятелем, останавливаются в «Луне и Звездах», живут и по счету не платят, потом переезжают к нам, живут и тоже не платят. Что не платят, это дело обыкновенное, мистер Пинч, мы не против этого, – а не нравится нам, как он себя держит, этот молодчик. Все ему не так, все никуда не годится, все женщины, видите ли, по нем с ума сходят, – только подмигнет, они уже на седьмом небе; все мужчины для того только и созданы, чтобы быть у него на посылках. Это еще с полбеда, а нынче утром он мне говорит, как обыкновенно, медовым голосом: «Мы вечером уезжаем, любезный». – «Уезжаете, сударь? – говорю. – Не прикажете ли приготовить вам счет?» – «Нет, любезный, говорит, не трудитесь. Я велю Пекснифу, чтоб он об этом позаботился». На это «Дракон» ему отвечает: «Очень вам благодарны, сударь, за такую честь, но только как мы ничего хорошего от вас не видали, а багажа с вами нет (мистер Пексниф уехал, вам это, сударь, может, еще неизвестно?), то мы предпочли бы что-нибудь более существенное». Вот как обстоит дело. И я сошлюсь на любую даму или джентльмена, не лишенных простого здравого смысла, – заключил мистер Тэпли, указывая шляпой на мистера Тигга, – ну, не противно ли смотреть на этого молодчика?

– Позвольте спросить, – прервал Мартин эту откровенную речь и предупреждая ответные проклятия мистера Тигга, – как велик весь долг?

– В смысле денег очень невелик, сэр, – отвечал Марк. – Фунта три с чем-нибудь. Да дело-то не в деньгах, а в его...

– Да, да, вы уже говорили, – сказал Мартин. – Пинч, на два слова.

– Что такое? – спросил Том, отходя с ним в угол комнаты.

– Да просто в том – стыдно сказать, что мистер Слайм мой родственник, о котором я никогда ничего хорошего не слышал, и что мне хочется его выпроводить отсюда; полагаю, три-четыре фунта не жаль за это отдать. У вас, я думаю, не найдется денег заплатить по счету?

Том Пинч замотал головой так энергично, что не оставалось никаких сомнений в его полной искренности.

– Вот беда, у меня тоже ничего нет, и если б вы были при деньгах, я бы у вас занял. А нельзя ли сказать хозяйке, что мы берем долг на себя? Я думаю, это будет все равно.

– Ну, еще бы! – сказал Том. – Она меня знает, слава богу!

– Тогда пойдем сейчас же к ней и так и скажем: чем скорей мы избавимся от его общества, тем будет лучше. До сих пор вы разговаривали с этим джентльменом, так, может быть, вы и сообщите ему, какие у нас намерения, хорошо?

Мистер Пинч согласился и тут же довел это до сведения мистера Тигга, который стал горячо пожимать ему руку, уверяя, что теперь он снова готов уверовать во все высокое и святое. Их помощь, говорил он, дорога ему не тем, что временно облегчит его удел, но прежде всего тем, что она вновь подтверждает высокий принцип, согласно которому избранные натуры всегда и везде сочувствуют избранным натурам, а истинное величие души находит отзвук в истинном величии души. Это показывает, говорил он, что они тоже умеют ценить талант, – хотя, поскольку дело касается Слайма, в благородном металле заметна лигатура. – и он благодарит их от имени друга так же тепло и сердечно, как если бы благодарил за самого себя. Тут все двинулись к лестнице, и, будучи прерван на середине речи, он, во избежание дальнейшей помехи, уже при выходе на улицу ухватил мистера Пинча за лацкан пальто и занимал его высокопоучительной беседой всю дорогу до самого «Дракона», куда следом за ними явились и Марк Тэпли с новым учеником.

Румяная хозяйка едва ли нуждалась в поручительстве мистера Пинча, чтобы отпустить на все четыре стороны постояльцев, от которых была рада избавиться любой ценой. И в самом деле, кратковременным лишением свободы они были обязаны прежде всего мистеру Тэпли, который по своему характеру видеть не мог благородных оборванцев, охотников пожить на чужой счет, и особенно невзлюбил мистера Тигга и его приятеля как образцовых представителей этой породы. Таким образом, без труда уладив дело, мистер Пинч с Мартином ушли бы немедленно, если бы не настойчивые просьбы мистера Тигга оказать ему честь и познакомиться с его другом Слаймом, которым было настолько трудно противиться, что, уступая отчасти этим просьбам, а отчасти собственному любопытству, они согласились, наконец, предстать пред светлые очи этого джентльмена.

Мистер Слайм сидел в мрачном раздумье за графинчиком с остатками вчерашнего коньяка, погруженный в глубокомысленное занятие: мокрой ножкой своей рюмки он отпечатывал на столе кружок за кружком. Мистер Слайм имел жалкий и опустившийся вид, но в свое время, что был отъявленный хвастун, выдававший себя за человека с тонким вкусом и редкими талантами. Для того чтобы прослыть знатоком в области изящного, капитал требуется небольшой и всякому доступный: стоит только задирать нос повыше и презрительно кривить губы, изображая снисходительную усмешку, – и в любом случае этого хватит с избытком. Нелегкая, однако, дернула незадачливого отпрыска семьи Чезлвитов, от природы ленивого и не способного ни к какому усидчивому труду, растранив все свои денежки, объявить себя, пропитания ради, наставником в вопросах изящного вкуса; обнаружив, однако, хотя и слишком поздно, что для этого занятия нужно побольше данных, чем у него имеется, он быстро опустился до своего нынешнего уровня, и уже ничего не оставалось в нем прежнего, кроме хвастовства и желчи, – вряд ли мог бы он существовать самостоятельно и отдельно от своего приятеля Тигга. И теперь он был так жалок и низок, соединя плаксивость с нахальством и заносчивость с пресмыкательством, – что даже его друг и приживал, стоявший рядом с ним, по контрасту возвышался до уровня человека.

– Чив, – сказал мистер Тигг, хлопая его по спине, – мистера Пекснифа не было дома, и я уладил наше дельце с мистером Пинчем и его другом. Мистер Пипч с другом – мистер Чиви Слайм! Чив, мистер Пинч с другом!

– Нечего сказать, приятно знакомиться при таких обстоятельствах, – сказал Чиви Слайм, глядя на Тома Пинча налитыми кровью глазами. – Я самый жалкий из смертных, поверьте мне!

Том, видя, в каком он состоянии, попросил его не беспокоиться и после неловкой паузы вышел вместе с Мартином. Но мистер Тигг так усиленно заклинал их кашлем и разными знаками задержаться в темном углу за дверью, что они его послушались.

– Клянусь, – воскликнул мистер Слайм, бессильно стукнув по столу кулаком, а затем подперев голову рукой и утирая пьяные слезы, – я самое несчастное существо, какое известно миру. Общество в заговоре против меня. Образованней меня нет человека на свете; какие сведения, какие просвещенные воззрения на все предметы, а посмотрите, как я живу! Разве сейчас, в эту самую минуту, я не принужден одолжаться двум посторонним лицам из-за трактирного счета!

Мистер Тигг наполнил рюмку своего друга, подал ему и многозначительно кивнул гостям в знак того, что сейчас они его увидят в гораздо более выгодном свете.

– Одолжаться двум посторонним лицам из-за трактирного счета, каково? – повторил мистер Слайм, скорбно прикладываясь к рюмочке. – Очень мило! А тысячи самозванцев тем временем стяжали себе славу! Люди, которые мне и в подметки не... Тигг, призываю тебя в свидетели, что самую последнюю собаку так не травили, как травят меня.

Испустив нечто вроде завывания, живо напомнившего слушателям только что названное животное в крайней степени унижения, мистер Слайм опять поднес рюмку ко рту. Как видно, он почерпнул в этом некоторое утешение, потому что, ставя рюмку на стол, презрительно усмехнулся. Тут мистер Тигг опять начал усиленно и весьма выразительно кивать гостям, давая этим понять, что сейчас они узрят Чива во всем его величии.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся мистер Слайм. – Одолжаться двум посторонним из-за трактирного счета! А ведь, кажется, Тигг, у меня есть богатый дядюшка, который мог бы купить полсотни чужих дядюшек? Кажется мне это или нет? Ведь я как будто из приличной семьи? Так это или не так? Я ведь не какая-нибудь посредственность без капли дарования. Скажи, да или нет?

– Дорогой Чив, ты среди человечества – американское алоэ, которое цветет всего один раз в столетие! – отвечал мистер Тигг.

– Ха-ха-ха! – опять рассмеялся мистер Слайм. – Одолжаться двум посторонним из-за трактирного счета! И это мне, мне! Одолжаться двум архитектурским ученикам – людям, которые меряют землю железными цепями и строят дома, как простые каменщики! Назовите мне фамилии этих двух учеников. Как они смеют делать мне одолжения!

Мистер Тигг был в совершенном восторге от этой благородной черты в характере своего друга, что и дал понять Тому Пинчу при помощи маленького мимического балета, сочиненного экспромтом для этой цели.

– Они у меня узнают, все узнают, – кричал мистер Слайм, – что я не из тех подлых, низкопоклонных смиренников, с которыми они привыкли иметь дело! У меня независимый характер. У меня пылкое сердце. У меня душа, которая выше всяких низменных расчетов.

– Ах, Чив, Чив, – бормотал мистер Тигг, – какая благородная, какая независимая натура, Чив!

– Ступайте и выполните ваш долг, сэр, – сурово произнес мистер Слайм, – займите денег на дорожные расходы; и у кого бы вы их ни заняли, дайте там понять, что я по натуре горд и независим и адски утонченные фибры души моей не переносят никакого покровительства. Слышите? Скажите там, что я их всех ненавижу и только благодаря этому сохраняю еще уважение к самому себе. Скажите, что ни один человек на свете не уважал так самого себя, как я себя уважаю!

Он мог бы прибавить, что ненавидит два рода людей: всех тех, кто оказывает ему помощь, и всех тех, кто больше преуспел в жизни, ибо и в том и в другом случае их превосходство было оскорблением для человека столь замечательных достоинств. Однако он этого не сказал, и с вышеприведенными заключительными словами мистер Слайм – слишком гордый, чтобы работать, попрошайничать, одолжаться или красть, допуская, однако, чтобы за него работали, попрошайничали, одолжались и крали другие, слишком заносчивый, чтобы лизать руку, питавшую его в черный день, однако достаточно подлый, чтобы куснуть или рвануть исподтишка, – с этими весьма удачными заключительными словами мистер Слайм повалился головой на стол и заснул пьяным сном.

– Где вы найдете, – воскликнул мистер Тигг, догоняя молодых людей у порога и осторожно притворяя за собой дверь, – такую независимость духа, как у этого необыкновенного человека? Где вы найдете такого римлянина, как наш друг Чив? Где вы найдете такой чисто классический склад ума, такую простоту характера, достойную тоги? Где вы найдете человека с таким неистощимым красноречием? Я спрашиваю вас, господа, разве он не мог бы сидеть в древности на треножнике и прорицать без конца, лишь бы ему давали побольше джина с водой за общественный счет?

Мистер Пинч с обычной кротостью собирался было что-то возразить на последнее замечание Тигга, но, увидев, что его товарищ уже сошел с лестницы, двинулся за ним.

– Разве вы уже уходите, мистер Пинч? – спросил Тигг.

– Да, благодарю вас, – ответил Том. – Пожалуйста, не провожайте меня.

– А мне, знаете ли, хотелось бы сказать вам два слова наедине, мистер Пинч, – сказал Тигг, не отставая от него. – Одна минутка в кегельбане, проведенная в вашем обществе, весьма облегчила бы мне душу. Смею ли просить вас о таком одолжении?

– Да, разумеется, – ответил Том, – если вы этого желаете. – И он последовал за мистером Тиггом в названное им убежище; добравшись туда, сей джентльмен извлек из своей шляпы что-то похожее на остатки допотопного носового платка и вытер себе глаза.

– Сегодня вы видели меня, – сказал мистер Тигг, – в невыгодном свете.

– Не будем говорить об этом, – сказал Том, – прошу вас.

– Да, да, в невыгодном! – воскликнул мистер Тигг. – Я на этом настаиваю. Если бы вам довелось видеть меня перед моим полком на африканском побережье, во главе атакующего каре, с детьми, женщинами и полковой казной посередине, вы бы меня просто не узнали. Тогда вы почувствовали бы ко мне уважение, сэр.

У Тома Пинча были свои понятия о том, что такое доблесть, и потому эта картина не так его потрясла, как хотелось бы мистеру Тиггу.

– Впрочем, не беда! – воскликнул этот джентльмен. – Один школьник в письме к родителям, описывая чай с молоком, которым его угощают, выразился так: «Это сплошная слабость». Повторяю эти слова, относя их к самому себе в настоящее время, и прошу у вас извинения. Сэр, вы видели моего друга Слайма?

– Конечно, видел, – сказал мистер Пинч.

– Сэр, мой друг Слайм произвел на вас впечатление?

– Не очень приятное, должен сказать, – ответил Том после некоторого колебания.

– Я огорчен, но не удивляюсь, – воскликнул Тигг, хватая его за оба лацкана, – ибо вы пришли к тому же заключению, что и я. Однако, мистер Пинч, хотя я чело-пек грубый и легкомысленный, я уважаю Разум. Следуя за моим другом, я выражаю уважение к Разуму. К вам, предпочтительно перед всеми людьми, обращаюсь я, мистер Пинч, от лица Разума, который не может отвоевать себе место под солнцем. Итак, сэр, не ради себя, – я не имею к вам притязаний, – но ради моего друга, сокрушенного горем, чувствительного и независимого друга, который их имеет, – я прошу у вас займы три полкроны, решительно и не краснея. Прошу, ибо имею на это право. А если я прибавлю, что они будут возвращены вам

по почте не далее как на этой же неделе, то я предчувствую, что вы меня даже осудите за эту меркантильную оговорку.

Мистер Пинч достал из кармана старомодный кошелек красной кожи со стальным замочком, вероятно принадлежавший когда-то его покойной бабушке. В нем был один полу-соверен и ничего больше. Все богатство Тома до следующей четверти года.

– Одну минуту, – воскликнул мистер Тигг, зорко следивший за этой процедурой. – Я только что хотел сказать, чтобы вы лучше дали эти деньги золотом, для удобства пересылки. Благодарю вас. Адресовать, я думаю, мистеру Пинчу в доме мистера Пекснифа – так дойдет?

– Дойдет, конечно, – сказал Том. – Пожалуйста, не забудьте прибавить «эсквайр» к фамилии мистера Пекснифа²⁶, это будет лучше. На мое имя, знаете ли, в доме Сета Пекснифа эсквайра.

– Сета Пекснифа эсквайра, – повторил мистер Тигг, старательно записывая адрес огрызком карандаша. – Мы, кажется, говорили – на этой неделе?

– Да, но можно и в понедельник, – заметил Том.

– Нет, нет, уж извините. В понедельник никак нельзя, – сказал мистер Тигг. – Если мы условились на этой неделе, значит суббота последний день. Ведь мы условились на этой неделе?

– Ну, если вы уж так хотите, – сказал Том, – пускай будет на этой.

Мистер Тигг приписал эти условия к своей памятке, сурово нахмурившись, прочел про себя запись и, для большей солидности и деловитости, скрепил ее своими инициалами. Покончив с этим, он заверил мистера Пинча, что теперь все в полном порядке, и, пожав ему руку с большим чувством, удалился.

У Тома имелись весьма основательные опасения насчет того, что Мартин будет вышучивать эти переговоры, и ему хотелось на время избежать его общества. Поэтому он прогулялся несколько раз взад и вперед по кегельбану и вошел в дом только после ухода мистера Тигга с приятелем, как раз в ту минуту, когда Марк с новым учеником смотрели на них в окно.

– Я только что говорил, сэр, что если бы можно было этим прокормиться, – заметил Марк, указывая пальцем вслед недавним гостям, – вот самое подходящее для меня место. Служить таким молодчикам, сэр, это будет почище, чем копать могилы.

– А еще того лучше – оставайтесь здесь, Марк, – отвечал Том. – Послушайтесь моего совета: оставайтесь в тихой пристани.

– Теперь уже поздно слушаться, сэр, – сказал Марк. – Я объявил ей. Уезжаю завтра утром.

– Уезжаете! – воскликнул мистер Пинч. – Куда же?

– В Лондон, сэр.

– Что же вы там будете делать? – спросил мистер Пинч.

– Ну, я еще и сам не знаю, сэр. В тот день, когда я вам открылся, ничего не подвернулось подходящего. О каком занятии ни подумаю, все уж очень легко, – что за честь быть веселым при такой работе. Наняться, что ли, к кому-нибудь в услужение, сэр? Может, какое-нибудь очень строгое семейство пришлось бы мне по плечу, мистер Пинч?

– А может быть, вы, Марк, пришли бы не ко двору в очень строгом семействе?

– Возможное дело, сэр. Ежели бы я попал к каким-нибудь особо придирчивым хозяевам, я бы еще мог показать себя; да ведь как это узнаешь наперед, нельзя же напечатать в

²⁶ Не забудьте прибавить «эсквайр» к фамилии мистера Пекснифа. – В эпоху феодализма звание «эсквайр» получали оруженосцы рыцарей. Во времена Диккенса слово «эсквайр» утратило это первоначальное значение и его прибавление к фамилии стало указывать на привилегированное общественное положение. В письмах и официальных бумагах так именвались адвокаты, врачи, писатели, государственные чиновники, помещики и просто зажиточные буржуа. В настоящее время слово эсквайр вышло из употребления.

газетах, что вот-де молодой человек желает поступить в услужение и не столько гонится за жалованьем, сколько за придирчивыми хозяевами; ведь этого нельзя, сэр?

– Да, пожалуй, – сказал мистер Пинч, – мне тоже кажется, что нельзя.

– Завистливое семейство, – продолжал Марк в раздумье, – или сварливое семейство, или зложелательное семейство, или, на худой конец, очень уж прижимистое семейство, – вот тут я еще мог бы показать себя. Кто бы мне подошел больше всякого другого, так это тот старый джентльмен, что захворал у нас; ну и характерец, честное слово! Да что уж тут, подождем – увидим, авось что и подвернется, буду надеяться на самое худшее, сэр.

– Значит, вы твердо решили уехать? – спросил мистер Пинч.

– Сундук мой уже уехал с фургоном, сэр, а сам я уйду пешком завтра поутру и сяду в дилижанс, когда он меня нагонит по дороге. Позвольте пожелать вам всего лучшего, мистер Пинч, и вам тоже, сэр, – будьте здоровы и счастливы!

Друзья со смехом пожелали ему того же и отправились домой рука об руку; по дороге мистер Пинч рассказал Мартину о беспокойном и странном нраве Марка Тэпли – все то, что уже известно читателю.

Тем временем Марк, предвидя, что его хозяйка находится в сильном расстройстве чувств и что сам он вряд ли может отвечать за последствия длительной беседы с глазу на глаз, старался, как только мог, не встречаться с нею в продолжение всего дня и вечера. Этой его тактике весьма способствовало большое стечение посетителей в «Синем Драконе», ибо после того как разнесся слух об отъезде Марка, в распивочной весь вечер толкся народ, и гости усердно пили за его здоровье, то и дело чокаясь кружками. Наконец двери заперли на ночь, и Марк, видя, что теперь ему не отвертеться, собрался с духом и решительной походкой направился к дверям распивочной.

«Стоит мне только взглянуть на нее, – говорил себе Марк, – и я пропал. Чувствую, что тут мне и крышка!»

– Наконец-то явился, – приветствовала его миссис Льюпин.

– Да уж, явился вот, – сказал Марк.

– Значит, вы нас покидаете, Марк? – спросила миссис Льюпин.

– Да ведь что ж, приходится, – отвечал Марк, уставясь в землю.

– А я-то думала, – говорила хозяйка, проявляя самую пленительную застенчивость, – что вы... привязались... к «Дракону»...

– Я и то привязался, – сказал Марк.

– Тогда, – вполне резонно продолжала хозяйка, – Зачем же вы его покидаете?

Но на этот вопрос Марк и вовсе не ответил, даже после того как его повторили, и потому миссис Льюпин, передавая ему жалованье из рук в руки, спросила – не то чтобы неласково, нет, нет, совсем наоборот, – чего бы ему больше хотелось?

Всем известно, что есть вещи, которых живой человек не в силах вытерпеть. Такой вопрос, как этот, заданный таким порядком, в такое время и такой женщиной, следовало отнести именно к этой категории, по крайней мере поскольку дело касалось Марка. Он невольно поднял глаза, а подняв их однажды, уже не мог опустить, ибо сколько ни есть на свете полных, румяных, веселых, ясноглазых хозяек с ямочками на щеках – воплощение всего самого лучшего в них, самый, так сказать, цвет и совершенство среди хозяек стояло сейчас перед Марком.

– Вот что я вам скажу, – начал Марк, мигом сбрасывая с себя всякое замешательство и обнимая хозяйку за талию, отчего она нисколько не встревожилась, зная, какой он славный малый. – Если бы я думал только о том, чего мне хочется, я выбрал бы вас. Если бы я думал о себе, о том, что для меня всего лучше, я выбрал бы вас. Если бы я выбрал то, что с радостью выбрали бы девятнадцать человек из двадцати, не пожалев отдать за это жизнь, я выбрал бы вас. Да, вас! – воскликнул мистер Тэпли, выразительно потрянув головой и, позабывшись

на минуту, уставился пристальным взглядом на сочные губки миссис Льюпин. – И ни один мужчина не удивился бы моему выбору!

Миссис Льюпин ответила, что он ее изумляет. Она просто поражается, как он может говорить такие слова. Она никак этого от него не ожидала.

– Да я и сам от себя этого не ожидал, – сказал Марк, поднимая брови с радостно-изумленным выражением. – До сих пор я думал, что нам с вами надо расстаться без всяких объяснений; я и хотел только проститься, для того и пришел сейчас; а это в вас самих есть что-то такое, что заставляет человека говорить и думать по-честному. Давайте поговорим, только, знаете ли, условимся наперед, – это он прибавил уже нисколько не шутя, чтобы ошибиться было решительно невозможно, – ухаживать за вами я не буду, этого вы не бойтесь.

На одну только секунду легкая тень – самая легкая и ни в коем случае не мрачная – промелькнула в ясных глазах хозяйки. Но она сейчас же рассеялась в смехе, идущем от самого сердца.

– Чего уж лучше! – сказала она. – Только если вы не собираетесь за мной ухаживать, так уберите руку прочь.

– Господи, это еще зачем? – спросил Марк. – Ничего плохого тут нет.

– Конечно, нет, – возразила хозяйка, – а не то я бы не позволила.

– Вот и прекрасно, – заметил Марк. – Тогда пускай рука остается на месте.

Это было так резонно, что хозяйка опять засмеялась и, не отводя его руки, велела ему говорить все, что он собирался сказать, но только поскорее. А все-таки он бессовестный малый, прибавила она.

– Ха-ха! Я и сам так думаю, – воскликнул Марк, – а раньше это мне и в голову не приходило. Сегодня я могу сказать все что угодно.

– Ну, коли хочется, так говорите, что вы там собирались сказать, только поживее, – отвечала хозяйка, – а то мне спать пора.

– Вот что, милая вы моя голубушка, – начал Марк, – потому что милее вас никогда еще не было на свете женщины, – пускай кто-нибудь попробует сказать, что была! – подумайте, что может выйти, если мы с вами...

– Ах, пустяки какие! – перебила его миссис Льюпин. – И не поминайте про это больше.

– Нет, нет, не пустяки, – отвечал Марк, – вы все-таки послушайте. Что может выйти, если мы с вами поженимся? Раз я не могу быть счастлив и доволен теперь, в этом веселом «Драконе», можно ли ожидать, что я буду доволен тогда? Ни в коем случае. Очень хорошо. А значит вы, даже при вашем ровном характере, будете вечно тосковать и тревожиться, вечно душа у вас будет не на месте, все станете думать, не слишком ли вы постарели на мой взгляд, все вам будет чудиться, что я словно цепью прикован к порогу «Дракона» и рвусь на свободу. Не знаю, так ли оно будет, или не так, – продолжал Марк, – а только я непоседа, и это мне известно. Люблю перемены. Мне все думается, что при моем крепком здоровье и веселом нраве больше было бы для меня чести веселиться и шутить там, где все наводит на человека грусть. Может, это с моей стороны ошибка, понимаете ли, только уж ее ничем не исправить, разве только испытать на деле, как оно получится. Так не лучше ли мне уехать, особенно после того как вы, не чинясь, помогли мне все это сказать, и мы можем расстаться добрыми друзьями, какими были с того дня, когда я впервые ступил на порог вот этого благородного «Дракона», которого, – заключил Марк, – я не перестану любить и почитать до самой моей смерти!

Хозяйка притихла ненадолго, но очень скоро встрепенулась, взяла Марка за обе руки и ласково их пожала.

– А все дело в том, что вы хороший человек, – сказала она, глядя ему в лицо с улыбкой, которая для нее была, пожалуй, несколько грустна. – И я думаю, что лучшего друга у меня никогда в жизни не было.

– Ну, что до этого, – отвечал Марк, – так это, знаете ли, пустяки. Боже ты мой, господи, – прибавил он, глядя на хозяйку восхищенными глазами, – но если вы и вправду так думаете, какое множество выгодных женихов вы доведете до отчаяния!

При этих лестных словах она опять засмеялась, еще раз пожала ему обе руки, попросив вспомнить о ней, когда ему понадобится друг, и, быстро отвернувшись, побежала вверх по узенькой лестнице.

– И еще напевает на ходу, – сказал Марк, прислушиваясь, – чтобы я, чего доброго, не подумал, будто она огорчена, и не повесил бы носа. Да, оказывается, не легкое это дело быть веселым, прямо скажу.

И с этой утешительной мыслью, высказанной весьма унылым тоном, он отправился спать, в настроении, которое никак нельзя было назвать веселым.

На другое утро он поднялся спозаранку и вышел из дому с первыми лучами солнца. Однако это не помогло: вся улица встала, чтобы проводить Марка Тэпли; мальчишки, собаки, маленькие дети, старики, занятые люди и бездельники – все были тут, все кричали: «Прощай, Марк!» – каждый на свой лад, и все жалели, что он уезжает. Неизвестно по какой причине, ему все казалось, что его бывшая хозяйка тоже смотрит украдкой из окна своей спальни, но он никак не мог набраться духу и оглянуться назад.

– Прощай и ты, и все прощайте! – говорил Марк, размахивая надетой на палку шляпой и быстро шагая по узенькой улице. – Отличные ребята эти колесники – ура! А вот и мясника собака выбегает из палисадника – тубо, дружок! Вон и мистер Пинч пошел играть на органе – прощайте, сэр! И такса из дома напротив тоже тут. – Ну, ну, будет тебе, старуха! И ребятшек видимо-невидимо, хватит для поддержания рода человеческого на веки вечные. – Прощайте, мальчики и девочки! Вот уж это делает мне честь. Наконец-то нашлось хоть что-нибудь мне по плечу. Обыкновенному человеку в таких обстоятельствах пришлось бы куда как плохо, ну, а я человек веселый, хотя и не так весел, как хотелось бы, а все-таки около того. Прощайте, прощайте!

Глава VIII

сопровождает мистера Пекснифа и, его прелестных дочерей в город Лондон и повествует о том, что произошло с ними по дороге

Когда мистер Пексниф и обе молодые особы сели в дилижанс на перекрестке, он оказался совсем пустым внутри, что было весьма утешительно, в особенности потому, что снаружи все было полно и пассажиры, видимо, порядком промерзли. Ибо, как справедливо заметил мистер Пексниф своим дочерям, зарыв ноги поглубже в солому, закутавшись до самого подбородка и подняв оба окна, в холодную погоду всегда приятно бывает знать, что многим другим людям далеко не так тепло, как нам самим. И это, сказал он, вполне естественно и как нельзя более разумно не только в отношении дилижансов, но также и многих других общественных установлений. – Ибо, – заметил он, – если бы все были сыты и тепло одеты, мы лишились бы удовольствия восхищаться той стойкостью, с которой иные сословия переносят голод и холод. А если бы нам жилось не лучше, чем всем прочим, что стало бы с нашим чувством благодарности, которое, – со слезами на глазах произнес мистер Пексниф, показывая кулак нищему, собиравшемуся прицепиться сзади кареты, – есть одно из самых святых чувств нашей низменной природы.

Дочери слушали эти высоконравственные наставления, исходившие из родительских уст, с подобающим почтением, выражая свое согласие улыбкой. Чтобы лучше поддерживать и лелеять священное пламя благодарности в своей груди, мистер Пексниф обратился к старшей дочери и побеспокоил ее просьбой передать ему бутылку с бренди, хотя путешествие только еще начиналось. И, приложившись к узкому горлышку сосуда, он довольно основательно подкрепился.

– Что мы такое? – спросил мистер Пексниф, – как не дилижансы? Одни из нас еле-еле плетутся...

– Господи, что это вы, папа! – воскликнула Чарити.

– Одни из нас, говорю я, еле-еле плетутся, – повторил ее родитель, одушевляясь все более, – другие, наоборот, мчатся на перекладных. Наши страсти – это лошади, и притом необузданные!

– Ну что вы это, папа! – воскликнули обе дочери в один голос. – Даже слушать неприятно.

– Да, необузданные! – повторил мистер Пексниф так решительно, что в эту минуту, можно сказать, сам проявил некоторую моральную необузданность. – Добродетель – наш тормоз. Мы отправляемся в путь из «Материнских объятий» и доезжаем до «Лопаты могильщика».

Тут силы мистера Пекснифа истощились, и он был вынужден снова подкрепиться. Подкрепившись, он плотно заткнул сосуд пробкой, с таким видом, будто затыкал фонтан красноречия, исчерпав предмет беседы, после чего заснул на целых три перегона.

Люди, засыпая в дилижансе, имеют обыкновение просыпаться не в духе, чувствуя, что ноги у них затекли, а мозоли ноют, как никогда. Мистер Пексниф, не будучи избавлен от общей для всех смертных участи, почувствовал себя после легкой дремоты жертвой этих немощей до такой степени, что не в силах был противиться искушению выместить свои страдания на дочерях, и уж начал было лягаться и производить ногами разные другие неожи-

данные движения, как вдруг дилижанс остановился, и после некоторой задержки дверца его отворилась.

– Ну, так смотрите же, – произнес в темноте чей-то резкий, пронзительный голос. – Мы с сыном садимся внутрь, потому что на имперiale все полно, но вы согласились взять с нас ту же цену, что и за наружные места. Решено и подписано, мы дороже не заплатим. Так, что ли?

– Ладно, сэр, – ответил кондуктор.

– Внутри кто-нибудь есть? – осведомился тот же голос.

– Трое пассажиров, – сообщил кондуктор.

– Тогда я попрошу этих трех пассажиров засвидетельствовать нашу сделку, если они будут настолько любезны, – сказал тот же голос. – Ну, сынок, а теперь, я думаю, мы можем садиться, ничего не опасаясь.

И в соответствии с этими словами два пассажира заняли места в дилижансе, которому парламентским актом торжественно разрешалось перевозить до шести человек, при условии если они окажутся налицо.

– Вот это повезло! – прошептал старик, когда дилижанс тронулся с места. – Это ты ловко сообразил. Хи-хи-хи! Да мы бы и не могли ехать снаружи. Я бы умер от ревматизма!

Пришло ли в голову почтительному сыну, что он несколько перестарался, заботясь о продлении родительской жизни, или холод испортил ему настроение, неизвестно. Только вместо ответа он угостил своего папашу основательным толчком в бок, отчего добрый старик раскашлялся на целых пять минут без перерыва и довел мистера Пекснифа до такой степени раздражения, что у того вырвалось наконец – и совершенно неожиданно:

– Нет места! В этом дилижансе нет места для джентльмена с такой простудой!

– Это у меня не простуда, – ответил старик после некоторого молчания, – это у меня грудной кашель, Пексниф.

Голос и манера говорить, невозмутимое спокойствие говорившего, присутствие сына и знакомство с мистером Пекснифом – все это взятое вместе помогло определить личность незнакомца настолько, что никакая ошибка была невозможна.

– Гм! Я думал, что адресуюсь к незнакомцу, – заметил мистер Пексниф, возвращаясь к обычной своей кротости. – А оказывается, я адресуюсь к родственнику. Пусть мистер Энтони Чезлвит и сын его мистер Джонас, – это они, дорогие мои дети, путешествуют с нами, – извинят меня за резкие, по-видимому, слова. В мои намерения не входило оскорблять чувства людей, связанных со мною родственными узами. Я, может быть, и лицемер, – ядовито заметил мистер Пексниф, – но все-таки не скотина.

– Ну-ну! – сказал старик. – Что в этом слове такого особенного, Пексниф? Подумаешь, лицемер! Да мы и все лицемеры. Кто из нас в тот день не лицемерил? Если б я не думал, что мы все стоим друг друга, я бы вас не обозвал этим словом. Да мы бы тогда и не собрались вместе, если бы не были лицемерами. Единственная разница между вами и всеми остальными... – хотите я вам сейчас скажу, – в чем разница между вами и всеми остальными?

– Если вам угодно, уважаемый сэр, если вам угодно.

– Вот ведь что в вас всего досаднее, – продолжал старик, – никогда у вас нет ни союзников, ни товарищей в ваших плутнях; вы всякого проведете, даже и того, кто сам на эти дела мастер, а держитесь так, будто бы вы – хи-хи-хи! – будто бы вы и сами себе верите. Я бы мог держать пари на изрядную сумму, – продолжал старик, – если бы я вообще держал пари, только я этого никогда не делал и не сделаю, – что вы даже перед родными дочерьми ломаете комедию и разыгрываете святого. А я вот, если задумал какое-нибудь дельце, сейчас же все рассказываю Джонасу, и мы вместе его обсуждаем. Вы на меня не обиделись, Пексниф?

– Помилуйте, уважаемый сэр! – воскликнул мистер Пексниф таким тоном, как будто выслушал самый лестный комплимент, какой только можно себе представить.

– В Лондон направляетесь, мистер Пексниф? – спросил сын.

– Да, мистер Джонас, в Лондон. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие всю дорогу ехать в вашем обществе?

– Ну, ей-богу, на этот счет вы уж лучше спросите папашу, – сказал Джонас. – Я не хочу проговариваться. А то как бы чего не вышло.

Мистера Пекснифа, надо сказать, очень развеселил такой ответ. Когда его веселье несколько приутихло, мистер Джонас дал ему понять, что они с родителем действительно едут к себе домой, в столицу, и что они находятся в этих местах со дня достопамятного семейного собрания, имея в виду некоторое небезвыгодное помещение капитала, ради чего они и прибыли сюда, ибо, как сообщил мистер Джонас, у них с папашей в обычае, ежели есть такая возможность – подшибать одним камнем двух воробьев сразу и бросать кильку в воду только в том случае, если есть надежда поймать на нее кита. Сообщив эти скудные, но содержательные сведения, Джонас сказал, что «если Пекснифу все равно, он пересадит его к папаше, а сам поболтает с барышнями», и, во исполнение этого учтивого намерения, освободив место рядом с почтенным старичком, устроился в уголке напротив, бок о бок с прелестной мисс Мерси.

Воспитание мистера Джонаса было самое строгое и с колыбели имело в виду главным образом корысть. Первое слово, которое он научился складывать, было «деньги», а второе (когда он добрался до трехсложных слов) – «нажива». В этом воспитании не было бы, можно сказать, ничего предосудительного, если бы не два минуса, которых заблаговременно никоим образом не мог предусмотреть его дальновидный родитель. Одним из этих минусов было то, что, выучившись у папашы водить за нос кого угодно, Джонас приобрел склонность водить за нос и самого почтенного наставника. А второй заключался в том, что, еще смолоду привыкнув на все смотреть с точки зрения собственника, он и на своего родителя мало-помалу перенес этот взгляд и не без досады усматривал в нем известного рода личное достояние, которое не имеет никакого права разгуливать на свободе, а подлежит заключению в особого рода железный сейф, именуемый в просторечии гробом, и сдаче на хранение за кладбищенскую ограду.

– Ну, сестрица, – сказал мистер Джонас, – ведь мы с вами родня все-таки, хоть и седьмая вода на киселе... Так, значит, вы едете в Лондон?

Мисс Мерси ответила утвердительно и тут же, ущипнув старшую сестру за плечо, принялась хихикать без удержу.

– В Лондоне кавалеров видимо-невидимо, сестрица! – сказал мистер Джонас, слегка прикасаясь к ней локтем.

– Ну и что ж такого! – воскликнула молодая девушка. – Не съедят же они нас, я думаю! – Она произнесла это, сильно жеманясь, и, будучи больше не в силах бороться с душившим ее смехом, уткнулась в сестрину шаль.

– Мерри! – воскликнула эта более рассудительная особа. – Право, мне стыдно за тебя! Что с тобой делается, шальная ты девчонка? – В ответ на что мисс Мерри, конечно, расхохоталась еще сильнее.

– Я еще в тот день заметил, что глаза у нее шалые, – сказал мистер Джонас, обращаясь к Чарити. – Зато вы сидите смирно! И в тот раз примерно себя вели, сестрица!

– Ох, старомодное чучело! – шептала Мерри, давясь от смеха. – Черри, милая, садись-ка лучше ты рядом с ним, право. Если он со мной будет еще разговаривать, я помру тут же, не сходя с места; честное слово, помру!

С этими словами резвое создание соскочило со своего места и тут же, во избежание такого фатального исхода, усадило сестру рядом с кузенком.

– Не бойтесь стеснить меня, – сказал мистер Джонас. – Я даже люблю, когда меня притиснут барышни. Садитесь еще поближе, сестрица.

– Нет, благодарю вас, – сказала Чарити.

– А та, другая, опять смеется, – сказал мистер Джонас, – над моим папашей, должно быть. И, ей-богу, не удивительно. А если он еще наденет свой старый ночной колпак, я уж и не знаю, что с ней сделается! Это не мой папаша храпит, мистер Пексниф?

– Да, мистер Джонас.

– Наступите ему на ногу, будьте так любезны, – попросил молодой джентльмен. – Подагра у него на той ноге, что поближе к вам.

Так как мистер Пексниф не сразу решился оказать старику эту дружескую услугу, мистер Джонас взялся за дело сам, в то же время крикнув отцу в самое ухо:

– Ну, проснись же, папаша, а не то опять вас будет душить во сне; я уж знаю, опять завопите. Вас когда-нибудь душило во сне, сестрица? – понизив голос, спросил он свою соседку с присущей ему галантностью.

– Случается иногда, – ответила Чарити. – Не очень часто.

– А ту, другую? – спросил мистер Джонас, помолчав. – Ее когда-нибудь душит во сне?

– Не знаю, – ответила Чарити. – Спросите у нее лучше сами.

– Она так смеется, – сказал Джонас, – нет никакой возможности с ней разговаривать. Вы только послушайте, как заливается! А вот вы такая благоразумная, сестрица!

– Ах, что вы! – воскликнула Чарити.

– Ну да! Вы и сами это знаете.

– Мерси немножко ветрена, – сказала мисс Чарити. – Но она образумится со временем.

– Времени-то уж очень много на это уйдет, если даже и образумится, – возразил ее кузен. – Придвигайтесь поближе, места хватит.

– Я боюсь вас стеснить, – сказала Чарити. Но все-таки придвинулась поближе, и, перекинувшись двумя-тремя словами насчет того, как медленно ползет дилижанс и как много на пути остановок, они впали в молчание, которое не нарушалось уже никем из собеседников до самого ужина.

Хотя мистер Джонас вел Чарити под ручку в гостиницу и сидел рядом с ней за столом, было совершенно ясно, что он не упускает из виду и «ту, другую», так как он частенько поглядывал на Мерри, сидевшую напротив, должно быть сравнивая, которая из двух лучше, и отдавал явное предпочтение младшей сестре, как более пухленькой. Однако он не позволил себе тратить много времени на такого рода наблюдения и вплотную занялся ужином, который, как он сообщил на ухо своей прелестной соседке, тоже входил в цену билета, и, значит, чем больше она будет есть, тем дешевле это обойдется. Его отец и мистер Пексниф, действуя, вероятно, на основании того же мудрого правила, уничтожали без остатка все, что только было под рукой, отчего физиономии у них несколько позамаслились и приобрели довольное, чтобы не сказать сытое, выражение, так что смотреть на них было как нельзя более приятно.

Когда мистер Пексниф и мистер Джонас уже не могли больше есть, они заказали себе по две порции горячего бренди с водой – шесть пенсов за порцию, – что второй из джентльменов считал более выгодным, чем заказывать сразу одну порцию за шиллинг, ибо так хозяину легче было ошибиться и налить спиртного больше, чем он налил бы в один стакан. Проглотив свою долю живительной влаги, мистер Пексниф, под предлогом будто идет посмотреть, не готов ли дилижанс, успел потихоньку наведаться в бар и налить доверху собственную бутылочку, чтобы потом незаметно подкрепляться на досуге в темном дилижансе.

Как только со всеми этими приготовлениями было покончено и дилижанс был подан, они сели на свои старые места и затряслись дальше. Но прежде чем задремать, мистер Пексниф произнес нечто вроде послеобеденной молитвы:

– Процесс пищеварения, насколько я слышал от моих друзей-медиков, есть одно из самых изумительных явлений природы. Не знаю, как другим, а мне доставляет большое удо-

влетворение знать, что, вкушая мою скромную пищу, я привожу в действие прекраснейший из механизмов, какие нам только известны. У меня при этом бывает такое чувство, будто я оказываю услугу всему обществу. После того как я себя завел, если можно так выразиться, – произнес мистер Пексниф с самой пленительной нежностью в голосе, – и знаю, что механизм действует, – я, постигая назидательный смысл пищеварения, чувствую себя благодетелем человечества.

Так как прибавить к этому было нечего, то все молчали; а мистер Пексниф, надо полагать, радуясь тому, что приносит человечеству моральную пользу, задремал снова.

Вся остальная ночь прошла обычным порядком. Мистер Пексниф и старик Энтони то и дело толкали один другого и просыпались в испуге или, привалившись во сне головой к противоположным углам дилижанса, расписывали свои сонные физиономии самой удивительной татуировкой, бог их знает, каким образом. Дилижанс останавливался и ехал, ехал и останавливался, и так продолжалось без конца. Одни пассажиры входили, другие выходили, свежих лошадей впрягали, выпрягали и опять впрягали, без малейшего перерыва – как казалось тем, кто дремал, и с перерывами чуть ли не во всю ночь – как казалось тем, кто не сомкнул глаз ни на минуту. Наконец дилижанс начал подсакивать и гроыхать по неровному булыжнику, и мистер Пексниф, выглянув в окно, объявил, что наступило утро и они приехали.

Вскоре после этого дилижанс остановился у городской конторы; улица, где она находилась, была уже полна народом, что как нельзя более подтверждало слова мистера Пекснифа насчет того, что наступило утро; хотя, судя по тому, что на небе не было заметно ни малейших проблесков света, вполне могла быть и полночь. Стоял, кроме того, густой туман, – словно это был город в облаках, куда они добрались за ночь по волшебному бобовому стеблю²⁷; а мостовую покрывала толстая корка, похожая на жмыхи, про которую один из пассажиров на империале (без сомнения, сумасшедший) сказал другому (должно быть, сторожу при нем), что это снег.

Наскоро простившись с Энтони и его сыном и оставив весь багаж в конторе, с тем чтобы зайти за ним после, мистер Пексниф, ведя под руки обеих девиц, перебрался через улицу, потом через другую, через третью, потом пустился дальше, сворачивая то направо, то налево, в какие-то странные двери и глухие переулки, ныряя в какие-то подворотни; он то перепрыгивал через канаву, то шарахался от кареты четверней, то терял дорогу, то опять находил ее, то шествовал в высшей степени уверенно, то окончательно падал духом, все время волнуясь так, что прошибала испарина, и, наконец, остановился на мощенной булыжником площадке вблизи от Монумента²⁸. То есть так сказал мистер Пексниф, а что касается того, чтобы увидеть самый Монумент или хоть что-нибудь кроме домов, стоявших совсем рядом, то девицы видели не больше, чем если бы играли в жмурки у себя в Солсбери.

Мистер Пексниф сначала огляделся по сторонам, а потом постучался в дверь очень грязного дома, выделявшегося даже среди отборной коллекции грязных домов по соседству, на фасаде которого красовалась небольшая овальная вывеска, похожая на чайный поднос, с надписью: «Коммерческий пансион М. Тоджерс».

По-видимому, у М. Тоджерс никто еще не вставал, потому что мистер Пексниф постучал дважды и позвонил трижды, не произведя впечатления ни на кого, кроме собаки на той стороне улицы. В конце концов загремела цепь и засовы отодвинулись с таким ржавым скрипом, словно от холодной погоды охрипли даже запоры, и на пороге, появился маленький мальчик с большой рыжей головкой, таким крошечным носом, что о нем не стоит и говорить,

²⁷ ...по волшебному бобовому стеблю... – намек на популярную в Англии сказку «Джек и бобовый стебель», герой которой поднялся на небо по чудесно разросшемуся бобовому стеблю.

²⁸ Монумент – колонна, воздвигнутая в Лондоне (1671–1677) по проекту выдающегося английского архитектора Кристофера Ренна (1632–1723) в память о пожаре 1666 года, уничтожившем большую часть города.

ибо это был не нос. а чистейшее недоразумение, и очень грязным веллингтоновским сапогом²⁹, надетым на левую руку; увидев приезжих, он озадаченно потер вышеупомянутый нос сапожной щеткой и ничего не сказал.

– Еще спят, любезный? – спросил мистер Пексниф.

– Спят! – отвечал мальчик. – Хотел бы я, чтобы они спали. Очень уж сон у них шумный: все разом требуют свои сапоги. Я было подумал, что это газета, и удивился почему ее не просунули, как всегда, в окошечко. Вам чего надо?

Принимая во внимание нежный возраст юнца, можно сказать, что этот вопрос был задан очень строго и даже с некоторым вызовом. Однако мистер Пексниф, нисколько не оскорбившись таким поведением мальчика, сунул ему в руку свою визитную карточку и попросил отнести наверх, а их пока проводить в какую-нибудь комнату, где топится камин.

– Хотя, если разведен огонь в столовой, – сказал мистер Пексниф, – я и сам найду дорогу. – И без дальнейших слов он повел дочерей в комнату нижнего этажа, где стол был уже накрыт к завтраку скатертью (довольно узкой и короткой, едва доходившей до краев), и на нем красовалось большое блюдо разваренной докрасна говядины, образчик хлебной ковриги того сорта, который известен хозяйкам под названием «сеяного мягкого четырехфунтового», и немалое количество чашек и блюдец со всеми обычными дополнениями.

За каминной решеткой лежало пар шесть ботинок и сапог разных размеров, только что вычищенных и перевернутых подошвой кверху для просушки, и пара коротких черных гетр; на одной из них кто-то из джентльменов – очевидно большой шутник, который нарочно для этого спустился вниз, временно прервав свой туалет, – начертил мелом: «Гордость Джинкинса»; а на другой подошве был нарисован профиль, претендовавший на сходство с самим Джинкинсом.

Коммерческий пансион М. Тоджерс помещался в доме, где, судя по всему, и всегда-то было темно, а в это утро особенно. В коридоре стоял какой-то странный запах, как будто весь аромат обедов, которые варились на кухне со дня построения дома, сгустился на черной лестнице и, подобно призраку монаха в «Дон-Жуане», «отсель не уходил». В особенности сильно давала себя знать капуста; да и вообще все овощи, которые здесь варились, принадлежали к разряду вечнозеленых и благоухали с неувядаемой силой. В обшитой панелями гостиной свежий человек инстинктивно – и как бы по наитию свыше догадывался о присутствии крыс и мышей. Лестница была очень мрачная и очень широкая, с такими толстыми и прочными перилами, что они годились бы даже для моста. В темном углу на первой площадке стояли неуклюжие старые часы гигантского роста, увенчанные дурацкой короной из трех медных шариков; этих часов почти никто не замечал, и уж решительно никто не глядел на циферблат, так что если они не прекращали своего глухого тиканья, то только предосторожности ради, – единственно для того, чтобы какой-нибудь рассеянный человек не натолкнулся на них случайно. Так как этот дом с первых дней существования пансиона М. Тоджерс ни разу не перекрашивался и не переклеивался, то лестница сильно почернела, покрылась копотью и осклизла. Вверху, над лестничной клеткой, находился дряхлый, безобразный с виду, еле живой и весь расшатанный стеклянный люк, чиненный и перечиненный на все лады, который подозрительно глядел сверху на все, что происходило внизу, и прикрывал собой пансион, как будто это был особого рода парник, в котором могли произрастать только овощи особого сорта.

Мистер Пексниф со своими прелестными дочками не простоял и десяти минут, греясь перед огнем, как на лестнице слышались шаги, и в комнату вошло верховное божество этого заведения.

²⁹ Веллингтоновские сапоги – сапоги с вырезом сзади под коленом.

М. Тоджерс была дама, и довольно-таки сухопарая дама, с резкими чертами и целым рядом кудряшек на лбу, напоминавших маленькие пивные бочоночки, прикрытые сверху чем-то вроде сетки, которая смахивала не то что на чепец, а скорее на черную паутину. На руке у нее была маленькая плетеная корзиночка со связкой ключей, которые позвякивали на ходу. В другой руке она держала горящую сальную свечу. Разглядев при ее свете мистера Пекснифа, миссис Тоджерс сейчас же поставила подсвечник на стол, чтобы ничто не мешало ей принять гостя со всей подобающей сердечностью.

– Мистер Пексниф! – воскликнула миссис Тоджерс. – Добро пожаловать в Лондон! Кто бы мог ожидать такого визита после стольких – о боже мое, боже! – после стольких лет! Как же вы поживаете, мистер Пексниф?

– Не хуже, чем всегда, и, как всегда, рад вас видеть, – отвечал мистер Пексниф. – Да как же вы помолодели!

– Вот вы так помолодели, по-моему, – сказала миссис Тоджерс. – Ничуть не переменились.

– А что вы скажете вот на это? – воскликнул мистер Пексниф, простирая руку к обеим девицам. – Разве это меня не старит?

– Неужели ваши дочери? – воскликнула миссис Тоджерс, воздевая руки кверху и молитвенно складывая их. – Не может быть, мистер Пексниф! Это, верно, ваша вторая жена со своей подружкой!

Мистер Пексниф снисходительно улыбнулся и, покачав головой, сказал:

– Мои дочери, миссис Тоджерс. Всего только дочери.

– Ах! – вздохнула эта добрая женщина. – Приходится верить вам на слово, потому что вот теперь гляжу и думаю, что узнала бы их где угодно. Милые мои мисс Пексниф, как же обрадовал меня ваш папа!

Она обняла обеих девиц и от избытка чувств, а может быть под влиянием утреннего холода, выдернула из маленькой корзиночки маленький носовой платок и приложила его к лицу.

– Сударыня, – сказал мистер Пексниф, – мне известны правила вашего заведения, а также и то, что вы принимаете только постояльцев-мужчин. Но я подумал, что, может быть, для моих дочерей найдется место в вашем доме, что для них вы, может быть, сделаете исключение.

– Может быть? – с чувством произнесла миссис Тоджерс. – Может быть?

– Ну, тогда я могу сказать, что был в этом почти уверен, – заметил мистер Пексниф. – Я знаю, у вас есть своя маленькая комнатка, там они могли бы очень удобно поместиться и не выходить к общему столу.

– Милые мои девочки! – сказала миссис Тоджерс. – Нет, я должна еще раз позволить себе эту вольность.

Под этим миссис Тоджерс подразумевала, что должна еще раз обнять девиц, каковое намерение и осуществила с большим жаром. Правда же заключалась в том, что в доме было занято решительно все, кроме одной кровати, которую теперь следовало отдать мистеру Пекснифу, и потому ей требовалось время на размышление, и такое продолжительное время (ибо решить, куда деваться с гостями, было отнюдь не просто), что, даже выпустив сестер из своих объятий во второй раз, она несколько минут глядела на них молча, причем один ее глаз блистал слезой умиления, а в другом светился трезвый расчет.

– Мне кажется, я придумала, как это устроить, – сказала, наконец, миссис Тоджерс. – Постелить на диване в третьей комнате, рядом с моей гостиной... Ах вы душеньки мои!

После чего она обняла их в третий раз, заметив при Этом, что никак не может решить, которая из них больше похожа на покойницу мать (что было весьма правдоподобно, так как миссис Тоджерс ни разу в жизни ее не видела), но думает, что скорее младшая, и тут же

прибавила, что джентльмены сейчас придут в столовую, а барышни, верно, устали с дороги, так не лучше ли им сразу же пройти к ней в комнату?

Комната была на том же этаже, окнами во двор, и, по словам миссис Тоджерс, обладала тем преимуществом (для Лондона очень важным), что в нее никто не заглядывает снаружи, в чем они убедятся и сами, когда рассеется туман. И это не было пустым хвастовством; из окон действительно открывался вид на бурую стену с черным баком для воды наверху. Из этой комнаты в спальное помещение, предназначенное для девиц, был ход через очень удобную маленькую дверцу, которая открывалась только в том случае, если на нее наваливались изо всех сил. Отсюда, примерно на том же расстоянии, был виден другой край той же стены и другая сторона бака. «Не самая сырая сторона, – объяснила им миссис Тоджерс. – Та видна от мистера Джинкинса».

В первом из этих святилищ был на скорую руку разведен огонь все тем же юным прислужником, который в отсутствие миссис Тоджерс позволил себе насвистывать за этим занятием (а кроме того, разрисовал углем собственные плисовые штаны) и, застигнутый хозяйкой врасплох, был выведен из комнаты за ухо. Приготовив собственноручно завтрак для девиц, она удалилась председательствовать за столом в другую комнату, где, насколько можно было слышать, присутствующие довольно громко подшучивали над мистером Джинкинсом.

– Не стану спрашивать вас, дорогие мои, – сказал мистер Пексниф, заглядывая в дверь, – как вам понравился Лондон. Стоит ли спрашивать?

– Не очень-то мы много видели, папа! – воскликнула Мерри.

– Ровно ничего, по-моему, – сказала Черри. (Обе говорили самым жалобным тоном.)

– Что ж, – заметил мистер Пексниф, – это верно. Но удовольствие, да и дело тоже, у нас еще впереди. Все в свое время. Все в свое время.

Действительно ли дела мистера Пекснифа в Лондоне носили такой строго профессиональный характер, как он намекал своему новому ученику, мы увидим, выражаясь словами этого достойного джентльмена, «в свое время».

Глава IX

Лондон и «Тоджерс»

Конечно, никогда и ни в каком другом городе, малом или большом, и ни в какой деревушке не было и не могло быть такого странного дома, как пансион М. Тоджерс. И уж конечно Лондон, судя по той его части, которая обступила пансион кругом и теснила и толкала его своими кирпичными штукатуренными локтями, не давая ему вздохнуть и вечно загораживая от него свет, вполне стоил пансиона и вполне мог почитаться состоящим в близком родстве и союзе с тем эксцентрическим семейством, к которому принадлежат сотни и тысячи таких домов, как пансион М. Тоджерс.

По соседству с пансионом нельзя было прогуливаться так, как где-нибудь в другом квартале города. Тут вы целый час могли блуждать по переулкам и закоулкам, дворам и переходам и ни разу не попасть на что-нибудь такое, что можно было бы без натяжки назвать улицей. Какое-то покорное отчаяние овладевало человеком, вступившим в этот извилистый лабиринт, и он, махнув на все рукой, пускался наугад, путался и кружил и, наткнувшись на глухую стену или железную решетку, без ропота поворачивал обратно, с мыслью, что выход на свободу отыщется как-нибудь сам собой и в свое время и что нет никакого смысла спешить и предупреждать события. Бывали случаи, что гости, приглашенные на обед к М. Тоджерс, бродили вокруг да около, видели даже и дымовые трубы на крыше дома, но, убедившись наконец, что добраться до него нет возможности, возвращались восвояси кротко и без жалоб, погрузившись душою в тихую грусть. Не было примера, чтобы кто-нибудь мог найти пансион по устным указаниям, хотя бы он получил эти указания в одной минуте ходьбы от него. Осмотрительным приезжим из Шотландии и Северной Англии, говорят, удавалось иногда благополучно добраться до пансиона, завербовав с этой целью в проводники приютского мальчика, питомца лондонских улиц, или следуя по пятам за почтальоном, — но то были редкие исключения, только подтверждавшие правило, что пансион М. Тоджерс скрывается в лабиринте, секрет которого известен лишь немногим посвященным.

По соседству с пансионом было несколько фруктовых рынков, и одним из первых впечатлений, поражавших свежего человека, был запах апельсинов, порченных апельсинов с зелеными и синими пятнами, гниющих в ящиках или плесневеющих в подвалах. Целый день по узким переулкам с пристани вереницей тянулись грузчики, каждый с полным ящиком апельсинов на спине, а под воротами питейного дома с утра до вечера грудой лежали кожаные Заплечья тех из них, которые отдыхали и угощались внутри помещения. По соседству с пансионом М. Тоджерс еще встречались допотопные колодцы-отшельники, укрывавшиеся в тупиках и водившие компанию с пожарными лестницами. Тут был не один десяток церквей, а при них заброшенные маленькие кладбища, сплошь заросшие той буйной растительностью, которая сама собой появляется везде, где есть сырость, могилы и кучи мусора. Кое-где в этих унылых местах упокоения, столь же походивших на настоящие зеленые кладбища, как горшки с левкоями и резедой в окне походят на деревенский сад, были и деревья, высокие деревья, все еще продолжавшие год за годом выбрасывать новые листья и так же томившиеся воспоминаниями о родном племени, как птицы в клетке, — так думалось, глядя на их чахлые ветви. Тут дряхлые паралитики-сторожа из года в год охраняли по ночам покойников, до тех пор пока и сами не вступали в их молчаливое братство; и если не считать того, что под землей им спалось крепче, чем на земле, и что будка для них сменялась гробом, — их положение едва ли существенно менялось после того, как и они в свою очередь попадали под стражу. Кое-где в узких переулках сохранились еще старинные двери резного дуба, за которыми в былое время раздавались пиршественные клики; теперь же эти хоромы,

отведенные под склады, тихи и темны, и так как внутри них хранится шерсть, хлопок и тому подобное – все скучный товар, заглушающий звук и затыкающий глотку шумливому эхо, – от них так и веет тлением, и это в соединении с тишиной и безлюдьем придает им нечто зловещее. Есть в этих местах и мрачные дворы, куда не забредает почти никто, кроме сбившихся с дороги пешеходов, и где объемистые тюки или мешки с товаром, поднимаясь или опускаясь, вечно болтаются между небом и землей, подвешенные к высоким кранам. Ломовых подвод по соседству с пансионом М. Тоджерс, как кажется, гораздо больше, чем может понадобиться во всем городе; и не то чтобы рабочих подвод, а подвод-лодырей, праздно стоящих в узких проулках перед хозяйскими дверьми и загораживающих проезд, так что если случайно свернет сюда какой-нибудь кэб или загромыхает фургон с товаром, то сразу поднимается шум и гам на всю округу, и даже колокола на ближней колокольне, дрогнув, отзываются гудением. В пастях и утробах темных тупиков по соседству с пансионом виноторговцы и бакалейщики-оптовики понастроили целые города; глубоко между фундаментами зданий вся земля здесь изрыта галереями конюшен, и в тихий воскресный день бывает слышно, как лошади, которых донимают крысы, звякают недоуздками, наподобие того, как в рассказах о привидениях гремят цепями беспокойные духи.

Если рассказать хотя бы о половине курьезных старых харчевен, влачивших дремотную, скрытую от мира жизнь по соседству с пансионом, то получилась бы целая толстая книга, а второй, не менее объемистый том можно было бы посвятить старым чудакам, завсегдатаям этих неприглядных заведений. Это по большей части коренные жители здешних мест, которые тут родились и выросли; они давным-давно обзавелись одышкой и астмой, всегда пыхтят и с трудом переводят дыхание, кроме тех случаев, когда начинают о чем-нибудь повествовать; тогда оказывается, что и дыхание у них еще хоть куда. Эти старозаветные лондонцы в корне отрицают пар и прочие новшества, воздухоплавание считают смертным грехом и оплакивают современный упадок нравов, причем те из членов этих маленьких клубов, в чьи профессиональные обязанности входит хранение ключей соседней церкви, жалуются на распространение ереси и безбожия, тогда как большинство склонно думать, что добродетель вывелась из употребления вместе с пудреными париками и что величие Старой Англии сошло на нет вместе с цирюльниками.

Сам по себе пансион М. Тоджерс, даже если говорить о нем только как о доме, оставляя в стороне его заслуги как пансиона для джентльменов, занимающихся коммерцией, вполне достоин стоять на том месте, где он стоит. Там есть одно окно в боковой стене нижнего этажа, освещающее лестницу, о котором предание рассказывает, будто бы оно не отворялось лет сто, и которое, выходя в грязный до невероятия переулок, до того запачкалось и заросло столетней грязью, что ни одно стекло из него не выпало, хотя каждое из них было в свое время разбито самое меньшее раз двадцать, и все они вдоль и поперек изрезаны трещинами. Но главную тайну пансиона составляет подвал, доступ к которому возможен только через маленькую заднюю дверцу и ржавый решетчатый люк и который, сколько помнят старики, не только никогда не имел никакого отношения к дому, но всегда принадлежал какому-то другому владельцу и, по слухам, был полон добра, хотя какого именно – серебра ли, меди, золота, бочек ли с вином, или бочонков с порохом, – было совершенно неизвестно и мало интересовало пансион и его обитателей.

Крыша дома тоже была достойна внимания. Там имелось что-то вроде площадки, с шестами и обрывками гнилых веревок, когда-то предназначавшихся для сушки белья, и стояло два-три чайных ящика с засохшими растениями, торчащими из них, как палки. Всякий, кто поднимался на эту обсерваторию, бывал сперва ошеломлен, ударившись головой о маленькую наружную дверцу, а потом на секунду лишался дыхания, невольно заглянув в кухонную трубу; но, одолев эти два препятствия, вы нашли бы много такого, на что любопытно было посмотреть с крыши пансиона. Прежде всего, если день был ясный, вы заме-

чали далеко протянувшуюся по крышам длинную темную дорожку – тень Монумента – и, обернувшись, видели и самый оригинал, совсем рядом – высокий, с волосами, вставшими дыбом на его золотой голове, словно он в ужасе от того, что творится в городе. А дальше толпились шпили, колокольни, башни, сверкающие флюгера и корабельные мачты – целый лес. Островерхие кровли, коньки крыш, слуховые окна – сущее столпотворение. Дыма и шума хватило бы на весь мир.

Со второго взгляда из этой общей сутолоки, помимо воли зрителя и без всякой особой причины, начинали выделяться незначительные как будто предметы и завладевали его вниманием. Так, колпаки-вертушки на трубах домов время от времени поворачивались не спеша один к другому, словно поверяя друг другу шепотом результаты своих наблюдений над тем, что происходит внизу. Другие колпаки, горбатые, казалось никак не хотели выпрямиться назло пансиону и горбились для того только, чтобы загораживать от него вид. Старик, чинивший перо в чердачном окне напротив, приобретал первостепенную важность для всей картины в целом и, скрывшись с горизонта, оставлял пробел, значение которого было до смешного непропорционально его размерам. Скачки и пируэты одного полотнища ткани на шесте красильщика казались гораздо интереснее, чем все приливы и отливы в общем движении толпы. А пока зритель сердился на себя и подыскивал этому объяснение, шум переходил в рев, пестрая картина перед его глазами дробилась и множилась стократ, и, озираясь по сторонам в величайшем испуге, он спешил поскорее спуститься в недра пансиона и в девяти случаях из десяти говорил после того миссис Тоджерс, что если б он задержался наверху хотя бы секундой дольше, то, верно, попал бы на мостовую кратчайшей дорогой, а именно – бросившись головой вниз.

Так говорили и обе мисс Пексниф, покинув наблюдательный пост вместе с миссис Тоджерс и наказав юному привратнику запереть дверцу и спуститься за ними следом; он же, будучи веселого нрава и с восторгом, свойственным его возрасту и полу, приветствуя всякую возможность разбиться вдребезги, несколько замешкался позади, для того чтобы пройти по парапету.

Шел второй день пребывания обеих мисс Пексниф в Лондоне, так что дело дошло уже до откровенностей, и миссис Тоджерс успела сообщить своим новым подружкам все подробности трех любовных разочарований своей первой молодости, а кроме того, познакомила их в общих чертах с жизнью, поведением и характером мистера Тоджерса, который, как выяснилось, прежде времени нарушил мирное течение супружеской жизни и, противозаконно бежав от семейного счастья, поселился в чужих краях под видом холостяка.

– Ваш папа был одно время очень, очень ко мне внимателен, душеньки мои, – сказала миссис Тоджерс, – но, видно, мне не суждено было такого счастья – сделаться вашей мамой. Вряд ли вы сможете угадать, с кого это нарисовано?

Она обратила внимание девиц на овальную миниатюру вроде небольшого волдыря, которая висела над крюком для чайника и носила некоторое, довольно отдаленное сходство с чертами самой миссис Тоджерс.

– Боже! Вы тут как живая! – воскликнули обе мисс Пексниф.

– Так это и считалось в прежнее время, – заметила миссис Тоджерс, греясь перед огнем совершенно так, как это делают мужчины, – а все же я никак не ожидала, что вы угадаете, чей это портрет, душеньки мои.

Они узнали бы этот портрет где угодно. Если бы они увидели его где-нибудь на улице или в окне магазина, то непременно – закричали бы: «Боже мой! Миссис Тоджерс!»

– Хозяйничать в таком заведении, как мое, очень вредно для здоровья, ужасно портится цвет лица, милые мои мисс Пексниф, – жаловалась миссис Тоджерс. – Одна мясная подливка может состарить лет на двадцать, уверяю вас.

– О господи! – воскликнули обе мисс Пексниф.

– Чего стоит хотя бы только эта забота, милые мои, – продолжала миссис Тоджерс, – из-за нее одной вечно душа не на месте. Нет другой такой страсти в душе человеческой, как страсть к мясной подливке среди джентльменов, занимающихся коммерцией. Не то что с задней ноги, с целого быка не наберешь столько соку, сколько они требуют каждый день за обедом. А что мне пришлось из-за этого вытерпеть! – воскликнула миссис Тоджерс, возводя глаза к небу и тряся головой. – Никто даже не поверит.

– Ни дать ни взять наш мистер Пинч, Мерри, – заметила Чарити. – Мы всегда это за ним замечали, помнишь?

– Еще бы, милая моя, – отвечала Мерри, хихикая, – только мы ему никогда не давали подливки, сама знаешь.

– Вы, мои душечки, имеете дело с учениками вашего папы, которые не сами себе накладывают кушанье, поэтому вы вольны распоряжаться, как вам угодно, – сказала миссис Тоджерс, – но в коммерческом заведении, где каждый джентльмен может вам сказать в субботу вечером: «Миссис Тоджерс, через неделю нам с вами придется расстаться – из-за сыра», – не так-то легко сохранять мир и согласие. Ваш папа был так любезен, – прибавила рта добрая дама, – что пригласил меня сегодня покататься с вами и, кажется, упомянул, что вы собираетесь навестить мисс Пинч. Уж не родственница ли она тому джентльмену, о котором вы только что говорили, мисс Пексниф?

– Ради бога, миссис Тоджерс, – перебила бойкая Мерри, – не называйте его джентльменом. Черри, милая моя, Пинч – джентльмен! Подумать только!

– Вот уж насмешница! – воскликнула миссис Тоджерс, в умилении обнимая Мерри. – Сущая заноза, как я погляжу! Милая моя мисс Пексниф, какая это должна быть радость для вас и для вашего папы, что сестрица у вас такая веселая!

– Он пучеглазый и противный-препротивный, каких свет не создавал, – продолжала Мерри, – настоящее чучело, миссис Тоджерс. Самый мерзкий, нескладный и отвратительный урод, какого можно себе представить. А это – его сестра, так что сами можете вообразить, какая она. Да я прямо расхохочусь ей в лицо, это уж непременно, – воскликнула милая девушка, – мне ни за что не удержаться! От одной мысли, что на свете существует мисс Пинч, можно умереть, а уж видеть ее – просто боже сохрани!

Миссис Тоджерс смеялась до слез, слушая душечку Мерри, и объявила, что прямо боится ее, да, боится. Она такая злая.

– Кто это злой? – послышался голос из-за дверей. – В моей семье, надеюсь, не может быть ничего похожего на злость! – И мистер Пексниф, улыбаясь, просунул голову в дверь: – Вы позволите мне войти, миссис Тоджерс?

Миссис Тоджерс чуть не взвизгнула, потому что низенькая дверь между гостиной и внутренним покоем была распахнута настежь и постель, раскинутая на диване, открывалась взорам во всем своем чудовищном неприличии. Однако у миссис Тоджерс достало присутствия духа мгновенно захлопнуть дверь в святая святых, и только после этого она пролепетала в смущении:

– Ах да, мистер Пексниф, вы можете войти, если вам угодно.

– Ну, как мы себя чувствуем сегодня? – игриво начал мистер Пексниф. – И какие у нас планы? И не собираемся ли мы навестить сестру Тома Пинча? Ха-ха-ха! Бедняга Томас!

– И не собираемся ли мы, – возразила миссис Тоджерс, кивая головой с таинственным и понимающим видом, – ответить согласием на петицию мистера Джинкинса? Вот какой будет первый вопрос, мистер Пексниф.

– Но почему же мистера Джинкинса? – осведомился мистер Пексниф, обнимая одной рукой Мерри, а другой миссис Тоджерс, которую он по рассеянности, должно быть, принял за Черри. – Почему именно Джинкинса?

– Потому что он первый все это затеял, и вообще он во всем первый в этом доме, – игриво отвечала миссис Тоджерс. – Вот почему, сэр.

– Джинкинс – человек с большими дарованиями, – заметил мистер Пексниф. – Я очень уважаю Джинкинса. И то, что Джинкинс пожелал оказать внимание моим дочерям, я считаю новым доказательством дружеского расположения со стороны Джинкинса, миссис Тоджерс.

– Ну что ж, – отвечала эта дама, – если уж начали говорить, так договаривайте, мистер Пексниф: расскажите нашим милым барышням, в чем дело.

С этими словами она деликатно уклонилась от объятий мистера Пекснифа и сама обняла мисс Чарити, но было ли вызвано такое поведение одним только непреодолимым сердечным влечением к этой молодой особе, или же объяснения следовало искать в угрюмом, чтобы не сказать озлобленном выражении, которое приняло лицо мисс Пексниф, так и осталось невыясненным. Как бы то ни было, мистер Пексниф тут же начал излагать дочерям историю и существо вышеупомянутой петиции; вкратце дело сводилось к тому, что джентльмены, составляющие в своей совокупности основу того имени существительного собирательного, которое обозначает множество и называется пансионом М. Тоджерс, просят, чтобы девицы Пексниф оказали им честь обедать за общим столом в течение всего того времени, что они пробудут в Лондоне, а также, чтобы они украсили стол своим присутствием не далее как в воскресенье, которое приходилось на следующий день. Кроме того, прибавил он, так как миссис Тоджерс тоже присоединяется к этому приглашению, то и он, со своей стороны, готов его принять, – засим мистер Пексниф удалился, чтобы приступить к сочинению самого любезного ответа, а дамы тем временем привели себя в боевую готовность, надев самые нарядные шляпки, с целью поразить и даже совершенно уничтожить мисс Пинч.

Сестра Тома Пинча жила в гувернантках в одном семействе, занимавшем весьма высокое общественное положение, – а именно в семействе богатого владельца медеплавильных и литейных заводов, быть может самого богатого из тех, какие известны человечеству. Это семейство жило в Кемберуэле³⁰, в таком большом и неприветливом с виду особняке, что один его фасад, напоминая замок великана-людоеда, поражал ужасом обыкновенных смертных и заставлял содрогаться смельчаков. Там были внушительные ворота с внушительным колоколом, ручка которого, похожая на восклицательный знак, невольно исторгала у зрителя восклицание, и внушительная сторожка для привратника, которая несколько портила общий вид, зато намного усиливала впечатление. У входа бессменно торчал на страже внушительный привратник и, дозволив посетителю войти, ударял во второй колокол, на звон которого в свое время являлся внушительный ливрейный лакей с такими внушительными аксельбантами, что он беспрестанно в них путался, цепляясь за стулья и столы, и вел жизнь до такой степени мучительную, что, будь он даже мухой в мире, полном паутины, ему едва ли пришлось бы хуже.

К этому-то особняку бесстрашно подъехал в одноконном экипаже мистер Пексниф вместе с дочерьми и миссис Тоджерс. После того как все вышеописанные церемонии были проделаны, их впустили в дом, и в конце концов они добрались до небольшой, полной книжкомнаты, где сестра мистера Пинча как раз давала урок своей старшей ученице, вернее сказать – скороспелой маленькой женщине тринадцати лет от роду, доведенной до такого совершенства тугой шнуровкой и воспитанием, что в ней уже не оставалось ровно ничего детского, на радость всем ее родным и знакомым.

– Посетители к мисс Пинч! – провозгласил лакей, как видно молодой человек редких дарований, судя по тому, до чего ловко это у него получилось, – не так сдержанно и почтительно, как если бы он докладывал о визитерах к хозяевам, но и без того теплого участия, с оттенком личного интереса, с каким он объявил бы о гостях к кухарке.

³⁰ Кимберуэл – район в юго-восточной части Лондона, за Темзой.

– Посетители к мисс Пинч!

Мисс Пинч торопливо поднялась с места со всеми признаками волнения, ясно говорившими о том, что список ее посетителей весьма краток. В то же время маленькая ученица угрожающе выпрямилась, приготавливаясь запомнить все, что при ней будет сказано и сделано. Ибо хозяйка дома была любознательна и, проявляя интерес к жизни и нравам животного, именуемого гувернанткой, поощряла дочерей при всяком удобном случае доносить о ее поведении, что было весьма похвально, а также полезно и приятно для всех участвующих.

Как это ни грустно, однако же нельзя умолчать о том, что сестра мистера Пинча была отнюдь не урод. Совсем напротив, у нее было приятное лицо, очень кроткое и привлекательное, и хорошенькая фигурка, тоненькая и не очень высокая, зато удивительно стройная. Было что-то, напоминавшее брата, и даже очень напоминавшее, – в мягкости ее манер и в выражении робкой доверчивости; однако она до такой степени не походила на страшилище, или на чумичку, или на пугало, или на что-нибудь еще в том же роде, как предсказывали мисс Пексниф, что обе эти молодые особы смотрели на нее негодуя, ибо рассчитывали увидеть совсем не то и обманулись в своих ожиданиях.

Мисс Мерри, как более жизнерадостная, легче примирилась с этим разочарованием, по крайней мере не проявила его ничем, кроме хихиканья, зато ее сестрица, не желая скрывать своего презрения, откровенно выразила его взглядом. Что же касается миссис Тоджерс, то она опиралась на руку мистера Пекснифа, сохраняя вид благовоспитанной непреклонности, которую можно было толковать как угодно.

– Не пугайтесь, мисс Пинч, – произнес мистер Пексниф, снисходительно забирая руку мисс Пинч в свою правую ладонь и похлопывая сверху левой. – Я приехал к вам с визитом, исполняя обещание, данное вашему брату, Томасу Пинчу. Моя фамилия – успокойтесь, мисс Пинч! – моя фамилия Пексниф.

Доброжелательный человек произнес эти слова с особенным выражением, как бы говоря: «Вы видите во мне, молодая особа, благодетеля всего вашего рода, покровителя вашей семьи, кормильца вашего брата, который ежедневно питается манной с моего стола и ради которого мне многое зачтется на небесах. Но я не горжусь. К чему мне гордиться, когда я могу обойтись и без этого!»

Бедная девушка поверила всему этому как евангельской истине. Брат в простоте души не раз писал ей то же самое. Как только мистер Пексниф замолчал, она опустила голову, и на его руку скатилась слеза.

«Очень хорошо, мисс Пинч! – сообразила понятливая ученица. – Плакать перед посторонними, как будто вам не нравится ваше место!»

– Томас здоров. – сообщил мистер Пексниф, – он посылает вам поклон и вот это письмо. Нельзя ожидать, чтобы он, бедняга, когда-нибудь отличился в нашей профессии, зато он старается быть полезным, а стараться почти то же что мочь, и потому мы должны быть к нему снисходительны. А? Что?

– Я знаю, что он старается, – сказала сестра Тома Пинча, – и знаю, сколько заботы и ласки он видит от вас. Мы не раз писали друг другу, что никогда не сможем вас отблагодарить. И ваших дочерей тоже, – прибавила она, смотря с признательностью на обеих мисс Пексниф, – я знаю, как много мы им обязаны.

– Дорогие мои, – сказал мистер Пексниф, обращаясь к ним с улыбкой, – послушайте-ка, что говорит сестра Тома; я думаю, вам это будет приятно.

– Мы тут совершенно ни при чем. папа, – воскликнула Черри, в то же время реверансом давая понять сестре Тома Пинча, что она премного их обяжет, если будет держаться на расстоянии. – Тем, что о нем так хорошо заботятся, мистер Пинч обязан только вам одному, нам же очень приятно слышать, что он это ценит, вот и все, что мы можем сказать.

«Очень хорошо, мисс Пинч! – опять заметила про себя ученица. – У вас имеется благодарный братец, который живет на чужой счет!»

– Вы очень добры, – говорила сестра Тома Пинча, простодушно, как Том, и улыбаясь, как Том, – что приехали навестить меня; вы очень, очень добры, хотя вы и сами не подозреваете, как много сделали для меня тем, что дали мне возможность увидеть и поблагодарить вас лично, ведь вы придаете так мало значения своим добрым делам.

– Вот это благодарность, вот это такт, вот это воспитание, – прошептал мистер Пексниф.

– И еще меня радует, – продолжала Руфь Пинч, которая теперь, оправившись от первого потрясения, стала весела и говорлива, от чистого сердца желая видеть во всем самую лучшую сторону, что было как две капли воды похоже на Тома, – меня бесконечно радует, что вы сможете передать ему, как хорошо мне здесь живется, более чем роскошно, и что ему вовсе незачем горевать и жалеть о том, что мне приходится жить своими трудами. О боже мой! Пока я знаю, что он счастлив, и пока он знает то же самое обо мне, – говорила сестра Тома, – мы оба можем вытерпеть без единого слова жалобы, без единой горькой мысли гораздо больше того, что нам приходилось терпеть до сих пор, в этом я твердо уверена. – И если когда-нибудь говорили чистую правду на нашей грешной земле, то, конечно, ее высказала в этих словах сестра Тома.

– Да, да, разумеется! – воскликнул мистер Пексниф, чьи глаза тем временем приковались к воспитаннице. – А как поживаете вы, мое прелестное дитя?

– Очень хорошо, благодарю вас, сэр, – ответила эта замороженная невинность.

– Какое милое личико, дорогие мои. – сказал мистер Пексниф, обращаясь к дочерям. – Очаровательные манеры!

Обе девицы уже с первой минуты начали восторгаться отпрыском благородного семейства (надо полагать, что это был кратчайший путь к сердцу родителей). Миссис Тоджерс божилась, что никогда в жизни не видела ничего до такой степени ангелоподобного.

– Только крыльев не хватает душечке, а то ни дать ни взять настоящий сиропчик! – говорила добрая женщина, подразумевая, вероятно, серафимчика.

– Если вы передадите вот это вашим почтеннейшим родителям, – сказал мистер Пексниф, доставая визитную карточку, – и скажете, что я и мои дочери...

– И миссис Тоджерс, папа, – подсказала Мерри.

– И миссис Тоджерс из Лондона, – прибавил мистер Пексниф, – что я, мои дочери и миссис Тоджерс из Лондона не решились беспокоить их без приглашения, так как нашей целью было просто справиться о здоровье мисс Пинч, брат которой, молодой человек, служит у меня, и что я, как архитектор, не могу уйти из этого весьма элегантного дома, не воздав должного строгому и изящному вкусу владельца и его умению ценить то высокое искусство, которому я посвятил всю свою жизнь и расцвету и успехам которого пожертвовал... гм... всем состоянием, – то я буду вам весьма признателен.

– Миледи посылает поклон мисс Пинч, – неожиданно появившись, произнес лакей, совершенно тем же тоном, что и раньше, – и желала бы знать, чему барышня сейчас обучается.

– А! Вот и молодой человек, – сказал мистер Пексниф. – Он может передать карточку. Будьте любезны, молодой человек, с поклоном от меня. Дорогие мои, мы препятствуем занятиям. Идемте.

На минуту возникло некоторое замешательство из-за того, что миссис Тоджерс открыла плетеную корзиночку и поспешила вручить «молодому человеку» одну из своих собственных карточек, на которых, кроме разных подробностей насчет условий оплаты в коммерческом заведении, имелось еще и примечание в том смысле, что М. Т. при сем пользуется случаем принести благодарность джентльменам, которые оказали ей предпочтение,

и просит, если они довольны столом, не отказать в любезности порекомендовать ее своим знакомым. Но мистер Пексниф с замечательным присутствием духа перехватил этот документ, спрятал к себе в карман и застегнулся на все пуговицы.

После чего он обратился к мисс Пинч еще снисходительнее и любезнее прежнего, – так как было желательно дать ясно понять лакею, что они вовсе ей не друзья, а покровители:

– Всего лучшего! До свидания! Господь вас благослови! Вы можете рассчитывать на мое постоянное покровительство вашему брату Томасу. Не беспокойтесь ни о чем, мисс Пинч!

– Благодарю вас, – растроганно сказала сестра Тома, – тысячу раз благодарю!

– Не стоит благодарности, – возразил мистер Пексниф, ласково глядя ее по голове. – Лучше и не поминайте про это. Иначе я рассержусь. Мое милое дитя (к воспитаннице), прощайте! Это волшебное создание, – продолжал мистер Пексниф, мечтательно глядя в упор на лакея, как будто имел в виду именно его, – явившись на моем пути, озарило его таким блеском, что я никогда этого не забуду. Дорогие мои, вы готовы?

Они были еще не совсем готовы, потому что никак не могли расстаться с воспитанницей мисс Пинч. В конце концов они оторвались от нее и, величественно прошелестев юбками мимо бедной мисс Пинч, каждая с надменным кивком и книксеном, задушенном при самом рождении, выплыли в коридор.

Молодому человеку очень не скоро удалось выпроводить их за дверь, потому что мистер Пексниф, восхищаясь убранством дома, поминутно задерживался то здесь, то там (а особенно у дверей в гостиную) и изливал свой восторг очень громко и в самых ученых выражениях. Следуя от кабинета к прихожей, он успел изложить в общих чертах всю архитектурную премудрость, относящуюся к жилым домам, и когда они выбрались в сад, его красноречие было в самом разгаре.

– Посмотрите, – пятась от крыльца, говорил мистер Пексниф, слегка прищурившись и склонив голову набок, чтобы таким образом лучше оценить пропорции фасада. – посмотрите, дорогие мои, на этот карниз, который поддерживает крышу, и обратите внимание на его воздушность, особенно в том месте, где он огибает южный угол здания, и вы согласитесь со мною, что... Как поживаете, сэр? Надеюсь, вы здоровы?

Прервав свою речь этими словами, он весьма учтиво поклонился пожилому джентльмену в окне верхнего этажа, к которому обратился не потому, что тот мог его слышать (это было совершенно невозможно), а просто в виде аккомпанемента, сопутствующего поклону.

– Не сомневаюсь, дорогие мои, что это и есть владелец, – сказал мистер Пексниф, делая вид, будто указывает на разные другие красоты здания. – Я был бы очень рад с ним познакомиться. Мало ли что из этого может впоследствии. Он смотрит в нашу сторону, Чарити?

– Он открывает окно, па!

– Ага! – негромко воскликнул мистер Пексниф. – Отлично! Он догадался, что я архитектор. Он, верно, слышал меня сейчас, в доме. Не смотрите на него! Что же касается желобчатых колонн портала, дорогие мои...

– Эй, вы! – крикнул джентльмен.

– Ваш слуга, сэр, – сказал мистер Пексниф, снимая шляпу, – честь имею представиться...

– Сойдете вы с травы или нет! – зарычал джентльмен.

– Прошу прощения, сэр, – сказал мистер Пексниф, не веря своим ушам. – Вы изволили сказать...

– Сойдите с травы! – сердито повторил джентльмен.

– Мы не хотели беспокоить вас, сэр, – начал мистер Пексниф с улыбкой.

– А сами беспокоите, – возразил джентльмен, – да, да, непозволительно беспокоите и лезете на траву. Вы же видите: вот дорожка. Для чего она, по-вашему? Эй, откройте-ка там ворота! Выведите их всех вон!

С этими словами он захлопнул окно и скрылся.

Мистер Пексниф не спеша надел шляпу и в глубоком молчании направился к экипажу, по дороге с большим интересом разглядывая облака. Подсадив в экипаж сначала обеих дочерей, а потом миссис Тоджерс, он некоторое время стоял, глядя на него, как будто был не вполне уверен, коляска это или храм. Решив, наконец, этот вопрос, он уселся на свое место, положил руки на колени и улыбнулся трем своим спутникам.

Однако его дочери, не обладая таким присутствием духа, дали волю своему негодованию. Вот что значит, говорили они, носиться с такими, как эти Пинчи. Вот что значит ставить себя на одну доску с подобными личностями. Вот что значит унижаться до знакомства с такими отвратительными, наглыми, дерзкими, хитрыми девчонками, как эта Пинч. Так они и думали. Так они и предсказывали, не дальше как сегодня утром, – свидетельница миссис Тоджерс. К этому они прибавили, что хозяин дома, который принял их, конечно, за друзей мисс Пинч, поступил совершенно правильно, именно так, как следовало ожидать при создавшихся обстоятельствах. К этому они прибавили еще (не совсем последовательно), что он медведь и грубиян, – и тут уже рекой хлынули слезы, унося с собой все прочие эпитеты.

Впрочем, мисс Пинч вряд ли была столько виновата в этом деле, сколько серафим, который немедленно по отбытии гостей полетел в главный штаб с донесением и во всех подробностях доложил о том, с какой наглостью ему навязывали визитную карточку, которую потом передали через лакея, и это-то преступление, вместе с некоторыми скромными замечаниями мистера Пекснифа насчет архитектуры, возможно, в известной мере содействовало их изгнанию. Бедной мисс Пинч, однако, пришлось выдержать атаку с обеих сторон: мамаша серафима сделала ей строжайший выговор за то, что у нее такие вульгарные знакомства; и она убежала к себе в комнату, обливаясь слезами, которых долгое время не могли осушить ни свойственная ей жизнерадостность и кротость характера, ни радость свидания с мистером Пекснифом, ни полученное от брата письмо.

А мистер Пексниф, едучи в кабриолете со своими дамами, высказался в том смысле, что всякое доброе дело уже в себе самом заключает награду и что если б ему даже дали пинка по этому случаю, то он только порадовался бы. Но это нисколько не утешило девиц, которые ожесточенно грызли его всю обратную дорогу, а подчас в их словах сквозило и живейшее желание наброситься на преданную миссис Тоджерс, чьей внешности, а главное неприличной визитной карточке и плетеной корзинке, они приписывали неудачу визита.

В пансионе этот вечер проходил весьма оживленно, что объяснялось отчасти разными дополнительными приготовлениями к завтрашнему обеду, отчасти же обычной для этого дома субботней суетой, особенно в те часы, когда белье каждого из джентльменов приносилось от прачки в особом маленьком узелке с приколотым сверху особым счетом. В доме чуть не до полуночи слышалась беготня и топот, во дворе беспрерывно мелькали таинственные огни, усиленно громыхал колодезный насос и без отдыха дребезжала ведерная ручка. Из отдаленной кухни доносились визгливые пререкания неизвестных особ женского пола с миссис Тоджерс, а также звуки, говорившие о том, что в мальчишку швыряют какими-то металлическими предметами небольших размеров. По субботам этот юноша имел обыкновение сновать по всему дому в зеленом байковом фартуке, закатав рукава выше локтей; по субботам же, именно оттого что работы было много, он сравнительно чаще поддавался искушению, отпирая кому-нибудь дверь, выскочить в переулок и поиграть с уличными мальчишками в чехарду и другие игры, пока за ним не отправляли кого-нибудь в погоню и не тащили его домой за волосы или за ухо; таким образом, его присутствие особенно чувствовалось в этот день и заметно способствовало субботнему оживлению в пансионе миссис Тоджерс.

В эту субботу он был особенно деятелен и выказывал обеим мисс Пексниф немало внимания; пробегая мимо комнаты миссис Тоджерс, где девицы сидели вдвоем перед камином и вышивали при свете одинокой свечи, он никак не мог удержаться от того, чтобы не просунуть голову в дверь и не адресоваться к ним с каким-нибудь юмористическим замечанием, вроде: «А, вот они где!», или: «Ишь ты, как здорово!», и тому подобными приветствиями.

– Слушайте-ка, барышни, – сообщил он шепотом, улучив минуту во время беготни назад и вперед, – завтра будет суп. Она сейчас его варит. Думаете, воды подливает? Ну ни капельки, вот хоть бы столечко!

Когда в дверь снова постучались, он побежал на стук и по пути опять просунул к ним голову:

– Слушайте-ка! Завтра куры будут. Думаете, одна кожа да кости? Как бы не так!

Через минуту он сообщил в замочную скважину:

– Завтра будет рыба – только что привезли. Смотрите, не ешьте! – и с этим зловещим предостережением исчез опять.

В скором времени он вернулся накрывать на стол, так как между девицами и миссис Тоджерс было условлено, что они скушают специально для них приготовленные телячьи котлетки в уединении хозяйских апартаментов. При этом мальчишка развлекал девиц, беря в рот зажженную свечку и демонстрируя светящуюся изнутри физиономию, а после этого фокуса приступил к исполнению своих обязанностей, причем, раскладывая ножи, предвзительно дышал на лезвие и полировал его о фартук, уже знакомый читателю. Накрыв на стол, он ухмыльнулся сестрам и высказал уверенность в том, что им предстоит «знатное угощение».

– А долго его еще ждать, Бейли? – спросила Мерри.

– Да нет, – ответил Бейли, – все уже готово. Когда я уходил наверх, она там выковыривала вилкой кусочки помягче и пробовала.

Не успел он произнести эти слова, как уже получил благодарность по затылку, такую полновесную, что отлетел к стене, и увидел перед собой негодующую миссис Тоджерс с блюдом в руке.

– Ах ты негодяй! – воскликнула эта дама. – Ах ты скверный лгунишка!

– Сами-то вы не лучше, – огрызнулся Бейли, оберегая голову по способу, изобретенному знаменитым боксером Томасом Криббом. – А ну-ка, ну-ка, еще! Валяйте, чего стесняться.

– Отвратительный мальчишка, – пожаловалась миссис Тоджерс, ставя тарелку на стол, – я в жизни такого не видывала. Джентльмены его балуют ужасно и учат бог знает чему, так что теперь, пожалуй, одна только виселица его исправит.

– Ну да, – как же! – отозвался Бейли. – А вы зачем подливаете воду в пиво? Я от этого захворать могу.

– Ступай вниз, дрянной мальчишка! – закричала миссис Тоджерс, распахивая дверь настежь. – Слышишь? Ступай сию минуту!

Ловко увернувшись от нее, он убежал и больше не показывался в тот вечер, кроме одного только раза, когда принес наверх стаканы и горячую воду и очень смутил обеих мисс Пексниф, корча страшные рожи за спиной ничего не подозревавшей миссис Тоджерс. Воздав таким образом должное своим оскорбленным чувствам, он удалился вниз и здесь, в обществе сальной свечи и кишевших кругом тараканов, с завидной энергией принялся за чистку платья и сапог и провозился с этим делом до глубокой ночи.

Предполагалось, что по-настоящему малолетнего слугу Зовут Бенджамином, но, кроме этого у него было множество самых разнообразных кличек. Бенджамин очень скоро переделали в дядю Бена, а дядю Бена просто в дядю, а от этой клички было уже недалеко перейти к Варнуэлу – в память некоего дядюшки, убитого в Кемберуэле своим племянником Джор-

джем Барнурлом во время уединенной прогулки по собственному саду. Постояльцы имели, кроме того, обыкновение, шутки ради, то и дело присваивать ему имя очередной знаменитости – какого-нибудь известного преступника или министра; если же текущие события не представляли ничего интересного, они не брезговали и историей и на ее страницах отыскивали какое-нибудь громкое имя, например: мистер Питт³¹, юный Браунригг³², сын убийцы, и тому подобное. В то время, о котором идет речь, он был известен среди джентльменов под именем Бейли-младшего, присвоенным ему, должно быть, в противовес Старому Бейли³³, а возможно и в память одной злополучной девицы Бейли, которая безвременно погибла, наложив на себя руки, и была увековечена в балладе.

По воскресеньям в пансионе миссис Тоджерс обыкновенно обедали в два часа – самое подходящее время, как нельзя лучше устраивавшее всех – и миссис Тоджерс в отношении булочника и джентльменов в отношении послеобеденных визитов. Но в то воскресенье, когда должно было состояться официальное знакомство девиц Пексниф с пансионом и со всем обществом, обед отложили до пяти, затем чтобы все было на благородную ногу, как того требовали обстоятельства.

Около этого часа Бейли-младший с величайшим восторгом облачился в полный комплект подержанного платья, которое было ему не по росту велико, а самое главное – в чистую рубашку таких необыкновенных размеров, что один из джентльменов (славившийся своим остроумием) немедленно окрестил ее «хомутом». Без четверти пять в дверь комнаты миссис Тоджерс постучалась депутация, состоявшая из мистера Джинкинса и еще одного джентльмена, по фамилии Тендер, и оба они, будучи официально представлены обеим девицам Пексниф их папашей, который находился тут же, попросили разрешения сопровождать девиц наверх.

Гостиная в пансионе М. Тоджерс была совсем не похожа на обыкновенную гостиную, до такой степени не похожа, что человеку непосвященному и в голову не пришло бы, что это гостиная; полы были сплошь застланы половиками, потолок, включая даже и толстую балку посередине, был оклеен обоями. Кроме трех небольших окон в глубоких нишах, смотревших на противоположные ворота, имелось еще одно окно, которое заглядывало, ничуть не пытаясь этого скрыть, прямо в спальню мистера Джинкинса. По одной стороне комнаты, под самым потолком, шли в два ряда застекленные окошечки, освещавшие лестницу; тут были расположенные лесенкой стальные шкафчики самого странного устройства, со стеклянными дверцами, придававшими им вид стальных часов; и даже дверь, выкрашенная в черную краску, смотрела на всех двумя круглыми стеклянными глазками с любопытным зеленым зрачком посередине каждого.

Здесь-то и собрались все джентльмены. Как только появился мистер Джинкинс под руку с Чарити, раздались крики: «Идут, идут!» и «Браво, Джинк!»; но эти крики перешли в восторженный рев, когда за ним показались мистер Тендер, ведущий Мерси, и мистер Пексниф, замыкавший шествие рука об руку с миссис Тоджерс.

Затем джентльмены были представлены дамам. Был тут и джентльмен спортсменской складки, любитель задавать редакторам воскресных газет каверзные вопросы насчет скачек, считавшиеся среди его приятелей настоящими головоломками; и джентльмен актерской складки, в юности серьезно помышлявший о сцене, но благодаря интригам так и просидевший всю жизнь за кулисами; и джентльмен ораторской складки, мастер произносить

³¹ *Мистер Питт*. – Диккенс, очевидно, имеет в виду Питта Младшего (1759–1806), известного английского государственного деятеля, премьер-министра Англии в период Великой французской революции и одного из главных организаторов антинаполеоновских коалиций.

³² *Юный Браунригг* – сын Елизавет Браунригг, убийцы, повешенной в середине XVIII века.

³³ *Старый Бейли* – центральный уголовный суд Англии (Олд-Бейли), получивший свое название от улицы, на которой он находился.

спичи; и джентльмен литературной складки, писавший пасквили на всех остальных и знавший наперечет все чужие слабости, но только не свои собственные. Был тут и джентльмен музыкальной складки, любитель пения; был и любитель трубки; был и охотник кутнуть; некоторые джентльмены были любители сразиться в вист, и почти все они были большие охотники играть на бильярде и держать пари. Надо думать, что все это были джентльмены деловой складки, так как все они имели занятия по торговой части, а сверх того все они, каждый на свой лад, были большие охотники до развлечений. Мистер Джинкинс был джентльмен светской складки, он почти каждое воскресенье прогуливался в парках и знал по внешнему виду множество карет. Кроме того, он любил намекать весьма таинственно на каких-то роскошных женщин; подозревали даже, что он скомпрометировал одну графиню. Мистер Тендер был джентльмен юмористической складки, тот самый, который пустил в ход шуточку насчет «хомута», и это блистательное словцо переходило теперь из уст в уста под названием «последняя острота Тендера», встречая во всех углах комнаты самый восторженный прием. Не мешает добавить, что мистер Джинкинс, сорокалетний кассир из рыбной лавки, был значительно старше всего остального общества. Он был также старейшим из жильцов и по праву этого двойного старшинства занимал в доме первое место, о чем уже упоминала миссис Тоджерс.

С обедом произошла значительная заминка, и бедная миссис Тоджерс, получив с глаз на глаз выговор от Джинкинса, по меньшей мере раз двадцать выбегала на кухню поторопить и каждый раз возвращалась с беспечным видом, будто у нее и в мыслях не было ничего подобного и она вовсе никуда не выходила. Тем не менее разговор шел без перебоя, ибо один из джентльменов, коммивояжер парфюмерной фирмы, показывал всему обществу интереснейшую штучку – какое-то совсем особенное мыло для бритья, вывезенное им из Германии, а джентльмен литературной складки прочел (по общей просьбе) сатирические стихи, написанные им не так давно по поводу замерзшего во дворе бака с водой. Эти развлечения и происходившие по их поводу разговоры отлично помогли скоротать время до появления обеда, о котором Бейли-младший доложил следующим образом:

– Харч на столе!

После такого сообщения все немедленно спустились вниз, причем некоторые шутники в задних рядах вели под руку других джентльменов, в подражание счастливицам, завладевшим девицами Пексниф.

Мистер Пексниф произнес молитву – краткую и благочестивую молитву. – призывая благословение свыше на аппетит присутствующих и поручая всех тех, кому нечего есть, заботам провидения, которое, как сказано было в молитве, обязано о них печься. После чего приступили к еде не слишком чинно, зато с аппетитом; стол ломился под тяжестью не только тех деликатесов, о которых обе мисс Пексниф были предупреждены заранее, но и от вареной говядины, жареной телятины, грудинки, пирогов, паштетов и изобилия тех неудобоваримых овощей, которые пользуются особым уважением хозяек за их насыщающие свойства. Кроме того, тут были бутылки с портером, бутылки с вином, бутылки с элем и другими крепкими напитками, отечественного и иностранного происхождения.

Все это очень нравилось обеим мисс Пексниф, которые пользовались огромным спросом; сидя во главе стола по правую и левую руку мистера Джинкинса, они ежеминутно получали приглашение чокнуться с каким-нибудь новым поклонником. Вряд ли еще когда-нибудь в жизни они были так приятно настроены и так разговорчивы, особенно Мерси, которая была в необыкновенном ударе и столько наговорила остроумного своим собеседникам, что поразила всех своей живостью и находчивостью, и все на нее смотрели как на чудо. «Словом сказать, – как заметила эта молодая особа, – только теперь мы почувствовали, что действительно находимся в Лондоне, да еще первый раз в жизни».

Их юный приятель Бейли принимал в обеих девицах живейшее участие, не оставляя, впрочем, покровительственного тона; он поощрял их всеми средствами, какие были в его власти: когда никто другой на него не смотрел, он выказывал им свое одобрение кивками, подмигиванием и тому подобными знаками внимания, а также поминутно прикладывал к носу штопор, намекая на вакхический характер сборища. По правде сказать, даже остроумие обеих мисс Пексниф и неусыпная бдительность миссис Тоджерс, провожавшей глазами каждый кусок, были не так любопытны, как поведение этого замечательного мальчика, который ровно ничем не смущался и ни от чего не терял душевного равновесия. Если что-нибудь из посуды, какое-нибудь блюдо или тарелка, выскальзывало у него из рук (что произошло раза два), он не обращал на это никакого внимания, как и подобает светскому человеку, и не выражал ни малейшего сожаления, чтобы не усугублять тягостных переживаний всего общества. Не докучал он присутствующим и постоянным швырянием взад и вперед, чем грешат ныне хорошо вышколенные слуги; наоборот, сознавая, что услужить такому многослюдному собранию дело совершенно безнадежное, он предоставил джентльменам накладывать себе на тарелки все что им вздумается, а сам почти безотлучно стоял за стулом мистера Джинкинса, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, и, явно наслаждаясь беседой, первый смеялся всякой шутке.

Десерт был роскошный. И долго ждать не пришлось. Тарелки из-под пудинга наскоро вымыли в маленькой лоханке за дверью, пока подавали сыр, и, вытертые не досуха и еще теплые от трения, они все же подоспели вовремя, что от них и требовалось. Горы миндаля, десятки апельсинов, целые фунты изюма, пирамиды печеных яблок, полные тарелки орехов! Да, уж у М. Тоджерс сумеют угостить, коли захотят! Зарубите это себе на носу.

На стол подали еще вина, красные вина и белые вина, а кроме того, большую фарфоровую чашу с пуншем, который был сварен одним из джентльменов, охотником шутить, заклинавшем обеих мисс Пексниф не смущаться скромными размерами чаши, потому что в доме найдется из чего сварить и еще хоть полдюжины таких. Боже ты мой, как девицы смеялись! Как они раскашлялись, отхлебнув самую капельку, – такой крепкий был этот пунш! И как они опять смеялись, когда кто-то стал уверять их, что если бы не цвет, этот пунш можно было бы принять за парное молоко, такого он невинного свойства. Какой крик подняли, джентльмены, когда девицы стали трогательно упрашивать мистера Джинкинса, чтобы он позволил им разбавить пунш горячей водой, и с каким стыдливым румянцем каждая из них допила свой стакан до дна!

Но вот наступает трудная минута. Солнце, по выражению мистера Джинкинса (ловкий кавалер, этот Джинкинс, – никогда не ударит лицом в грязь), готовится покинуть небосклон.

– Мисс Пексниф, – говорит чуть слышно миссис Тоджерс, – не хотите ли вы...

– О нет, что вы, миссис Тоджерс, больше ничего не хочу.

Миссис Тоджерс поднимается с места, обе мисс Пексниф поднимаются с места, все поднимаются с места. Мисс Мерси Пексниф ищет глазами свой шарф на полу. Где же он? Бог ты мой, куда же он девался? Милая девушка, шарф на ней, только не на прелестной шейке, он спустился ниже, на ее пышный стан. Десятки рук тянутся помочь ей. Она – вся смущение. Самый младший из джентльменов жаждет крови мистера Джинкинса. Она одним прыжком догоняет старшую сестру. Та стоит в дверях, одной рукой обнимая за талию миссис Тоджерс. Другой рукой она обнимает сестру. Диана, какое зрелище! Последнее, что видят джентльмены, – это легкий силуэт, затем пируэт – и все кончено!

– Джентльмены, за здоровье дам!

Неописуемый восторг! Встает джентльмен ораторской складки и разражается вдруг потоком красноречия, который не знает решительно никаких преград. Но тут ему подсказали еще один тост – такой тост, к которому, конечно, присоединится все общество. Среди них присутствует некто – именно это лицо имеет в виду оратор, – кому все они обязаны благодар-

ностью. Он повторяет: обязаны благодарностью. Их грубые натуры испытали сегодня смягчающее и возвышающее влияние прелестных женщин. В их обществе находится джентльмен, которого две очаровательные, исполненные совершенств девушки почитают и уважают как виновника своего существования. Да, еще в те дни, когда обе мисс Пексниф лепетали едва внятно, они уже называли этого человека папой! (Взрыв аплодисментов.) Оратор провозглашает тост: «За мистера Пекснифа, да благословит его бог!» Все пожимают руку мистеру Пекснифу и пьют его здоровье. Самый младший из джентльменов проделывает эту церемонию с трепетом; ему кажется, что некий таинственные флюиды исходят от человека, который имеет право называть прелестное создание в розовом шарфе своей дочерью.

Что говорит мистер Пексниф в ответной речи? Или лучше поставим вопрос так: что оставляет он невысказанным? Решительно ничего. Требуется еще пунша, пунш приносят, и все пьют. Восторг доходит почти до предела. Каждый из присутствующих проявляет свои склонности свободнее. Джентльмен актерской складки декламирует. Джентльмен-вокалист угощает общество песней. Тендер оставляет далеко за флагом тендера всех предшествующих пиров. Он встает и предлагает тост: «За патриарха нашего пансиона! За нашего общего друга Джинкинса! За старину Джинка, если будет позволено назвать его этим фамильярным и ласкательным именем!» Самый младший из джентльменов неистово протестует. Он этого не потерпит, он не согласен, он решительно против. Но его глубокое чувство остается непонятым. Думают, что он хватил лишнее, и никто не обращает на него внимания.

Мистер Джинкинс благодарит присутствующих от всего сердца. Это вне всякого сомнения счастливейший день в его ничем не замечательной жизни. Окидывая взглядом собрание, он чувствует, что ему не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Он скажет только одно. Можно, он надеется, считать вполне установленным, что пансион М. Тоджерс всегда постоит за себя и, при случае, не ударит лицом в грязь, не осрамится перед соседями, а, быть может, даже превзойдет их. Под гром рукоплесканий он напоминает джентльменам, что им не раз приходилось слышать о заведении приблизительно того же типа на Кэннон-стрит; приходилось слышать и похвальные отзывы о нем. Он вовсе не желает обидеть кого бы то ни было этим сравнением, он как нельзя более далек от этого, но если заведение на Кэннон-стрит сможет когда-нибудь блеснуть таким сочетанием ума и красоты, какое блистало сегодня у них за столом, или угостить таким обедом, каким их только что угощали, — он первый принесет свои поздравления. А до тех пор, джентльмены, он останется верен пансиону М. Тоджерс.

Опять пунш, опять восторг, опять речи! Пьют за здоровье всех по очереди, кроме самого младшего из джентльменов. Тот сидит в стороне, опершись локтем на спинку свободного стула, и презрительно-злобно косится на Джинкинса. Тендер, распираемый красноречием, предлагает выпить за здоровье Бейли-младшего, слышится икота и звон разбитого стакана. Мистер Джинкинс чувствует, что пора присоединиться к дамам. Он провозглашает напоследок здоровье миссис Тоджерс. Она достойна того, чтобы ее чествовали особо. Слушайте, слушайте! Вот именно, без сомнения достойна. Обычно все они к ней придираются, но сейчас каждый чувствует, что жизни не пожалел бы ради нее.

Они поднимаются наверх, где их не ждут так скоро: миссис Тоджерс дремлет, мисс Чарити поправляет прическу, а Мерси полулежит в грациозной позе, устроившись на широком подоконнике, как на диване. Она торопится встать, но мистер Джинкинс умоляет ее не шевелиться; она так прелестна, так грациозна, замечает он, что просто грех ее тревожить. Она снисходит к его просьбе, смеясь обмахивается веером, роняет этот веер на пол, и все толпой бросаются поднимать его. Будучи единогласно признана царицей праздника, она становится жестокой и капризной, посылает своих поклонников с поручениями к другим джентльменам и совершенно забывает о них, прежде чем они успевают вернуться с ответом, изобретает для них тысячи пыток, раздирая их сердца в клочки. Бейли разносит чай

и кофе. Вокруг Чарити тоже собралась горсточка поклонников – из тех, которые не могут пробиться к ее сестре. Самый младший из джентльменов бледен, но спокоен и по-прежнему сидит в стороне, ибо ум его находит отраду в общении с самим собой и душа его бежит шумной беседы. Его присутствие и его обожание не остаются незамеченными. Он видит это по блеску ее глаз, по взгляду, брошенному украдкой. Берегись, Джинкинс, не доводи до крайности человека, впавшего в отчаяние!

Мистер Пексниф последовал наверх за своими молодыми друзьями и уселся на стул рядом с миссис Тоджерс. Он уже пролил чашку кофе себе на брюки, по-видимому не замечая этого обстоятельства, не видит он и того, что кусок печенья лежит у него на колене.

– Ну, как же они вас чествовали там, внизу? – спросила хозяйка.

– Мне был оказан такой прием, сударыня, – отвечал мистер Пексниф, – что я никогда не смогу вспомнить о нем без слез или думать о нем без волнения. Ах, миссис Тоджерс!

– Силы небесные! – воскликнула эта дама. – Отчего это вы так расстроились, сударь?

– Я человек, сударыня, – произнес мистер Пексниф, обливаясь слезами и еле ворочая языком, – но кроме того, я отец семейства. Кроме того, я вдовец. Мои чувства, миссис Тоджерс, нельзя окончательно задушить подушкой, как малолетних принцев в Тауэре³⁴. Они в полном расцвете, и сколько бы я ни старался подавить их, они все-таки прорвутся!

Тут он вдруг заметил кусок печенья у себя на колене и уставился на него, бессмысленно покачивая головой, с таким убитым видом, будто в этом кондитерском изделии таился его злой гений и мистер Пексниф посылал ему кроткий упрек.

– Она была прекрасна, миссис Тоджерс! – сказал он без всяких предисловий, обращая к ней свои осовелые глаза. – У нее было небольшое состояние.

– Так мне говорили, – отозвалась миссис Тоджерс весьма сочувственно.

– Вот это ее дочери, – сказал мистер Пексниф, указывая на девиц и расстраиваясь еще больше. Миссис Тоджерс в этом не сомневалась.

– Мерси и Чарити, – сказал мистер Пексниф. – Милосердие и Сострадание. Надеюсь, в этих именах нет ничего греховного?

– Мистер Пексниф! – воскликнула миссис Тоджерс. – Какая ужасная улыбка! Уж не больны ли вы, сударь?

Он сжал рукой ее плечо и ответил очень торжественно и очень слабым голосом:

– Хроническое.

– Гастрическое? – вскрикнула испуганная миссис Тоджерс.

– Хроническое, – повторил он с некоторым усилием. – Это хроническое. Хроническая болезнь. Я с детства этим страдаю. Она сведет меня в могилу.

– Боже сохрани! – вскрикнула миссис Тоджерс.

– Да, сведет, – повторил мистер Пексниф, в отчаянии махну на все рукой. – И пусть, я даже рад. Вы на нее похожи, миссис Тоджерс.

– Оставьте мое плечо, мистер Пексниф, прошу вас. Как бы не увидел кто из джентльменов.

– Ради нее, – сказал мистер Пексниф. – Позвольте мне – в память покойницы. Ради голоса из-за могилы... Вы так похожи на нее, миссис Тоджерс. В каком мире мы живем!

– Ах! Вот уж, можно сказать, ваша правда! – воскликнула миссис Тоджерс.

– Боюсь, что это легкомысленный и тщеславный мир! – изрек мистер Пексниф, преисполняясь скорби. – Эти молодые люди вокруг нас... Разве они понимают, какая на нас лежит ответственность? Ничуть. Дайте мне другую вашу руку, миссис Тоджерс.

³⁴ ...как малолетних принцев в Тауэре... – Речь идет о сыновьях английского короля Эдуарда IV (1442–1483), задушенных в Тауэре по приказу их опекуна и дяди, Ричарда Глостера, впоследствии короля Ричарда III (1452–1485). Это событие изображено Шекспиром в трагедии «Ричард III» (1592–1593).

Миссис Тоджерс заколебалась и ответила, что это, пожалуй, ни к чему.

– Разве голос из-за могилы не имеет никакого значения? – сказал мистер Пексниф с нежным укором. – Какое неверие! Чудное создание!

– Тише! – убеждала его миссис Тоджерс. – Ну что вы это, право!

– Это не я, – ответил мистер Пексниф. – Не думайте, что это я. Это голос, ее голос.

Покойная миссис Пексниф обладала, как видно, необыкновенно густым и хриплым для дамы голосом, несколько даже заикающимся голосом и, сказать по правде, довольно-таки пьяным голосом, если он хоть сколько-нибудь был похож на тот, каким говорил мистер Пексниф. Возможно, однако, что он ошибался.

– Это был радостный день для меня, миссис Тоджерс, но это был и мучительный день. Он напомнил мне о моем одиночестве. Что я такое на земле?

– Джентльмен редких качеств, мистер Пексниф, – отвечала миссис Тоджерс.

– Что же, тут есть своего рода утешение, – воскликнул мистер Пексниф. – Но так ли это?

– Лучше вас не найти человека, – сказала миссис Тоджерс. – Я уверена.

Мистер Пексниф улыбнулся сквозь слезы и слегка покачал головой.

– Вы очень добры, – сказал он, – благодарю вас. Для меня всегда большая радость, миссис Тоджерс, осчастливить кого-нибудь из молодого поколения. Счастье моих учеников – это главная цель моей жизни. Я просто души в них не чаю. Они тоже души во мне не чают – иногда.

– Всегда, я думаю, – сказала миссис Тоджерс.

– Когда они говорят, будто ничему не выучились у меня, сударыня, – прошептал мистер Пексниф, глядя на миссис Тоджерс с таинственностью заговорщика и делая знак, чтобы она подставила ухо поближе, – когда они говорят, будто ничему не выучились и будто бы плата слишком высока, – они лгут, сударыня! Мне бы, вполне естественно, не хотелось этого касаться, и вы меня поймете, но я говорю вам по старой дружбе: они лгут!

– Какие, должно быть, дрянные мальчишки! – сказала миссис Тоджерс.

– Сударыня, – произнес мистер Пексниф, – вы правы. Я уважаю вас за это замечание. Позвольте сказать вам на ухо. Родителям и Опекунам! Надеюсь, это останется между нами, миссис Тоджерс?

– О, совершенно между нами, разумеется! – воскликнула эта дама.

– Родителям и Опекунам! – повторил мистер Пексниф. – Ныне вам представляется редкая возможность, соединяющая в себе все преимущества лучшего для архитектора практического образования с семейным уютом и постоянным общением с лицами, которые, как бы ни были ограничены их способности (обратите внимание!) и скромна их сфера, тем не менее вполне сознают свою моральную ответственность...

Миссис Тоджерс, по-видимому, никак не могла понять, что бы это могло значить, да и недаром, ибо, если читатель припомнит, это был обычный текст объявления о том, что мистеру Пекснифу нужен ученик, а сейчас оно пришлось ни к селу ни к городу. Однако мистер Пексниф поднял палец вверх, предупреждая, чтобы она его не прерывала.

– Не знаете ли вы кого-нибудь из родителей или опекунов, миссис Тоджерс, – спросил мистер Пексниф, – кто желал бы воспользоваться таким случаем для молодого джентльмена? Предпочтение будет оказано сироте.

Не знаете ли вы какого-нибудь сироты с тремя или четырьмя сотнями фунтов дохода?

Миссис Тоджерс призадумалась, потом покачала головой.

– Если вы услышите про сироту с тремя-четырьмя сотнями фунтов годового дохода, – сказал мистер Пексниф, – то пускай друзья этого милого юноши адресуют письмо с оплаченным ответом на почту в Солсбери, для С. П. Нет, нет, мне неизвестно, кто он такой. Не

тревожьтесь, миссис Тоджерс, – произнес мистер Пексниф, наваливаясь на нее всей тяжестью, – это хроническое, хроническое! Дайте мне чего-нибудь промочить горло!

– Боже мой, мисс Пексниф! – закричала миссис Тоджерс во весь голос. – Вашему папе очень плохо!

Все опрометью бросились к мистеру Пекснифу, но сей достойный джентльмен, сделав невероятное усилие, выпрямился и, поднявшись на ноги, обвел собрание взглядом, выражавшим неизреченную мудрость. Мало-помалу это выражение уступило место улыбке, слабой, беспомощной, скорбной улыбке, умильной до приторности.

– Не сокрушайтесь обо мне, друзья мои, – ласково сказал мистер Пексниф. – Не рыдайте надо мной. Это хроническое. – И с этими словами, сделав бесплодную попытку стащить с себя башмаки, он повалился головой в камин.

Самый младший из джентльменов во мгновение ока извлек его оттуда. Да, прежде чем успел загореться хотя бы один волосок на голове мистера Пекснифа, он вытащил на предкаминный коврик его, ее отца!

Она была почти вне себя. Ее сестра тоже. Джинкинс утешал обеих. Все их утешали. Каждый нашел, что им сказать, кроме самого младшего из джентльменов, который делал всю черную работу и с благородным самопожертвованием, не замеченный решительно никем, держал голову мистера Пекснифа. Наконец все собрались вокруг мистера Пекснифа и решили перенести его наверх, в постель. Самый младший из джентльменов получил от Джинкинса выговор за то, что разорвал шюртук мистера Пекснифа. Ха-ха! Но какое это имеет значение.

Они понесли его наверх, толкая на каждом шагу младшего из джентльменов. Спальня была на самом верху, и нести было не близко, однако и конце концов они его донесли. По дороге он все время просил чего-нибудь промочить горло. Как видно, навязчивая идея! Самый младший из джентльменов предложил ему глоток воды, за что мистер Пексниф выбранил его как нельзя обиднее.

Все остальное взяли на себя Джинкинс и Тендер; они уложили его как могли удобнее на кровать, поверх одеяла, и оставили отходящим ко сну. Но не успела еще вся компания спуститься с лестницы, как на верхней площадке, пошатываясь, возник призрак мистера Пекснифа в весьма странном одеянии. Как выяснилось, ему желательно было узнать их воззрения на жизнь человеческую.

– Друзья мои, – воскликнул мистер Пексниф, выглядывая из-за перил, – давайте совершенствовать наш разум путем взаимного обмена мнений! Будем добродетельны. Будем размышлять о жизни. Где Джинкинс?

– Здесь, – отозвался этот джентльмен. – Ложитесь-ка опять в постель.

– Постель! – сказал мистер Пексниф. – В постель! «Это плачется ленивец, громко жалует он, для чего так рано утром вы нарушили мой сон». Если есть среди вас юный сирота, который не прочь продекламировать остальные строки этого простенького стихотворения из сборника доктора Уотса³⁵, то ныне ему предоставляется редкая возможность.

Никто на это не отважился.

– Весьма утешительно, – произнес мистер Пексниф после некоторого молчания. – Даже до чрезвычайности. Прохладно и освежительно, в особенности для ног. Ноги человека, друзья мои, представляют собою прекраснейшее произведение природы. Сравните их с деревянными ножками и заметьте разницу между анатомией природы и анатомией искусства. А знаете ли, – вдруг возвестил мистер Пексниф, перевешиваясь через перила и ни с того ни с сего переходя на игривый тон, каким он беседовал у себя дома с новыми учени-

³⁵ ...из сборника доктора Уотса... – Исаак Уотс (1674–1748) – английский богослов, автор широко известных гимнов и псалмов.

ками, – мне было бы весьма интересно, как представляет себе миссис Тоджерс деревянную ногу, если, конечно, она ничего не имеет против?

Так как после этой речи стало совершенно ясно, что ничего хорошего от мистера Пекснифа ждать уже нельзя, то мистер Джинкинс с мистером Тендером опять поднялись наверх и еще раз уложили его в постель. Но не успели они спуститься и до второго этажа, как он опять выскочил на площадку; и только-только они начали спускаться с лестницы в третий раз, повторив эту операцию, как он выскочил опять. Одним словом, сколько раз его ни уводили в комнату, он каждый раз опять выскакивал на площадку, вооруженный какой-нибудь новой моральной сентенцией, и, свесившись через перила, неизменно повторял ее с таким необычайным воодушевлением и таким неукротимым стремлением учить добру своих ближних, что с ним просто сладу не было.

Ввиду таких обстоятельств, уложив мистера Пекснифа в тридцатый раз или около того, Джинкинс взялся силой удерживать его в лежащем положении, а Тендера отправил вниз, на поиски Бейли-младшего, в сопровождении которого тот вскоре и возвратился. Сей юноша, узнав, какого рода услуга от него требуется, воодушевился как нельзя больше и тотчас принес табурет, свечку и свой ужин, для того чтобы держать вахту перед дверью спальни со всевозможным комфортом.

После того как с приготовлениями было покончено, мистера Пекснифа заперли, оставив ключ снаружи и поручив Бейли-младшему внимательно прислушиваться, не будет ли каких-нибудь симптомов апоплексического характера, угрожающих жизни пациента, и если таковые окажутся в наличии, звать на помощь немедленно; на Это мистер Бейли с достоинством ответил, что он и сам не без понятия и вообще не зря ставит на письмах к друзьям адрес пансиона М. Тоджерс.

Глава X, где творятся странные вещи, от которых окажутся в зависимости многие события нашего повествования

Однако мистер Пексниф приехал в город по делу. Неужели он об этом забыл? Неужели он только и знал, что веселился с гостеприимными питомцами миссис Тоджерс, пренебрегая более важными обязанностями, требующими пристального внимания, в чем бы они ни заключались? Нет.

Время и прилив никого не ждут, говорит пословица. Зато каждому приходится ждать времени и прилива. Тот прилив, который, достигнув высшей точки, должен был подхватить Сета Пекснифа и понести навстречу фортуне, уже поднимался, и час его был известен. И не где-нибудь на сухом месте, позабыв о приливах и отливах, топтался нерадивый Пексниф, – нет, именно здесь, у самой воды, замочившей уже его подошвы, стоял этот достойный джентльмен, готовый барахтаться в грязи, лишь бы вместе с ней докатиться до обители своих упований.

Доверие, которым его дарили прелестные дочери, было поистине умиротворяющим. Натуру своего родителя они Знали как нельзя лучше, и это позволяло им питать твердую уверенность в том, что он никогда не упустит из виду своей основной цели, чем бы ни занимался. А что этой благородной целью и предметом всех его попечений был он сам и, стало быть, по необходимости, и они обе, девицы тоже знали. Их преданность отцу была беспримерна.

Это дочернее доверие было тем трогательнее, что истинные намерения их родителя в данном случае оставались им совершенно неизвестны. О его делах они знали только то, что каждое утро, после раннего завтрака, он уходил на почту справиться, нет ли писем. По выполнении этой задачи его деловой день бывал закончен, и он снова предавался отдыху, до тех пор пока новый восход солнца не предвещал прибытия новой почты.

Так продолжалось дня три или четыре. Наконец в одно прекрасное утро мистер Пексниф возвратился домой, едва переводя дух от спешки, что было даже странно видеть в нем, обыкновенно медлительном и спокойном, и, пожелав безотлагательно переговорить с дочерьми, заперся с ними на целых два часа для приватной беседы. Из всего, что произошло за это время, известны только следующие слова, сказанные мистером Пекснифом:

– Нам не стоит задумываться над тем, как это вышло, что он так изменился (если окажется, что он действительно изменился). Дорогие мои, у меня есть на этот счет свои догадки, но делиться ими я не стану. Довольно, если я скажу, что нам надо смириться духом, все простить и не помнить зла. Ему нужна наша дружба – пожалуйста. Надеюсь, мы знаем свой долг.

Около полудня в тот же день почтенный старик вышел из наемного экипажа у почтовой конторы и, назвав свою фамилию, справился, нет ли на его имя письма, оставленного до востребования. Письмо лежало уже несколько дней. Оно было надписано рукой мистера Пекснифа и запечатано печатью мистера Пекснифа.

Письмо было очень кратко и не содержало, в сущности, ничего, кроме адреса – с почтительнейшим поклоном и (невзирая на все, что произошло) совершеннейшим почтением мистера Пекснифа. Старик оторвал от него адрес, развеяв все остальное по ветру, и дал его кучеру, с наказом подъехать как можно ближе к месту. В соответствии с этим наказом он был подвезен к Монументу, где опять вышел, отпустил экипаж и пешком направился к пансиону М. Тоджерс.

Хотя все в этом Старике – и лицо, и фигура, и походка, и даже непреклонный вид, с каким он опирался на трость, – выражало неумолимую решимость и твердую волю (хорошо или дурно направленную, сейчас не имеет значения), каких в былое время не сломила бы даже пытка и кои в смертной слабости являли жизни силу, однако в нем заметны были следы колебаний, заставивших его пройти мимо дома, который он искал, и некоторое время прохаживаться взад и вперед в полосе солнечного света, пересекавшей соседнее маленькое кладбище. Быть может, в присутствии этих недвижных груд праха рядом с кипучей городской жизнью было нечто такое, что усилило его колебания, но он ходил по кладбищу взад и вперед, будя своими шагами эхо, до тех пор, пока часы на колокольне не начали во второй раз отбивать четверть и не вывели его из задумчивости. Как только в воздухе замер звон колоколов, он стряхнул с себя оцепенение и, подойдя к Дому большими шагами, постучался в дверь.

Мистер Пексниф сидел в комнатке хозяйки, и гость застал его – совершенно случайно, мистер Пексниф даже извинился – за чтением серьезнейшего богословского трактата. Рядом, на маленьком столике, стояли вино и печенье – опять-таки случайно, и мистер Пексниф опять-таки извинился. По его словам, он уже перестал ожидать гостя, и когда тот постучался в дверь, собирался разделить это скромное угощение со своими дочерьми.

– Дочери ваши здоровы? – спросил старик, кладя шляпу и трость.

Отвечая на этот вопрос, мистер Пексниф напрасно пытался скрыть свое родительское волнение. Да, они здоровы. Они добрые девушки, сказал он, очень добрые. Он не берет на себя смелость советовать мистеру Чезлвиту сесть в кресло или держаться подальше от сквозняка. Он опасается, что, отважившись на это навлечет на себя самые несправедливые подозрения. Поэтому он ограничится указанием, что в комнате есть кресло и что от двери дует. С этим последним неудобством, если ему будет позволено прибавить еще одно слово, довольно часто приходится встречаться в старых домах.

Старик сел в кресло и после нескольких минут молчания сказал:

– Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за то, что вы так скоро приехали в Лондон по моей просьбе, не спрашивая о причинах, – приехали, разумеется, за мой счет.

– За ваш счет, уважаемый сэр? – воскликнул мистер Пексниф тоном величайшего изумления.

– Не в моих правилах, – продолжал Мартин, нетерпеливо отмахнувшись рукой, – не в моих правилах вводить моих... ну, родственников, что ли, в какие бы то ни было расходы из-за личных капризов.

– Капризов, уважаемый сэр? – воскликнул мистер Пексниф.

– Да, это слово едва ли тут подходит, – сказал старик. – Да, вы правы.

Услышав это, мистер Пексниф в душе очень обрадовался, хотя и неизвестно почему.

– Да, вы правы, – повторил Мартин. – Это не каприз. Это доказано, проверено рассудком и испытано путем беспристрастного сравнения. С капризами так не бывает. Кроме того, я человек не капризный. И никогда не был капризным.

– Вне всякого сомнения, нет, – сказал мистер Пексниф.

– А вы почему знаете? – возразил старик резко. – Вы только теперь начнете со мной знакомиться. Вам предстоит проверить это на деле в самом ближайшем времени. Вы и ваши еще узнаете, что я могу быть тверд, и уж если я что задумал, меня не собьешь с толку. Слышите?

– Как нельзя лучше, – сказал мистер Пексниф.

– Я очень сожалею, – размеренно и не спеша продолжал Мартин, глядя прямо в глаза собеседнику, – я очень сожалею, что в последнюю нашу встречу между нами произошел такой разговор. Я очень сожалею, что был так откровенен с вами. Теперь у меня совершенно другие намерения: брошенный всеми, кому я доверился, обманутый и обойденный всеми, кто должен был бы оказывать мне помощь и поддержку, я обращаюсь к вам в поисках убе-

жища. Я хочу, чтобы вы стали моим союзником, чтобы вас соединял со мной личный интерес и надежды на будущее, – он с особенным ударением произнес эти слова, хотя мистер Пексниф настойчиво просил его не беспокоиться, – и с вашей помощью последствия самой гнусной низости, лицемерия и коварства обрушатся на головы истинных виновников.

– Достойный сэр! – воскликнул мистер Пексниф, схватывая протянутую ему руку. – Вам ли сожалеть о том, что вы думали обо мне несправедливо! Вам ли, с вашими седыми волосами!

– Сожаления, – сказал Мартин, – неотъемлемый удел седых волос, и хотя бы эта доля человеческого наследия у меня общая со всеми людьми. Но довольно об этом. Я сожалею, что так долго чуждался вас. Если б я узнал вас раньше и раньше начал обращаться с вами, как вы того заслуживаете, я, возможно, был бы счастливее.

Мистер Пексниф воззрился на потолок и сжал в умилении руки.

– Ваши дочери, – сказал Мартин после недолгого молчания. – Я их не знаю. Похожи они на вас?

– В подбородке моей младшей дочери и носу старшей, – отвечивал вдовец, – возродился ангел на земле – не я, но их родительница, святая женщина!

– Я говорю не о внешности, – возразил старик. – О духовном сходстве, о духовном!

– Не мне об этом судить, – ответил мистер Пексниф с кроткой улыбкой. – Я сделал все, что мог, сэр.

– Мне бы хотелось их видеть, – сказал Мартин. – Они тут где-нибудь близко?

Да, они были очень близко: по правде сказать, они подслушивали за дверью с самого начала разговора и до последней минуты, но тут поспешно ретировались. Стерев следы родительской слабости со своих глаз и, таким образом, дав дочерям время подняться наверх, мистер Пексниф отворил дверь и ласково крикнул в коридор:

– Дорогие мои девочки, где вы?

– Здесь, милый папа! – ответил издали голос Чарити.

– Прошу тебя, сойди в малую гостиную, душа моя, – сказал мистер Пексниф, – и приведи с собой сестру.

– Хорошо, милый папа! – крикнула в ответ Мерри; и обе сейчас же сошли вниз (воплощенное послушание!), напевая на ходу.

Трудно описать, как удивились обе мисс Пексниф при виде незнакомого гостя, сидевшего вместе с их милым папой. Невозможно изобразить, как обе они замерли в немом изумлении при его словах: «Дети мои, это мистер Чезлвит!» Когда же мистер Пексниф сказал им, что они теперь друзья с мистером Чезлвитом и что добрые и ласковые речи мистера Чезлвита потрясли его душу и проникли в самое сердце, обе мисс Пексниф воскликнули в один голос: «Слава богу!» – и бросились на шею старику. И обняв его с таким пылким чувством, которое просто не поддается описанию, они потом не отходили ни на шаг от его кресла, ухаживали за ним и вообще вели себя так, будто никогда не мечтали о другом счастье на земле, кроме возможности предупредить все его желания, служить ему, излить на закат его жизни всю ту любовь, которая могла бы до краев заполнить их существование с самого детства, если бы только он сам – милый упрямец! – согласился тогда принять эту бесценную жертву.

Старик внимательно переводил глаза с одной на другую, потом взглянул на мистера Пекснифа.

– Как их зовут? – спросил он мистера Пекснифа, случайно поймав его опускающийся взор, до сих пор набожно возведенный горе, с тем выражением, какое стихотворцы истари приписывают птичке, испускающей последний вздох при раскатах грома и блеске молнии.

Мистер Пексниф назвал их имена и прибавил торопливо, в надежде, как, вероятно, сказали бы клеветники, что у старика могла появиться мысль о завещании:

– Быть может, дорогие мои, вам лучше написать свои имена. Ваши скромные автографы сами по себе не имеют ценности, но истинная любовь конечно оценит их.

– Истинная любовь, – сказал старик, – обратится на живые оригиналы. Не беспокойтесь, милые мои, я не так скоро вас забуду, Чарити и Мерси, чтобы мне понадобились напоминания. Кузен!

– Сэр? – с готовностью отозвался мистер Пексниф.

– Неужели вы никогда не садитесь?

– Нет, отчего же, сэр, иногда сажусь, – ответил мистер Пексниф, который стоял все это время.

– Не угодно ли вам сесть?

– Как можете вы спрашивать, сэр, – возразил мистер Пексниф, моментально скользнув на стул, – хочу ли я сделать то, чего желаете вы?

– Я вижу, вы доверяетесь мне, – сказал Мартин, – и намерения у вас добрые; однако вам едва ли известно, что такое старикивские причуды. Вы не знаете, каково поддакивать старику во всех его пристрастиях и предубеждениях, потакать его предрассудкам, слушаться его во всем, терпеть подозрительность и придирки и тем не менее всегда с одинаковым усердием прислуживать ему. Когда я вспоминаю, сколько у меня недостатков, и недостатков поистине исключительных, судя уже по тому, как несправедливо я думал о вас, – мне кажется, я не смею рассчитывать на вашу дружбу.

– Досточтимый сэр, – ответил его родственник, – зачем предаваться таким тягостным размышлениям? Было более чем естественно с вашей стороны сделать одну незначительную ошибку, когда во всех других отношениях вы нисколько не ошибались и оказались безусловно правы, – к сожалению, безусловно и бесспорно правы, – видя всех окружающих вас в самом черном свете!

– Да, правда, – ответил старик. – Вы очень снисходительны ко мне.

– Мои дочери и я, мы всегда говорили, – воскликнул мистер Пексниф еще более подбостранно, – что хотя мы и оплакиваем наше тяжкое несчастье, то есть то, что нас поставили на одну доску с людьми низкими и корыстными, все же мы этому не удивляемся. Дорогие мои, помните, мы об этом говорили?

Еще бы не помнить! Сотни раз!

– Мы не жаловались, – продолжал мистер Пексниф. – Время от времени мы позволяли себе утешаться мыслью, что истина все же победит и добродетель восторжествует, – но не часто. Милые мои, вы помните Это?

Ну конечно! Какие же тут могут быть сомнения, милый папа? Вот странный вопрос!

– А когда я увидел вас, – заключил мистер Пексниф еще более почтительно, – в той маленькой, скромной деревушке, где мы, если позволительно так выразиться, влачим существование, я только позволил себе заметить, что вы во мне несколько ошибаетесь, досточтимый; и это было, мне кажется, все.

– Нет, не все, – ответил Мартин, который сидел, прикрыв лоб рукой, и только теперь взглянул на мистера Пекснифа. – Вы сказали гораздо больше; и это вместе с другими обстоятельствами, которые стали мне известны, открыло мне глаза. Вы вполне бескорыстно замолвили слово за... надо ли говорить, за кого! Вы знаете, о ком я говорю.

Смятение изобразилось на лице мистера Пекснифа, и, крепко сжав трепетные руки, он ответил смиренно:

– Совершенно бескорыстно, сэр, уверяю вас.

– Я это знаю, – сказал старик, спокойно как всегда. – Я уверен в этом. Я так и сказал. И с тем же бескорытием вы отвлекли от меня стаю гарпий и сами сделали их жертвой. Другой на вашем месте сначала дал бы им проявить всю их алчность, чтобы по сравнению с ними выиграть в моем мнении. А вы пожалели меня и отвлекли их, за что мне и следует

вас поблагодарить. Так что, видите, мне известно все, что произошло за моей спиной, хоть я и уехал оттуда!

– Вы меня удивляете, сэр! – воскликнул мистер Пексниф, что было истинной правдой.

– Но это еще не все, что мне известно о вашем поведении, – продолжал старик. – У вас в доме есть новый жилец.

– Да, сэр, есть, – ответил архитектор.

– Он должен уехать, – сказал старик.

– Куда? К вам? – растерянно и с дрожью в голосе спросил мистер Пексниф.

– Туда, где сможет – найти себе приют, – отвечал старик. – Он обманул вас.

– Надеюсь, что нет, – с жаром сказал мистер Пексниф. – Верю и надеюсь, что нет. Я был в высшей степени расположен к этому молодому человеку. Надеюсь, нельзя будет доказать, что он лишил себя всяких прав на мою поддержку. Обман, обман, уважаемый мистер Чезлвит, – ничего не может быть хуже обмана. Если будет установлено, что он меня обманул, я сочту себя вынужденным немедленно отречься от него.

Старик взглянул на его прелестных союзниц, а особенно на мисс Мерси, которой он посмотрел прямо в лицо с гораздо большим интересом и оживлением, чем обнаруживал до сих пор. Опять встретивши взгляд мистера Пекснифа, он сказал сдержанно:

– Вам, разумеется, известно, что он уже выбрал себе подругу жизни?

– Боже мой! – воскликнул мистер Пексниф, изо всех сил ероша волосы и глядя на дочерей дикими глазами. – Это превосходит всякое вероятие!

– Вам это известно? – повторил Мартин.

– Но ведь не без разрешения и одобрения своего дедушки, достоуважаемый сэр? – воскликнул мистер Пексниф. – Нет, лучше не говорите мне! Из уважения к природе человеческой не говорите мне ничего подобного!

– Я так и думал, что он скрыл это от вас, – сказал старик.

Негодование, которое ощутил мистер Пексниф при Этом ужасном открытии, могло сравниться только с пламенным гневом его дочерей. Как! Они допустили к себе в дом, к своему семейному очагу змея, обручившегося тайно, крокодила, который присватался к кому-то на стороне, нищего самозванца, притворщика, выдающего себя за холостяка и обманом втершегося в их девический мир?! И подумать только, что он позволял себе обманывать кроткого, почтенного старика, имя которого он носит, доброго и нежного опекуна, который заменил ему отца (не говоря уже о матери), – ужасно, просто ужасно! Выгнать его с позором – этого мало. Неужели за такие дела не полагается наказания или штрафа? Возможно ли, чтобы в законах страны это было упущено из виду и за такое преступление не назначено кары? Изверг! Как подло он обманул их!

– Я очень доволен, что вы так горячо меня поддержали, – сказал старик, поднимая руку, чтобы остановить поток их гнева. – Не стану отрицать, меня радует такое ваше рвение. Будем считать, что с этим предметом покончено.

– Нет, достоуважаемый сэр, – воскликнул мистер Пексниф, – не покончено, пока я не очищу свой дом от скверны!

– Все в свое время, – сказал старик. – Будем считать, что это уже сделано вами.

– Вы очень добры, сэр, – ответил мистер Пексниф, пожимая ему руку. – Вы делаете мне честь. Да, вы можете так считать, даю вам мое слово!

– Есть другое дело, – сказал Мартин, – в котором вы мне, надеюсь, поможете. Вы помните Мэри, кузен?

– Это та самая молодая особа, которая произвела на меня такое глубокое впечатление? Дорогие мои, я уже говорил вам, – заметил мистер Пексниф, обращаясь к дочерям. – Простите, что я прервал вас, сэр.

– Я рассказывал вам ее историю, – продолжал старик.

– И об этом я тоже говорил вам, – помните, милые мои? – воскликнул мистер Пексниф. – Такие дурочки, мистер Чезлвит, – они чуть не расплакались, сэр, представьте себе!

– Да что вы! – сказал Мартин, по-видимому очень довольный. – Я боялся, что мне придется убеждать вас, просить, чтобы вы отнеслись к ней доброжелательно ради меня. А вы, оказывается, не завистливы? Что ж, завидовать вам, конечно, нет причины. Она от меня ничего не получит, милые мои, и это ей известно.

Обе мисс Пексниф пролепетали свое одобрение такой мудрой предусмотрительности и сочувственно отозвались об ее интересной жертве.

– Если бы я мог предвидеть то, что произошло сейчас между нами четверыми, – сказал старик в раздумье, – впрочем, теперь уже поздно об этом думать. Так вы встретите ее приветливо, барышни, и будете к ней добры, если понадобится?

Где та сиротка, которую обе мисс Пексниф не приняли бы с восторгом в свои распростертые сестринские объятия? А уж если эту сиротку поручал их заботам тот, на кого, проправ, наконец, плотину, хлынули их долго сдерживаемые чувства, – судите сами, какие неисчерпаемые запасы нежности должны были излиться на нее!

Последовала пауза, в продолжение которой мистер Чезлвит сидел в раздумье, уставясь в землю и не говоря ни слова; и так как он явно не желал, чтобы его размышления были нарушены, мистер Пексниф и обе его дочери тоже хранили глубокое молчание. Во все время разговора старик подавал свои реплики с какой-то холодной, безжизненной готовностью, словно затвердил их наизусть и устал повторять сотни раз одно и то же. Даже в те минуты, когда его слова были всего теплее и тон всего ласковее, он оставался все таким же, несколько не смягчаясь. Но вдруг его глаза оживились и заблестели, и голос стал как будто выразительнее, когда он произнес, очнувшись от задумчивости:

– Вы знаете, что об этом скажут? Подумали вы?

– О чем скажут, досточтимый сэр? – спросил мистер Пексниф.

– Об этом новом согласии между нами.

Мистер Пексниф выразил на своем лице мудрую снисходительность, давая понять, что он выше всех низменных кривотолков, а вслух заметил, покачивая головой, что без сомнения говорить будут очень многое.

– Очень многое, – подтвердил старик. – Некоторые скажут, что я выжил из ума на старости лет, одряхлел после болезни, ослаб духом и впадаю в детство. Выдержите ли вы все это?

Мистер Пексниф отвечал, что выдержать это будет необычайно трудно, однако он думает, что выдержит, если приложит все силы.

– Другие скажут – я говорю о разочарованных, озлобленных людях, – что – вы лгали, прислуживались, пресмыкались, стараясь втереться ко мне в доверие, и что таких сделок с совестью, такого криводушия, таких низостей и таких отвратительных подлостей не сможет оплатить ничто – да, ничто, хотя бы вы получили в наследство полмира! Выдержите ли вы это?

Мистер Пексниф ответил, что это тоже нелегко будет выдержать, поскольку здесь в известной мере подвергается сомнению здравый смысл мистера Чезлвита. Однако он питает скромную уверенность, что выдержит даже и эту клевету, опираясь на свою чистую совесть и на дружбу мистера Чезлвита.

– У большинства клеветников, – продолжал старик Мартин, откидываясь на спинку кресла, – сплетня, насколько я догадываюсь, примет такой вид: обо мне скажут, что, желая выразить свое презрение к этому сброду, я выбрал среди них худшего из худших, заставил его плясать по своей дудке, приблизил к себе и осыпал золотом, обойдя всех остальных. Скажут, что после долгих поисков такого наказания, которое больше всех других поразило бы этих коршунов и было бы для них всего горше, я придумал этот план в то самое время, когда

последнее звено цепи, соединявшей меня с моей родней узами любви и долга, было грубо разорвано; грубо – потому что я любил его; грубо – потому что я верил в его привязанность ко мне; грубо – потому что он порвал эту цепь именно тогда, когда я любил его всего сильнее. О боже, боже! Как мог он оставить меня без всякого сожаления, когда я прилепился к нему всем сердцем! Так вот, – продолжал старик, успокаиваясь так же мгновенно, как и поддался этой вспышке чувства, – уверены ли вы, что выдержите и это? Знайте, что вам приходится рассчитывать только на себя, и не надейтесь на мою поддержку!

– Дорогой мой мистер Чезлвит! – в умилении воскликнул мистер Пексниф. – Для такого человека, каким вы себя показали сегодня, для человека, так глубоко оскорбленного и в то же время исполненного гуманных чувств, для человека, который... не знаю, как бы это выразить... и который в то же время так удивительно... просто не нахожу слов... для такого именно человека, думаю, не будет с моей стороны преувеличением сказать, что я и – надеюсь, можно прибавить – обе мои дочери (дорогие мои, у нас, кажется, в этом вопросе полное согласие?) – для такого человека мы вынесли бы решительно все на свете!

– Довольно! – сказал Мартин. – Я не отвечаю за последствия. Когда вы возвращаетесь домой?

– Когда вам будет угодно, сэр. Сегодня же, если вы этого желаете.

– Я не желаю ничего неразумного, – возразил старик. – А такая просьба с моей стороны была бы неразумна. Сможете ли вы вернуться к концу недели?

Именно этот срок мистер Пексниф назвал бы и сам, если бы ему был предоставлен выбор. Что касается его дочерей, то слова: «Давай вернемся в субботу, милый папа», – уже готовы были сорваться у них с языка.

– Ваши расходы, кузен, – сказал старик, доставая из бумажника сложенную бумажку, – возможно, превышают эту сумму. Если это так, вы сообщите мне, сколько я вам должен, в следующую нашу встречу. Вам нет надобности знать, где я живу сейчас: у меня, в сущности, нет постоянного адреса. Когда он у меня будет, я извещу вас. Вы и ваши дочери увидите меня в самом скором времени, а до тех пор – незачем и говорить вам – каждому из нас следует хранить эту беседу в тайне. Что именно вам надлежит сделать по возвращении домой, вы уже знаете. Отчета мне не нужно; не нужно вообще никаких напоминаний. Прошу об этом как об одолжении. Я не люблю тратить лишних слов, кузен, и, мне кажется, все, что надо было сказать, уже сказано.

– Рюмку вина, сэр, ломтик вот этого простого кекса? – упрашивал мистер Пексниф, пытаюсь удержать гостя. – Дорогие мои! Что же вы?

Обе сестры бросились угощать старика.

– Бедные мои девочки! – сказал мистер Пексниф. – Вы извините их волнение, сэр. Они у меня сама чувствительность. Это неходкий товар, мистер Чезлвит, с ним не проживешь на свете. Моя младшая дочь тоже совсем взрослая женщина, не правда ли, сэр? Почти такая же, как старшая.

– А которая из них моложе? – спросил старик.

– Мерси моложе на пять лет, – ответил мистер Пексниф. – Мы иногда позволяем себе думать, что у нее статная фигура. Мне, как художнику, быть может разрешено будет указать на изящество и правильность ее сложения. Я, естественно, горжусь, – продолжал мистер Пексниф, вытирая руки платком и почти при каждом слове беспокойно поглядывая на кузена, – что у меня есть дочь, которая сложена наподобие лучших образцов скульптуры, если можно так выразиться.

– Она, по-видимому, очень живого нрава? – заметил Мартин.

– Боже мой! – воскликнул мистер Пексниф. – Это поистине замечательно! Вы так верно определили ее характер, досточтимый сэр, будто знаете ее с рождения. Да, она весьма живого

нава. Смею вас уверить, сэр, ее веселость очень оживляет наш незатейливый домашний мирок.

– Не сомневаюсь, – отозвался старик.

– Чарити, с другой стороны, – продолжал мистер Пексниф, – отличается большим здравым смыслом и необыкновенной глубиной чувства, если отцу извинительно такое отцовское пристрастие. На редкость привязаны друг к другу, достоуважаемый сэр! Разрешите мне выпить за ваше здоровье! Желаю вам!

– Еще месяц назад я не мог и думать, – отвечал Мартин, – что буду есть с вами хлеб и пить вино. За ваше здоровье!

Отнюдь не смутившись необычайной сухостью, с какой были сказаны последние слова, мистер Пексниф рассыпался перед ним в благодарностях.

– А теперь позвольте мне уйти, – сказал Мартин, ставя на стол рюмку, которую он только пригубил. – Всего хорошего, милые мои!

Но такое прохладное прощание показалось недостаточным для нежных, стремительных чувств обеих девиц, которые опять бросились обнимать старика от всей души и уж во всяком случае изо всех сил, чему их новообретенный друг подчинился гораздо более кротко, чем можно было бы ожидать от человека, который всего минуту назад так нелюбезно пил за здоровье их папаша. Как только нежности кончились, старик коротко попрощался с мистером Пекснифом и удалился, сопровождаемый до самой двери отцом и дочерьми, которые стояли в дверях, расточая воздушные поцелуи и ласковые улыбки, пока он не скрылся из виду, – хотя, по правде сказать, едва переступив порог, старик ни разу уже потом не оглянулся. Как только они снова вернулись в дом и остались одни в комнате миссис Тоджерс, обе девицы пришли в необыкновенно веселое настроение, до того даже, что хлопали в ладоши и хохотали, плутовски и задорно поглядывая на своего драгоценного родителя. Это поведение было до такой степени необъяснимо, что мистер Пексниф (будучи сам настроен довольно мрачно) не мог не спросить их, что все это значит, и даже сделал им выговор за такое легкомыслие, впрочем довольно мягкий.

– Если бы для этой веселости имелась какая-либо причина, хотя бы самая отдаленная, – сказал он, – я бы не стал вас упрекать. Но когда причины не может быть решительно никакой... ну право же, никакой ровно!..

Это увещание столь мало подействовало на Мерси, что она была вынуждена приложить платок к своим розовым губкам и откинуться на спинку стула, по всем признакам едва сдерживая смех. Мистер Пексниф был до такой степени оскорблен ее непослушанием, что упрекнул дочь довольно сурово и дал ей родительский совет уединиться и подумать о своем поведении. Но тут его прервал шум спорящих голосов, и поскольку этот шум доносился из соседней комнаты, то содержание спора в самом скором времени достигло их ушей.

– Мне какое дело, миссис Тоджерс! – говорил молодой джентльмен, тот, что был самым молодым из всего общества на обеде. – Никакого мне нет дела до вашего Джинкинса. Даже вот столько я о нем не забочусь, – сказал он, прищелкнув пальцами. – И не думайте, пожалуйста.

– Да я вовсе и не думаю, сэр, – отвечала миссис Тоджерс. – С вашим независимым умом и сильным характером вы никому на свете не уступите. И совершенно правильно. С какой стати вы должны уступать кому бы то ни было из джентльменов? Пускай все так и знают.

– Мне ничего не стоит пристрелить вашего Джинкинса, – говорил молодой человек отчаянным голосом, – он для меня все равно что любая собака.

Миссис Тоджерс даже и не подумала спросить, зачем ее жильцу понадобилось пристрелить собаку, и не лучше ли оставить эту собаку в покое, пускай живет, сколько ей назначено природой, – она только заломила руки и слегка простонала.

– И пускай держит ухо востро, – говорил молодой человек. – Предупреждаю. Пусть лучше никто не становится мне поперек дороги, когда я жажду отомстить. Я знаю тут одного парня, – в волнении у него сорвалось с языка это вульгарное слово, но он тут же поправился, прибавив: – то есть джентльмена со средствами, который каждый день стреляет в цель из собственных пистолетов, у него же их, кстати, пара. Так вот, в конце концов меня доведут до того, что я займу пистолеты у этого джентльмена и отправлю к Джинкинсу своего секунданта, и тогда во всех газетах будет напечатано об этой трагедии. Вот и все.

Миссис Тоджерс опять простонала.

– Я долго терпел молча, – продолжал младший из джентльменов, – но больше я этого выносить не намерен, вся душа у меня просто кипит. Я ведь даже из дому уехал из-за того, что есть во мне такая черта характера: не захотел быть под башмаком у сестры – и все! Так что же вы думаете, неужели я позволю этому вашему Джинкинсу сесть мне на голову? Никогда.

– Это очень нехорошо со стороны мистера Джинкинса, я думаю, прямо-таки непростительно, если у него такие намерения, – поторопилась вставить миссис Тоджерс.

– А какие же еще? – воскликнул самый младший из джентльменов. – Кто перебивает меня и противоречит мне на каждом шагу? Кто не жалеет усилий, чтобы оттереть меня от предмета моего поклонения, чем бы или кем бы я ни увлекся? Кто делает вид, будто совсем позабыл про меня, каждый раз как наливает всем пиво? Кто постоянно хвастается своими бритвами и делает оскорбительные намеки на людей, которым нет надобности бриться чаще одного раза в неделю? Только уж пусть глядит в оба! Как бы я его не отбрил, вот что я ему скажу.

Молодой человек допустил одну незначительную ошибку в этой последней фразе: он обратился с этой угрозой не к Джинкинсу, а все к той же миссис Тоджерс.

– Впрочем, – поправился он, – все это материя не для дамских ушей. Вам же, миссис Тоджерс, я могу сказать только одно: я от вас съезжаю ровно через неделю после той субботы. Я больше не в состоянии жить под одной крышей с этим мерзавцем. Если до того времени у нас обойдется без кровопролития – ваше счастье, миссис Тоджерс. Не думаю, однако, чтобы обошлось.

– Боже мой, боже мой! – воскликнула миссис Тоджерс. – Чего бы я только не дала, чтобы этого не было! Потерять вас, сэр, это для моего заведения все равно что потерять правую руку. Вы пользуетесь такой популярностью среди джентльменов, все вас так уважают, так любят! Надеюсь, вы передумаете – если не ради кого-нибудь другого, то хотя бы ради меня.

– У вас остается ваш Джинкинс, – сказал молодой человек мрачно. – Ваш любимчик. Он утешит и вас и всех ваших постояльцев, хотя бы вы потеряли двадцать таких, как я. Меня не понимают в этом доме. И никогда не понимали.

– Не поддавайтесь этой губительной мысли, сэр! – воскликнула миссис Тоджерс тоном самого искреннего протеста. – Не обвиняйте понапрасну наше заведение, прошу вас! Этого просто быть не может, сэр. Говорите что хотите против джентльменов или против меня, только не говорите, что вас не понимают в этом доме.

– Если бы понимали, тогда не обращались бы так, – отвечал молодой человек.

– Вот в этом, вы очень ошибаетесь, – возразила миссис Тоджерс все тем же тоном. – Как не раз говорили и многие из джентльменов, и я сама, вы чересчур впечатлительны. В этом вся суть. Слишком у вас чувствительная натура; таким уж вы родились.

Молодой человек кашлянул.

– А что касается мистера Джинкинса, – продолжала миссис Тоджерс, – то, уж если нам суждено расстаться, я прошу вас понять, что я нисколько не потакаю мистеру Джинкинсу. Вовсе нет. Я бы желала, чтобы мистер Джинкинс не командовал в моем заведении и не

становился причиной недоразумений между мной и джентльменами, с которыми мне будет гораздо тяжелее расстаться, чем с мистером Джинкинсом. Мистер Джинкинс вовсе не такой постоялец, – прибавила миссис Тоджерс, – чтобы ради него жертвовать всеми, кого я уважаю и кому сочувствую. Совершенно наоборот, уверяю вас.

Молодой человек настолько смягчился от этих и им подобных слов миссис Тоджерс, что они с ней как-то незаметно обменялись ролями; теперь она была оскорбленной стороной, причем подразумевалось, что он-то и есть оскорбитель, но в самом лестном, отнюдь не обидном смысле, поскольку его жестокое поведение приписывалось исключительно возвышенности натуры – и ничему больше. В конце концов молодой человек раздумал съезжать и долго уверял миссис Тоджерс в своем неизменном уважении к ней, после чего отправился на службу.

– Боже мой, душечки мои мисс Пексниф! – воскликнула эта дама, входя в малую гостиную, усаживаясь на стул с корзинкой на коленях и в изнеможении роняя на нее руки. – Какие нужны нервы, чтобы вести такой дом. Вам, я думаю, было слышно, что тут происходит? Ну, видали ли вы что-нибудь подобное?

– Никогда! – отвечали обе мисс Пексниф.

– Видала я на своем веку бестолковых мальчишек, – продолжала миссис Тоджерс, – но такого пустого и вздорного вижу первый раз. Правда, мистер Джинкинс бывает с ним строг, но все же не так, как он того заслуживает. Ставить себя на одну доску с таким джентльменом, как мистер Джинкинс! Это, знаете ли, уж слишком! Да еще хорохорится, господь с ним, как будто они ровня!

Девиц очень позабавило объяснение миссис Тоджерс, а еще больше кое-какие, весьма кстати рассказанные анекдоты, рисующие характер молодого человека. Зато мистер Пексниф сурово и гневно нахмурился и, как только она замолчала, произнес многозначительно:

– Простите, миссис Тоджерс, нельзя ли спросить, сколько именно вкладывает этот молодой человек в хозяйство вашего заведения?

– Ну, много ли там с него приходится, сэр; он платит за все шиллингов восемнадцать в неделю! – сказала миссис Тоджерс.

– Восемнадцать шиллингов в неделю! – повторил мистер Пексниф.

– Неделя на неделю не приходится, но что-то около того, – отвечала миссис Тоджерс.

Мистер Пексниф поднялся со стула, скрестил руки на груди, взглянул на миссис Тоджерс и покачал головой:

– И вы хотите сказать, сударыня, – мыслимо ли это, миссис Тоджерс, – что из-за такого ничтожного вознаграждения, как восемнадцать шиллингов в неделю, женщина с вашим умом способна унизиться до фальши, до двуличия, хотя бы на одну только минуту?

– Ведь должна же я как-то выходить из положения, сэр, – нерешительно пролепетала миссис Тоджерс. – Надо и о том позаботиться, чтобы они не ссорились, и о том, чтобы мне не растерять жильцов. Пользы от них очень мало, мистер Пексниф.

– Польза! – воскликнул мистер Пексниф, делая сильное ударение на этом слове. – Польза, миссис Тоджерс! Вы меня изумляете!

Он был до такой степени беспощаден, что миссис Тоджерс ударилась в слезы.

– Польза! – повторил мистер Пексниф. – Польза притворства! Поклоняться золотому тельцу, или Ваалу³⁶, – ради восемнадцати шиллингов в неделю!

– Не судите меня слишком строго, мистер Пексниф, – всхлипнула миссис Тоджерс, доставая платок из кармана.

³⁶ *Поклоняться золотому тельцу, или Ваалу.* – Золотой телец – золотой идол, которому, по библейскому преданию, поклонялись отступившие от своего бога иудеи во время странствий по пустыне после бегства из Египта. Ваал – библейское название верховного божества языческих племен Палестины, Финикии и Сирии. В Библии культ Ваала символизирует идолопоклонство и несправедливость.

– О телец, телец! – скорбно провозгласил мистер Пексниф. – О Ваал, Ваал! О друг мой, миссис Тоджерс! Пресмыкаться перед всякой тварью, променять эту бесценную жемчужину – уважение к себе – на восемнадцать шиллингов в неделю!

Он был так подавлен и расстроен этой мыслью, что тут же снял шляпу с гвоздика в коридоре и вышел прогуляться для успокоения чувств. Каждому, кто встречался с ним на улице, с первого взгляда становилось ясно, что перед ним добродетельный человек: после нравоучения, прочитанного им миссис Тоджерс, вся его фигура дышала сознанием исполненного долга.

Восемнадцать шиллингов в неделю! Справедливо, в высшей степени справедливо твое порицание, о неподкупный Пексниф! Еще если б это было ради какой-нибудь ленты, звезды или подвязки³⁷, ради епископской мантии, улыбки значительного лица или места в парламенте; ради удара по плечу королевской шпагой³⁸; ради повышения в должности или приглашения на бал, или ради какой-нибудь большой выгоды – ради восемнадцати тысяч фунтов или хотя бы ради тысячи восьмисот! Но поклоняться золотому тельцу из-за восемнадцати шиллингов в неделю! Печально, весьма печально!

³⁷ Подвязка. – Имеется в виду орден Подвязки.

³⁸ ...ради удара по плечу королевской шпагой... – Ударом по плечу королевской шпагой сопровождался обряд возведения в дворянское звание.

Глава XI, где один молодой человек выказывает особенное внимание одной девице и где на нас ложится тень многих грядущих событий

Семейство Пексниф готовилось уже покинуть пансион миссис Тоджерс, и все до одного джентльмены были безутешны и предавались скорби ввиду предстоящей разлуки, когда однажды, в веселый полуденный час, Бейли-младший предстал перед мисс Чарити Пексниф, которая сидела с сестрой в памятной банкетной зале, подрубая полдюжины новых платков для мистера Джинкинса, и, выразив предварительно благочестивую надежду когда-нибудь провалиться в тартарары, дал ей понять, дурачась по привычке, что один джентльмен желает засвидетельствовать ей свое почтение и в настоящее время ждет ее в гостиной. Последнее сообщение доказывало всю простоту и беззаботность натуры Бейли гораздо лучше, чем любая пространная речь, потому что, встретив этого джентльмена в прихожей, мальчик тут же его покинул, намекнув, что тот хорошо сделает, если поднимется наверх, и предоставив ему руководствоваться собственным чутьем. А потому ровно половина шансов была за то, что гость в это время бродит где-нибудь по крыше дома или тщетно пытается выбраться из лабиринта спален, – пансион М. Тоджерс был именно такого рода заведением, где без опытного кормчего новый человек мог оказаться именно там, где его меньше всего ожидали и куда он меньше всего желал попасть.

– Джентльмен ко мне! – воскликнула Чарити, бросая работу. – Что ты, Бейли, господи помилуй!

– Ага! – сказал Бейли. – «Помилуй!», вот оно как? Никто вас не помилует, и не ждите; я бы ни за что не помиловал на его месте!

Это замечание не отличалось ясностью в силу множества отрицаний, что, быть может, заметил читатель; но в сопровождении весьма выразительной пантомимы, изображающей счастливую парочку, которая шествует под ручку к приходской церкви, обмениваясь нежными взглядами, оно ясно выражало твердую уверенность этого юноши в том, что гость явился с амурными целями. Мисс Чарити сделала вид, что возмущена такой вольностью, но не могла удержаться от улыбки. Ну, не странный ли мальчик? Какую бы глупость он ни сказал, в ней все-таки можно отыскать смысл. Это в нем всего лучше.

– Но я не знаю никакого джентльмена, Бейли, – сказала мисс Пексниф. – По-моему, ты что-то ошибаешься.

Мистер Бейли только ухмыльнулся в ответ на такое нелепое предположение, глядя на сестер с неизменной благосклонностью.

– Дорогая моя Мерри, – сказала Чарити, – кто бы это мог быть? Как странно! Мне что-то не хочется к нему выходить, право. Что-то уж очень странно, знаешь ли.

Младшая сестра, по-видимому, сочла, что старшая слишком уж чванится этим визитом; не рассчитывает ли она взять реванш и отомстить за то, что Мерри покорила решительно всех коммерческих джентльменов? Поэтому она ответила очень ласково и любезно, что это в самом деле очень странно и что она решительно отказывается понять, зачем Черри понадобилась неизвестному чудаку.

– Совершенно невозможно угадать! – сказала Чарити язвительно. – Хотя тебе все-таки не на что сердиться, милая моя!

– Спасибо, – отвечала Мерри, напевая за рукоделием. – Я и сама это прекрасно знаю, душенька моя.

– Боюсь, что тебе совсем вскружили голову, дурочка, – сказала Черри.

– Знаешь, милая, – отвечала Мерри с пленительной откровенностью, – я и сама этого все время боюсь! Столько лести, чести и всего прочего, что закружилась бы голова и покрепче моей. Хорошо тебе, моя милая, что ты можешь быть совершенно спокойна, к тебе не пристают эти противные мужчины. Как ты это делаешь, Черри?

Бесхитростный вопрос мисс Мерри мог бы вызвать целую бурю, если бы не сильнейший восторг, проявленный Бейли-младшим; неожиданный оборот разговора так его воодушевил, что он немедленно пустился в пляс и исполнил чрезвычайно сложный танец, удавшийся только в минуту вдохновения и именуемый в просторечии «Матросской пляской». Это бурное проявление чувств напомнило девицам великое правило добродетели: «Всегда ведите себя прилично», в котором обе они были воспитаны. Они сразу притихли и в один голос объявили мистеру Бейли, что, если он еще раз посмеет при них упражняться в танцах, они немедленно сообщат об этом миссис Тоджерс и попросят, чтобы она его как следует наказала. Бейли не замедлил выразить свое огорчение и раскаяние, якобы утирая слезы фартуком и делая вид, будто выжимает из него потоки воды, а потом распахнул двери перед мисс Чарити, и эта достойная девица торжественно проследовала наверх, чтобы принять своего таинственного поклонника.

По странному стечению благоприятных обстоятельств он все-таки разыскал гостиную и сидел там в одиночестве.

– А! Сестрица! – сказал он. – Вот я и пришел, видите. А вы небось думали, я совсем пропал. Ну как вы нынче в своем здоровье?

Мисс Чарити ответила, что она совсем здорова, и подала руку мистеру Чезлвиту.

– Вот это правильно, – сказал мистер Джонас, – и после дороги вы тоже, я думаю, успели отдохнуть? Ну, а как та, другая?

– Сестра, кажется, хорошо себя чувствует, – отвечала молодая особа. – Я не слыхала, чтобы она жаловалась на нездоровье. Может быть, вы хотите ее видеть? Подите спросите сами.

– Нет, нет, сестрица! – сказал мистер Джонас, усаживаясь рядом с нею под окном. – Не спешите; это, знаете ли, совершенно ни к чему. Какая вы все-таки злая!

– Об этом не вам судить, злая я или нет, – отпарировала Черри.

– Что ж, может быть и так, – отвечал мистер Джонас. – Послушайте! Вы небось думали, что я пропал, а? Вы так мне и не сказали.

– Я совсем об этом не думала, – объявила Черри.

– Вот как, не думали? – повторил Джонас, размышляя над этим странным ответом. – А та, другая?

– Как это я могу вам сказать, что думала или чего не думала моя сестра? – воскликнула Черри. – Она мне ничего не говорила об этом – ни да, ни нет.

– И даже не смеялась надо мной? – спросил Джонас.

– Нет, даже и не смеялась.

– Вот здорова смеяться, верно? – сказал Джонас, понизив голос.

– Она очень веселая.

– Веселость хорошая вещь, когда не ведет к мотовству. Верно? – спросил мистер Джонас.

– Да, вот именно, – поддакнула Черри со скромностью, которая достаточно ясно свидетельствовала о том, что в ее согласии нет корысти.

– Вот, например, ваша веселость, – заметил мистер Джонас, подтолкнув ее локтем. – Я бы и раньше пришел повидаться с вами, да не знал, где вы живете. Что вы так быстро убежали тогда утром?

– Я должна слушаться того, что папа скажет, – отвечала мисс Чарити.

– Жалко, что мне он ничего не сказал, – возразил ее кузен, – тогда бы я вас разыскал раньше. Да я и сейчас не нашел бы вас, если б не встретил его на улице нынче утром. Ну и хитрец и проныра же он у вас! Настоящий старый кот, верно?

– Я попрошу вас, мистер Джонас, выражаться почтительнее о моем папе, – сказала Чарити. – Я не могу позволить такого тона даже в шутку.

– Ну вот! Ей-богу, про моего папашу можете говорить все что угодно, я вам позволяю, – сказал мистер Джонас. – Надо полагать, в жилах у него не кровь, а какая-нибудь ядовитая гадость. Как вы думаете, сестрица, сколько лет моему папаше?

– Не мало, конечно, – отвечала мисс Чарити, – но это такой доброй души старичок.

– Доброй души старичок! – повторил Джонас, сердито стукнув кулаком по своей шляпе. – Да, вот именно, пора бы ему о душе подумать! Ведь ему восемьдесят!

– Вот как, неужели? – удивилась молодая особа.

– Ей-богу! – воскликнул Джонас. – Дожил до таких лет, и хоть бы ему что! Этак он до девяноста доживет, – и ничего не поделаешь. Какое там, доживет и до ста! Ведь надо же и совесть иметь; как только не стыдно жить до восьмидесяти лет, а дальше я уж и не говорю! Какой же он после этого верующий, хотел бы я знать, когда в открытую идет против библии? Семьдесят лет – вот предел, и ежели человек имеет совесть и знает, чего от него ждут, он и сам не заживется дольше, чем полагается.

Неужели кого-нибудь удивляет, что мистер Джонас ссылается на библию в этом случае? Вспомните старую пословицу насчет того, что дьявол (хотя и не будучи духовным лицом) любит цитировать священное писание, толкуя его в свою пользу. Если читатель возьмет на себя труд оглянуться вокруг, то за один-единственный день у него наберется больше подтверждений этому и доказательств, чем за одну минуту можно выпустить пуль из духового ружья.

– Ну, довольно про моего папашу, – сказал Джонас, – не стоит без толку себя расстраивать. Я зашел пригласить вас на прогулку, сестрица, поглядим разные достопримечательности, а после того зайдем к нам перекусить. Пексниф, наверно, заглянет вечером, он так и сказал, и проводит вас домой. Вот, это он пишет, я его заставил давеча утром, на всякий случай, когда он сказал, что не скоро вернется, – а то, может, вы мне не поверите. Письменное доказательство всего лучше, не так ли? Ха-ха! Послушайте, а ту, другую, вы тоже прихватите с собой?

Мисс Чарити бросила взгляд на автограф своего папаша, где было сказано просто: «Ступайте, дети мои, с вашим кузеном. Да пребудет между нами единение, если это возможно», и, поломавшись ровно столько, сколько надо было, чтобы придать цену своему согласию, пошла сообщить о прогулке сестре и одеться. Вскоре она вернулась в сопровождении мисс Мерри, которой вовсе не хотелось променять блестящие успехи у Тоджерса на общество мистера Джонаса и его почтенного папаша.

– Ага! – воскликнул Джонас. – Вот и вы! Явились наконец?

– Да, страшилище, – отвечала Мерри, – вот и я, хотя очень была бы рада оказаться подальше от вас.

– Вы этого не думаете, – сказал мистер Джонас. – Нет, нет, знаете ли. Не может этого быть.

– Это уж как вам угодно, страшилище, как хотите, – возразила Мерри. – Я остаюсь при своем мнении, а мое мнение такое, что вы самое неприятное, противное, мерзкое существо. – Тут она громко расхохоталась, по-видимому очень довольная собой.

– О, вы девушка бойкая! – сказал мистер Джонас. – Сушая язва! Верно, сестрица?

Мисс Чарити отвечала, что понятия не имеет, каковы должны быть свойства и склонности сущей язвы, и даже если б это было ей известно, она ни за что не согласится с тем, что в их семье может быть особа с таким нелестным прозвищем, а уж тем более не позволит

обзывать этим именем свою любимую сестру, – «какой бы ни был у нее характер», – прибавила Черри с сердитым взглядом в сторону Мерри.

– Ну, милая моя, – ответила та, – я могу сказать только одно: если мы не уйдем сейчас же, я снимаю шляпку и остаюсь дома.

Эта угроза подействовала как нельзя лучше, предупредив дальнейшие пререкания, ибо мистер Джонас немедленно объявил, что прения сторон прекращаются, и, получив единогласную поддержку, увел обеих сестер из дома. На крыльце он взял и ту и другую под руки, а Бейли-младший, который наблюдал за ними из чердачного окна, приветствовал эту галантность сильнейшим кашлем, который не затихал до тех пор, пока они не завернули за угол.

Мистер Джонас прежде всего спросил девиц, любят ли они ходить пешком, и, получив ответ, что любят, подверг их способность к пешему хождению весьма строгому экзамену, показав им за одно утро столько достопримечательностей – мостов, церквей, улиц, театральных зданий и прочих бесплатных зрелищ, сколько другим не удастся увидеть и за год. Нетрудно было заметить, что этот джентльмен питал неописуемое отвращение к осмотру зданий изнутри и отлично знал истинную цену тем зрелищам, где за вход требовалась плата, ибо все они, по его словам, никуда не годились и совершенно не заслуживали внимания. Он был, по-видимому, глубоко убежден в этом, ибо, когда мисс Чарити сказала, между прочим, что они были раза два-три в театре с мистером Джинкинсом и другими джентльменами, первым делом спросил, где достали контрамарки, а узнав, что мистер Джинкинс и другие джентльмены платили за билеты, несказанно развеселился, заметив: «Вот, должно быть, олухи», и не раз в течение прогулки раздражался неудержимым смехом, потешаясь над такой сверхъестественной глупостью и, надо полагать, радуясь своему умственному превосходству.

После того как они походили по улицам несколько часов и порядком устали, начало уже темнеть, и мистер Джонас сообщил девицам, что теперь он покажет им самую что ни на есть смешную штуку. Штука оказалась весьма нехитрой – вся соль заключалась в том, чтобы взять кэб и проехать за один шиллинг как можно дальше. К счастью, их довезли как раз до того места, где жил мистер Джонас, иначе девицы вряд ли были бы в состоянии оценить ее.

Старинная фирма Энтони Чезлвит и Сын, оптовая торговля манчестерскими сукнами и т. д., помещалась в очень узенькой улочке, неподалеку от почтамта, где все дома даже в ясное летнее утро казались очень хмурыми, где рассыльные в жаркое время поливали мостовую перед домами своих хозяев прихотливыми узорами и где в хорошую погоду в дверях пыльных складов простаивали целые часы франтоватые джентльмены, заложив руки в карманы брюк и созерцая собственные щегольские сапоги, что, казалось, было самой трудной их работой, не считая разве ношения пера за ухом. Темный, грязный, закоптелый, неизменно облупленный и ветхий был этот дом, но в этом доме, каков бы он ни был, фирма Энтони Чезлвит и Сын вела все свои дела и развлекалась, как умела; ибо ни молодой человек, ни старик не знали другого жилища и других помыслов и забот, кроме тех, которые были ограничены его стенами.

Дело, как легко себе представить, было главной заботой этой фирмы, до такой даже степени, что оно вытолкало за двери всякие житейские удобства и на каждом шагу опрокидывало домашний распорядок. Так, в убогих спальнях висели на стенах пачки изъеденных молью писем, полы были усеяны остатками старых образцов и негодными обрывками товара, а колченогие кровати, умывальники и ветхие коврики жались по углам, как предметы второстепенные, которые не стоят внимания, – ибо они не дают никакой прибыли и только мешают единственно важному в жизни, являясь неприятной необходимостью. Гостиная была в том же роде – хаос ящиков и старых бумаг, да и конторских табуретов в ней было гораздо больше, чем стульев, не говоря уже о громадной уродливой конторке, растопырившейся посередине комнаты, и о несгораемом шкафе, вделанном в стену над камином. Оди-

нокий столик для трапез и приема гостей по сравнению с конторкой и прочей конторской мебелью значил для хозяев так же мало, как всякие приятности жизни и безобидные удовольствия по сравнению с погоней за наживой, сейчас этот столик был довольно скаречно накрыт к обеду, и сам Энтони, сидевший в кресле перед огнем, поднялся навстречу сыну и двум прелестным сестрицам.

Известная поговорка предупреждает нас, чтобы мы не искали старой головы на молодых плечах; к этому можно прибавить, что мы редко встречаемся с таким противоестественным сочетанием, не испытывая желания сшибить эту голову с плеч долой, просто из присущего нам стремления видеть каждую вещь на своем месте. Нет ничего невероятного в том, что многие, отнюдь не обладая холерическим темпераментом, испытывали такое желание, впервые знакомясь с мистером Джонасом; но если бы они узнали его ближе, в его собственном доме, и посидели бы с ним вместе за его столом, то это желание несомненно пересилило бы все другие соображения.

– Ну, скелет! – начал мистер Джонас, как почтительный сын адресуясь с этим прозвищем к родителю. – Обед скоро будет готов?

– Должно быть, скоро, – отвечал старик.

– Что это за ответ? – возразил сын. – «Должно быть, скоро». Я хочу знать наверно.

– А! Ну, этого я не знаю, – сказал Энтони.

– Этого вы не знаете! – отвечал сын, несколько понизив голос. – Ничего-то вы не знаете как следует, ровно ничего. Дайте-ка сюда свечу, мне она нужна для барышень.

Энтони подал ему облезлый конторский подсвечник, и мистер Джонас проводил девиц в соседнюю спальню, где и оставил их снимать шали и шляпки; после чего, возвратившись в гостиную, принялся откупоривать бутылку с вином и точить большой нож, бормоча комплименты по адресу папаши, чем и занимался до тех пор, пока не подали обед, одновременно с которым появились и девицы. Трапеза состояла из жареной баранины с зеленью и картофелем, которые были принесены какой-то растрепанной старухой, но она тут же ушла, предоставив сотрапезникам наслаждаться сколько угодно.

– Холостяцкое хозяйство, сестрица, – сказал мистер Джонас, обращаясь к Чарити. – Воображаю, как та, другая, будет смеяться над нами, когда вернется домой. Вот, садитесь справа от меня, а ее я посажу слева. Ну, вы, другая, идете сюда, что ли?

– Вы такое страшилище, – отвечала Мерри, – что я в рот ничего не возьму, если сяду рядом с вами; ну да уж нечего делать.

– Вот бойкая какая, верно? – прошептал мистер Джонас, по своей излюбленной привычке толкая старшую сестру локтем.

– Ах, право, не знаю! – обидчиво возразила мисс Пексниф. – Мне надоело отвечать на такие глупые вопросы.

– Что это еще затеял мой драгоценный родитель? – сказал мистер Джонас, видя, что его отец снует взад и вперед по комнате, вместо того чтобы садиться за стол. – Что вы там ищете?

– Я потерял очки, Джонас, – сказал Энтони.

– Садитесь без очков, не можете, что ли? – возразил его сын. – Ведь вы из них, я думаю, не едите и не пьете! А куда девался этот старый соня Чаффи? Ну, вы, разиня! Что вы, имени своего не знаете, что ли?

По-видимому, тот не знал, так как не вышел к столу, пока его не позвал старик Энтони. Дверь маленькой стеклянной каморки медленно открылась, и оттуда выполз маленький подслеповатый старичок, очень дряхлый и совсем сморщенный. Он казался таким же старомодным и пыльным, как и вся обстановка; одет он был в ветхий черный сюртук и в короткие штаны до колен, украшенные сбоку порыжевшими черными бантами, словно отпоротыми со старых туфель; на тонких, как веретено, ногах были заношенные шерстяные чулки того

же цвета. Он выглядел так, как будто его лет пятьдесят тому назад убрали в чулан и позабыли там, а теперь кто-то нашел и вытащил.

Еле-еле дотащился он до стола и с трудом уселся на свободный стул, с которого опять поднялся, по-видимому намереваясь отвесить поклон, когда до его смутно брезжившего сознания дошло, что тут присутствуют посторонние и что эти посторонние – дамы. Однако он так и не поклонился и, снова усевшись и подышав на свои морщинистые руки, чтобы отогреть их, уткнулся в тарелку унылым посиневшим носом и уже ни на что больше не глядел и ни на что не откликался. В таком состоянии он был воплощенное ничто – нуль и ничего более.

– Наш конторщик, – представил его мистер Джонас в качестве хозяина и церемониймейстера. – Старик Чаффи.

– Он глухой? – спросила одна из девиц.

– Нет, не сказал бы. Он ведь не глухой, папаша?

– Я не слышал, чтобы он на это жаловался, – ответил старик.

– Слепой? – спросили девицы.

– Н-нет, не думаю, чтобы он был слепой, – сказал Джонас равнодушно. – Вы ведь не считаете его слепым, папаша?

– Разумеется, нет, – возразил Энтони.

– Так что же с ним такое?

– Пожалуй, я вам скажу, что с ним такое, – прошептал мистер Джонас, обращаясь к девицам: – он зажился на свете, во-первых, и я не вижу причины этому радоваться; думаю, как бы и папаша не пошел по его дорожке. А во-вторых, он чудной старикашка, – добавил он погромче, – и никого решительно не понимает, кроме вот него! – Он ткнул в сторону своего почтенного родителя вилкой, чтобы девицам было понятно, кого он имеет в виду.

– Как это странно! – воскликнули обе сестры.

– Видите ли, – продолжал мистер Джонас, – он всю жизнь корпел над цифрами и счетными книгами, а лет двадцать назад взял да и заболел горячкой. Все время, пока он был не в себе (недели этак три), он считал не переставая и дошел напоследок до миллионов, так что это, я думаю, и сбило его с панталыку. Ну, работы у нас теперь не так много, а конторщик он не плохой.

– Очень хороший, – сказал Энтони.

– Да и недорого обходится, – сказал Джонас, – во всяком случае свой хлеб ест не даром, а мы с него больше и не спрашиваем. Я вам говорил, что он почти никого не понимает, кроме папаши; зато его он всегда понимает и даже в себя приходит, просто удивительно. Он давно служит у папаши и привык к нему. Да вот вам: я видел, как он играет в вист с папашей – роббер за роббером, даже не имея понятия, кто их партнеры.

– Он ничего не ест? – спросила Мерри.

– О да, – ответил Джонас, усердно работая ножом и вилкой. – Он ест, когда его кормят. Только ему все равно, сколько ждать, минуту или час, если папаша сидит тут же; так что когда я голоден, вот как сегодня, я ему даю его порцию после того, как сам немного закушу, знаете ли. Ну, Чаффи, старый разиня, вы готовы, что ли?

Чаффи не пошевелился.

– Всегда был упрямый старый пень, – сказал мистер Джонас, хладнокровно кладя себе на тарелку второй кусок. – Спросите его, папаша.

– Вы готовы, Чаффи, можно вам давать обедать? – спросил старик.

– Да, да, – сказал Чаффи, весь просияв и становясь разумным человеческим существом при первом звуке его голоса, так что видеть это было и любопытно и трогательно, – да, да, совсем готов, мистер Чезлвит. Совсем готов, сэр. Готов, готов, готов. – Тут он остановился

и стал слушать, не скажет ли старик что-нибудь еще; но так как с ним больше не говорили, свет мало-помалу угас на его лице, и он снова обратился в ничто, в нуль.

– Смотреть на него не очень приятно, имейте в виду, – сказал Джонас кузинам, передавая отцу тарелку с порцией старика. – Если это не суп, он всегда давится. Вот поглядите! Таращится, как слепая лошадь! Не будь это так смешно, я бы и не посадил его сегодня за стол; только, я думаю, это вас позабавит.

Бедный старик, предмет, этой гуманной речи, к счастью для себя, не понимал ее, как и почти всего, что при нем говорилось. Но так как баранина была жесткая, а зубов у него совсем не осталось, он вскоре оправдал замечание насчет его склонности давиться и до такой степени мучился, пытаясь пообедать, что мистер Джонас ужасно развеселился и объявил, что старик сегодня решительно в ударе, просто лопнуть можно со смеху. Он до того разошелся, что стал уверять сестер, будто Чаффи даже папашу заткнет за пояс, а это, прибавил он многозначительно, не так-то легко сделать.

Казалось странным, что Энтони Чезлвит, сам глубокий старик, находил удовольствие в выходках своего любезного сынка по адресу бедной тени, сидевшей за их столом. Однако он находил в этом удовольствие, хотя, надо отдать ему справедливость, радовался не столько шуткам по адресу престарелого конторщика, сколько остроумию мистера Джонаса. По той же причине грубые намеки молодого человека, метившие даже в него самого, наполняли его ликованием, заставляя потирать руки и хихикать исподтишка, словно он хотел сказать: «Я его учил, я его воспитывал. Это мой наследник, мое произведение! Хитрый, пронырливый, скупой, он не растратит моих денег. Для этого я работал, на это я надеялся, это было целью всей моей жизни».

Поистине благородная цель, достижением которой стоило восхищаться! Но ведь есть и такие люди, которые, создав себе кумиров по образу и подобию своему, отказываются им поклоняться, обвиняя в их уродливости ни в чем не повинную природу. Энтони, во всяком случае, был лучше этих людей.

Чаффи так долго возился со своей тарелкой, что мистер Джонас, потеряв терпение, отобрал ее и попросил отца сообщить этому почтенному старичку, чтобы он лучше «навалился на хлеб», что Энтони и сделал.

– Да, да! – воскликнул старик, просияв, как прежде, едва это сообщение было ему передано. – Совершенно верно, совершенно верно. Весь в вас, мистер Чезлвит, ваш родной сын. Господь с ним, острого ума паренек! Господь с ним, господь с ним!

Мистеру Джонасу это показалось таким ребячеством (быть может, не без основания), что он расхохотался еще пуще и сказал кузинам, что в один прекрасный день Чаффи его, верно, уморит. После этого скатерть сняли и поставили на стол бутылку вина, из которой мистер Джонас налил девицам по стакану, прося их не церемониться с вином, так как там, откуда его взяли, найдется и еще. Однако, пошутив таким образом, он поторопился прибавить, что это он сказал только так и уверен, что они не приняли шутку всерьез.

– Я выпью за Пекснифа, – сказал Энтони. – За вашего отца, милые мои! Умный человек, этот Пексниф. Осмотрительный человек! Хотя и лицемер, а? Ведь он лицемер, милые, а? Ха-ха-ха! Да, лицемер. Между нами говоря, лицемер. Он от этого не хуже, хоть иной раз и хватает через край. Во всем можно перестараться, дорогие мои, даже и в лицемерии. Спросите хоть Джонаса!

– Ну, когда бережешь свое здоровье, не бойся перестараться, – заметил многообещающий юноша, набивая себе рот.

– Слышите, милые мои? – воскликнул Энтони в полном восторге. – Умно, умно! Отлично сказано, Джонас! Да, в этом отношении нельзя перестараться.

– Разве только, – шепнул мистер Джонас своей любимой кузине, – если заживешься на свете! Ха-ха! Послушайте, скажите это и той, другой.

– Господи боже! – воскликнула Черри обидчиво. – Неужели вы не можете сказать ей сами, если вам так хочется?

– Уж очень она любит издеваться, – отвечал мистер Джонас.

– Тогда чего же вы о ней беспокоитесь? – спросила Чарити. – По-моему, она не очень-то о вас беспокоится.

– Неужто нет? – спросил Джонас.

– Боже мой, разве вы сами не видите? – возразила молодая особа.

Мистер Джонас ничего не ответил, зато посмотрел на Мерри как-то странно и сказал, что от этого его сердце не разобьется, можете быть уверены. После чего он стал поглядывать на Чарити еще благосклоннее и попросил ее, со свойственной ему любезностью, «придвинуться поближе».

– А вот еще в чем нельзя перестараться, папаша, – заметил Джонас после краткого молчания.

– В чем это? – спросил отец, заранее ухмыляясь.

– В делах, – ответил сын. – Вот вам правило для всяких сделок. «Жми других, чтобы тебя не прижали». Вот чем надо руководиться в делах. А все прочее – обман.

Восхищенный отец откликнулся на эту мысль так горячо и до того обрадовался, что положил немало трудов, пытаясь сообщить ее своему дряхлому конторщику, который потирал руки, кивал трясущейся головой, мигал слезящимися глазами и восклицал тоненьким голосом: «Отлично! Отлично! Ваш родной сын, мистер Чезлвит! Весь в вас!» – выражая свой восторг всеми доступными ему средствами. Но это ликование старика скрашивалось тем, что было обращено к единственному человеку, с которым его соединяли узы привычки и теперешняя беспомощность. И если бы здесь присутствовал участливый наблюдатель, он сумел бы найти следы так и не развившихся человеческих чувств в мутном осадке на дне ветхого сосуда, именуемого Чаффи.

Однако не нашлось никого, кто принял бы в старике участие, и Чаффи опять удалился в темный уголок возле камина, где всегда проводил вечера; больше его никто уже не видел и не слышал, и только когда ему подали чашку чаю, присутствующие могли заметить, как он машинально макает в нее хлеб. Трудно было предположить, что он спит в это время или же видит, слышит, думает, чувствует что-нибудь. Он сидел, словно замороженный, если к нему можно применить такое сильное выражение, и оттаивал только на минуту, когда Энтони с ним заговаривал или прикасался к нему.

Мисс Чарити, разливавшая чай по просьбе мистера Джонаса, вошла в роль хозяйки дома и совсем расчувствовалась, тем более что мистер Джонас сидел рядом и нашептывал ей разные нежности, выражая свое восхищение.

Мисс Мерри, досадуя, что этот вечер и все удовольствия принадлежат несомненно и исключительно им двоим, безмолвно сожалела о коммерческих джентльменах, в эту самую минуту, конечно, тосковавших по ней, и зевала над вчерашней газетой. Что же касается Энтони, он сразу уснул; таким образом, арена была предоставлена Джонасу и Черри на все время, пока им самим будет угодно.

Когда чайный поднос, наконец, убрали, мистер Джонас достал замасленную колоду карт и принялся развлекать сестер разными фокусами, главная суть которых состояла в том, чтобы заставить кого-нибудь держать с вами пари, а потом выиграть пари и прикарманить денежки. Мистер Джонас сообщил девицам, что такие развлечения сейчас в большой моде в самом высшем обществе и что при азартной игре постоянно переходят из рук в руки большие деньги. Следует заметить, что он и сам этому искренне верил; на всякого хитреца довольно простоты, так же как и на всякого простака; и во всех случаях, где доверие основывалось на убеждении в человеческой низости и плутовстве, мистер Джонас оказывался самым легко-

верным человеком. Впрочем, читателю не следует также упускать из виду его поразительное невежество.

Этот прекрасный молодой человек имел все качества, чтобы стать записным кутилой, но к полному списку пороков ему недоставало единственного хорошего свойства, отличающего настоящего прожигателя жизни, а именно широты натуры. Ему мешали жадность и скаредность; и как один яд уничтожает действие другого там, где оказываются бессильны лекарства, так и этот порок удерживал его от полной меры зла, что вряд ли удалось бы добродетели.

После того как мистер Джонас показал свое нехитрое искусство, наступил уже поздний вечер; и так как мистер Пексниф все еще не показывался, девицы выразили желание отправиться домой. Но этого мистер Джонас по своей галантности никак не мог допустить, не угостив их сыром и портером, и даже тогда ему ужасно не хотелось с ними расставаться, и он то просил мисс Чарити посидеть еще немножко, то придвинуться поближе, – словом, не скупился на просьбы самого лестного характера, неуклюже играя роль радушного хозяина. Когда все его усилия удержать сестер оказались тщетны, он надел шляпу и пальто, готовясь сопровождать их в пансион, и заметил, что они, конечно, предпочтут идти пешком и что он со своей стороны вполне с ними согласен.

– Спокойной ночи, – сказал Энтони, – спокойной ночи! Кланяйтесь от меня – ха-ха-ха! – Пекснифу! Берегитесь вашего кузена, милые барышни. Бойтесь Джонаса, он опасный человек. Да смотрите не поссорьтесь из-за него.

– Ах он страшилище! – воскликнула Мерри. – Очень нужно из-за него ссориться. Можешь совсем взять его себе. Черри, милочка моя. Дарю тебе свою долю.

– Ага! Зелен виноград! Верно, сестрица? – сказал Джонас.

Этот остроумный ответ насмешил мисс Чарити гораздо больше, чем можно было ожидать, принимая во внимание почтенный возраст и крайнюю незамысловатость остроты. Но, как любящая сестра; она упрекнула мистера, Джонаса за то, что он бьет лежачего, и попросила оставить в покое бедную Мерри, иначе она, Чарити, его просто возненавидит. Мерри, которая не лишена была чувства юмора, только засмеялась на это, и они возвращались домой довольно мирно, без обмена колкостями по дороге. Мистер Джонас, находясь между двумя кузинами и ведя их под руки, иногда прижимал к себе не ту, которую следовало, и так крепко, что она едва терпела; но так как он все время шептался с Чарити и выказывал ей всяческое внимание, это была, вероятно, простая случайность. Как только они дошли до пансиона и им отперли дверь, Мерри сейчас же вырвалась от них и убежала наверх, а Чарити и Джонас целых пять минут простояли на крыльце, разговаривая; словом, как заметила миссис Тоджерс на следующее утро в беседе с третьим лицом, «было совершенно ясно, что между ними происходит, и она очень этому рада, потому что мисс Пексниф давно пора подумать о себе и пристроиться».

И вот уже близился день, когда светлое видение, так внезапно явившееся пансиону М. Тоджерс и озарившее солнечным сиянием мрачную душу Джинкинса, готовилось исчезнуть, когда его должны были запихнуть в дилижанс, словно бумажный сверток, или корзину с рыбой, или бочонок устриц, или какого-нибудь толстяка, или еще какую-нибудь скучную прозу жизни, и увезти далеко-далеко от Лондона!

– Никогда еще, дорогие мои мисс Пексниф, – говорила миссис Тоджерс, после того как они удалились на покой в последний день их пребывания в пансионе, – никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы какое-нибудь заведение так горевало, как мое теперь. Не думаю, чтобы джентльмены опять сделались прежними джентльменами или стали хоть сколько-нибудь на себя похожи раньше чем через несколько недель, да и то вряд ли. И в этом виноваты вы, вы обе.

Девушки сочувственно ахали и скромно оправдывались, ссылаясь на неумышленность своей вины в этом печальном положении вещей.

– И ваш папа тоже, – продолжала миссис Тоджерс. – Это такая потеря! Милые мои мисс Пексниф, ваш благочестивый папа – вестник мира и любви! Ну, прямо миссионер!

Девушки, однако, приняли этот комплимент довольно холодно, не зная наверняка, какого рода любовь подразумевает миссис Тоджерс.

– Если бы я осмелилась, – сказала миссис Тоджерс, заметив это, – нарушить то доверие, которого меня удостоили, и рассказать вам, почему я прошу вас не закрывать нынче вечером дверь между нашими комнатами, я думаю, вы бы услышали нечто весьма для вас интересное. Но я не могу этого сделать, я дала мистеру Джинкинсу честное слово, что буду молчать, как могила.

– Милая миссис Тоджерс! Что вы этим хотите сказать?

– Ну, в таком случае, милые мои мисс Пексниф, – начала хозяйка дома, – душечки мои, если только вы позволите мне такую фамильярность накануне нашей с вами разлуки: мистер Джинкинс и остальные джентльмены составили по секрету небольшую музыкальную программу и намерены ровно в полночь задать вам серенаду перед дверью на лестнице. Признаться, я бы предпочла, – продолжала миссис Тоджерс с обычной своей предусмотрительностью, – чтобы они выбрали время часа на два пораньше, потому что, когда джентльмены долго засиживаются, они много пьют, а когда выпьют, то слушать их далеко не так приятно, как трезвых. Но все уже решено, и я знаю, что вы будете очень польщены таким их вниманием, дорогие мои мисс Пексниф.

Девушки сначала так взволновались и так обрадовались этой новости, что решили совсем не ложиться спать, пока не кончится серенада. Но полчаса ожидания охладили их и заставили переменить мнение, и они не только улеглись в постель, но и заснули, да еще мало того – отнюдь не пришли в восторг, когда через некоторое время были разбужены сладкозвучными руладами, нарушившими мирную тишину ночи.

Это было очень трогательно, очень! Более заунывного пения нельзя было пожелать, даже обладая самым придирчивым вкусом. Любитель вокальной музыки был первым факельщиком или главным плакальщиком, Джинкинс пел басом, остальные – кто во что горазд. Самый младший из джентльменов изливал свою меланхолию на флейте. Выливалось у него далеко не все, но это было только к лучшему. Даже если бы обе мисс Пексниф – и миссис Тоджерс вместе с ними – погибли от самовозгорания и серенада была дана их праху, то и тогда вряд ли она могла бы выразить такую безысходную скорбь, какая звучала в хоре «Туда, где слава тебя ожидает!». Это был реквием, панихида, плач, стон, вопль, жалоба, воплощение всего, что заунывно и невыносимо для слуха! Флейта младшего из джентльменов звучала как-то странно – и неровно. Она то затихала, то слышалась порывами, как ветер. Довольно долго казалось, что флейтист совсем перестал играть; но когда миссис Тоджерс и обе девушки уже решили, что он удалился, в избытке чувств заливаясь слезами, флейта вдруг опять вступила в строй, и при этом на такой визгливой ноте, что сама захлебнулась. Исполнитель он был бесподобный. Никак нельзя было предвидеть, в какую минуту его услышишь; и именно тогда, когда вы думали, что он отдыхает и собирается с силами, тут-то он и проделывал что-нибудь из ряда вон выходящее.

Таких номеров в программе было несколько, и даже, может быть, на два, на три больше, чем нужно, – хотя, как сказала миссис Тоджерс, всегда лучше ошибиться в эту сторону. Но даже и тут, в такую торжественную минуту, когда волнующие звуки должны были проникнуть, так сказать, в самую сокровенную глубину его существа, – если у него вообще имелась эта глубина, – Джинкинс не оставлял в покое младшего из джентльменов. Перед началом второго номера он попросил его довольно громко, да еще в порядке личного одолжения, – нет, вы заметьте, каков злодей! – не играть. Да, он так и выразился: не играть. Дыхание

младшего из джентльменов было слышно даже сквозь замочную скважину. Он и не играл. Разве флейта могла дать выход страстям, бушевавшим в его груди? Тут и тромбон был бы слишком нежен.

Концерт близился к концу. Уже приступали к самому интересному номеру. Джентльмен литературной складки написал кантату на отъезд молодых девиц, приспособив ее к старому мотиву. Пели все, кроме младшего из джентльменов, который, по вышеуказанным причинам, хранил гробовое молчание. Кантата (носившая классический характер) обращалась к оракулу Аполлону и вопрошала, что станет с коммерческим пансионом М. Тоджерс, когда Сострадание и Милосердие его покинут? По обычаю, весьма распространенному среди оракулов, начиная с древнейших времен и до наших дней, оракул воздержался от скольконибудь вразумительного ответа. Не получив разъяснений по этому вопросу, кантата бросала его на полпути и переходила к дальнейшему, доказывая, что обе мисс Пексниф состоят в близком родстве с гимном «Правь, Британия»³⁹ и что если б Англия не была островом, то обеих мисс Пексниф не было бы на свете. Затем кантата принимала мореходный характер и заканчивалась так:

Плыви, о Пексниф, дай Зевес
Тебе погоды ясной!
Ты архитектор, и артист,
И человек прекрасный!

Предоставив воображению дам дорисовывать картину отплытия, джентльмены неспешным шагом проследовали на покой, чтобы музыка эффектно замирала в отдалении; и когда ее звуки мало-помалу утихли, пансион М. Тоджерс погрузился к сон.

Мистер Бейли приберег свое вокальное подношение до утра; просунув голову в дверь как раз в ту минуту, когда девицы стояли на коленях перед чемоданами и укладывались, он изобразил завывания щенка в ту трудную минуту жизни, когда, по представлению людей, наделенных живой фантазией, это животное, желая облегчить душу, требует пера и чернил.

– Ну, барышни, – сказал этот юноша, – так, значит, вы уезжаете? Не везет же нам.

– Да, Бейли, мы уезжаем, – ответила Мерри.

– И неужели так-таки никому не оставите по локону своих волос? – спросил Бейли. – Они ведь у вас настоящие?

Девицы засмеялись и ответили, что, разумеется, настоящие.

– Ах, разумеется, вот оно как? – сказал Бейли. – Что я вам скажу! У нее-то ведь фальшивые. Сам видел, висели вот на этом гвоздике у окна. А один раз я подкрался к ней сзади, когда обедали, и дернул, а она даже и не почувствовала. Вот что, барышни, я тоже тут не останусь. Только и знает, что ругается; мне это надоело, хватит с меня.

Мисс Мерри осведомилась, какие у него планы на будущее, и мистер Бейли сообщил, что думает поступить или в лакеи, или в армию.

– В армию! – воскликнули девицы со смехом.

– Ну да, – отвечал Бейли, – что ж тут такого? В Тауэре сколько угодно барабанщиков. Я с ними знаком. Скажете, родина ими не дорожит? Как бы не так!

– Тебя застрелят, вот увидишь, – сказала мисс Мерри.

– Ну, и что же из этого? – воскликнул Бейли. – Зато я буду герой, – верно, барышни? Уж лучше пусть убьют из пушки, чем скалкой, а она всегда чем-нибудь таким швыряется, если

³⁹ ...с гимном «Правь, Британия»... – английская песня, сложенная в пору владычества Англии на морях. Ее автор – поэт Джеймс Томсон (1700–1748). Музыка написана композитором Т.А. Арном (1710–1778).

джентльмены много едят. Ну и что ж, – сказал Бейли, – вспоминая перенесенные обиды, – что ж, если они истребляют провизию. Я, что ли, виноват?

– Никто этого не говорит, конечно, – сказала Мерси.

– Не говорят? – возразил Бейли. – Нет. Да. Ах! Ох! Может, никто и не говорит, да зато некоторые думают. Каждый раз, как провизия вздорожает, я это на своей шее чувствую. Не желаю, чтоб меня колотили до полусмерти из-за того, что на рынке все дорого. Не останусь нипочем. И значит, – прибавил мистер Бейли, распускаясь в улыбку, – если вы что-нибудь собираетесь мне подарить, давайте сейчас, а то, когда вы еще приедете, здесь и духу моего не будет; а если будет другой мальчишка, он того не стоит, чтоб ему давать, – верно говорю.

Девицы поступили согласно этому мудрому совету и, ввиду особо дружеских отношений, так щедро наградили мистера Бейли и от себя и от мистера Пекснифа. что тот не знал, как выразить свою благодарность, и весь день украдкой похлопывал себя по карману и разыгрывал другие веселые пантомимы, чтобы дать хоть какой-нибудь выход своим чувствам. Но и этого ему было мало: успешно раздавив картонку вместе с шляпой, он нанес затем серьезные повреждения саквою мистера Пекснифа, с таким усердием он его перетаскивал с верхнего этажа вниз; короче говоря, Бейли всеми доступными ему средствами проявлял живейшее чувство благодарности за щедрость, проявленную этим джентльменом и его семейством.

Мистер Пексниф вернулся к обеду под руку с мистером Джинкинсом, который нарочно отпросился со службы пораньше, намного опередив самого младшего из джентльменов, да и всех остальных, чье время, к несчастью, было занято до самого вечера. Мистер Пексниф выставил бутылку вина, и оба они настроились весьма общительно, хотя неизбежная разлука очень их огорчала. Обед был как раз наполовине, когда доложили о приходе старика Энтони с сыном, что весьма удивило мистера Пекснифа и решительно обескуражило Джинкинса.

– Пришли попрощаться, как видите, – сказал Энтони, понизив голос, после того как они с Пекснифом уселись у стола, пока остальные беседовали между собой. – Какой нам интерес ссориться? Порознь мы с вами – как две половинки ножниц, Пексниф, а вместе мы кое-что значим. Ну как?

– Единодушие, уважаемый, – отвечал мистер Пексниф, – всегда приятно видеть.

– Насчет этого не знаю, – сказал старик. – есть такие люди, с которыми я лучше буду ссориться, чем соглашаться. Но вам известно, какого я о вас мнения.

Мистер Пексниф, до сих пор не забывший «лицемера», только мотнул головой, не то в утвердительном, не то в отрицательном смысле.

– Оно самое лестное, – продолжал Энтони. – Самое лестное, даю вам слово. Даже и в то время это была невольная дань вашим способностям; ведь случай был совсем не такой, чтобы льстить. Но зато в дилижансе мы с вами договорились; мы отлично понимаем друг друга.

– О, вполне! – согласился мистер Пексниф, своим тоном давая почувствовать, что его совершенно не понимают, но что он на это не жалуется.

Энтони посмотрел на сына, сидевшего рядом с мисс Чарити, потом на мистера Пекснифа, потом опять на сына, и так много раз подряд. Взгляды мистера Пекснифа невольно приняли то же направление, но он тут же спохватился и опустил глаза, а потом и совсем закрыл их, словно для того, чтобы старик ничего не мог в них прочесть.

– Джонас неглупый малый, – сказал старик.

– По-видимому, – ответил мистер Пексниф самым невинным тоном, – он очень неглуп.

– Уж он не даст маху, – сказал старик.

– Не сомневаюсь и в этом, – отвечал мистер Пексниф.

– Послушайте! – сказал Энтони ему на ухо. – Мне кажется, он влюблен в вашу дочку.

– Пустяки, уважаемый, – сказал мистер Пексниф, не открывая глаз. – Молодежь, молодежь! И кроме того, родня все-таки. Вот и вся любовь, сэр.

– Ну, какая это любовь, судя по нашему с вами опыту! – возразил Энтони. – А не кажется ли вам, что тут кое-что побольше?

– Ничего не могу сказать, – отвечал мистер Пексниф. – Решительно ничего! Вы меня удивляете.

– Понимаю, – сухо сказал старик. – Может быть, это всерьез – то есть любовь, а не удивление; а может быть, и нет. Если предположить, что всерьез (вы ведь припасли кое-что на черный день, и я тоже), – дело может представить для нас с вами интерес.

Мистер Пексниф, кротко улыбаясь, хотел было заговорить, но Энтони остановил его:

– Знаю, что вы собираетесь сказать. Можете не трудиться. Вы, мол, никогда об этом не думали, ни единой минуты, а в таком деле, где речь идет о счастье вашей любимой дочери, вы, как любящий отец, не можете высказать определенного мнения, ну и так далее. Правильно, совершенно правильно. И очень похоже на вас! Но мне кажется, дорогой мой Пексниф, – прибавил Энтони, кладя руку ему на плечо, – что если мы с вами и дальше будем прикидываться, будто ничего не видим, – как бы одному из нас не остаться в накладе; а так как мне лично очень этого не хочется, то вы уж извините, что я взял на себя такую вольность и с самого начала решил с вами договориться, что мы это видим, и знаем, и принимаем к сведению. Спасибо за внимание. Мы теперь с вами в одинаковом положении, и это, я думаю, нам обоим одинаково приятно.

Он встал и, многозначительно кивнув мистеру Пекснифу, перешел туда, где сидела молодежь, оставив этого добродетельного человека несколько расстроенным и озадаченным после такого прямого натиска и к тому же несвободным от чувства, что он побежден своим же собственным оружием.

Но вечерний дилижанс имел обыкновение отправляться вовремя, и пора было идти к конторе; она находилась так близко, что, предварительно отослав багаж, они сами решили идти пешком. Туда они и направились всей компанией, замешкавшись не более, чем требовалось для завершения туалета обеих мисс Пексниф и миссис Тоджерс. Дилижанс был уже на месте, и лошади впряжены. Там же оказалось подавляющее большинство коммерческих джентльменов, включая и самого младшего, который был, видимо, взволнован и находился в глубочайшем унынии.

Ничто не могло сравниться с волнением миссис Тоджерс при расставании с девицами, разве только грусть, которую она проявила, прощаясь с мистером Пекснифом. Вероятно, никто и никогда еще не вынимал носовой платок из ридикюля так часто, как миссис Тоджерс; стоя на тротуаре у самой дверцы дилижанса, причем два коммерческих джентльмена справа и слева поддерживали ее под руки, а она при свете фонарей взирала на лицо добродетельного Пекснифа в те редкие и краткие мгновения, когда его не заслоняла спина мистера Джинкинса, ибо Джинкинс, являвший собою камень преткновения на жизненном пути младшего из джентльменов, стоял на подножке, беседуя с девицами. На другой подножке стоял мистер Джонас, занимавший эту позицию по праву родства; а самый младший из джентльменов, который первым прибежал на остановку, прятался в глубине конторы, среди черных с красным плакатов и изображений скорых дилижансов, где его бессовестно толкали носильщики и где ему приходилось поминутно вступать в единоборство с тяжелыми чемоданами. Это ложное положение вместе с расстройством нервов привело к катастрофе, завершившей все его несчастья: в минуту расставания он бросил цветок – оранжерейный цветок, который стоил денег, – намереваясь попасть в лилейную ручку Мерри, а вместо того угодил в кучера, который поблагодарил его и воткнул цветок в петлицу.

Итак, они уехали, и пансион миссис Тоджерс опять осиротел. Обе девицы, каждая в своем углу, были заняты собственными мыслями и сожалениями. Один только мистер

Пексниф, презрев эфемерные соблазны светских удовольствий и развлечений, сосредоточил все свои помыслы на единой добродетельной цели, которую он себе поставил, а именно: вышвырнуть за дверь этого неблагодарного, этого обманщика, чье присутствие до сих пор омрачает его домашний очаг и святотатственно оскверняет алтарь.

Глава XII, которая близко касается мистера Пинча и других, как это видно будет рано или поздно. Мистер Пексниф стоит на страже оскорбленной добродетели. Молодой Мартин принимает бсзрассудное решение

Мистер Пинч и Мартин, не помышляя о надвигающейся грозе, чувствовали себя очень уютно в Пекснифовых чертогах и с каждым днем сходились все ближе и ближе. Мартин работал с необыкновенной легкостью, придумывал и осуществлял придуманное, и план начальной школы весьма энергично двигался вперед; Том постоянно твердил, что если бы в человеческих расчетах было сколько-нибудь надежности или в судьях сколько-нибудь беспристрастия, то проект, отличающийся такой новизной и высокими достоинствами, непременно получил бы первую премию на будущем конкурсе. Мартин, хотя и настроенный гораздо более трезво, тоже возлагал много надежд на будущее, и эти надежды позволяли ему работать быстро и с увлечением.

– Если я стану когда-нибудь выдающимся архитектором, – сказал однажды новый ученик, отходя на несколько шагов от своего чертежа и разглядывая его с большим удовольствием, – сказать вам, что я построю в первую очередь?

– Да! – воскликнул Том. – Что именно?

– Вашу судьбу, вот что.

– Не может быть! – сказал Том с такой радостью, как будто это было уже сделано. – Неужели? Как это мило с вашей стороны!

– Я построю вашу судьбу на таком прочном фундаменте, – ответил Мартин, – что вам хватит на всю вашу жизнь, и вашим детям тоже, и внукам. Я буду вашим покровителем, Том. Я возьму вас под свою защиту. Пусть-ка кто-нибудь попробует обойтись пренебрежительно с тем, кого я возьму под свою защиту и покровительство, если мне удастся выйти в люди!

– Ну, честное слово, – сказал Пинч, – не помню, чтобы я когда-нибудь был так доволен. Право, не помню.

– О, ведь я это не для красного словца говорю, – ответил Мартин с таким откровенным снисхождением к собеседнику и даже как бы с сожалением, как будто его уже назначили первым придворным архитектором всех коронованных особ Европы. – Я это сделаю. Я вас пристрою.

– Боюсь, – сказал Том, качая головой, – что меня будет не так-то легко пристроить.

– Ну, ну, не беспокойтесь, – возразил Мартин. – Если мне вздумается сказать: «Пинч дельный малый, я высоко ценю Пинча», хотел бы я видеть, кто осмелится мне противоречить. А кроме того, черт возьми, Том, вы мне тоже можете быть полезны во многих отношениях!

– Если я не буду полезен хотя бы в одном, то не по недостатку усердия, – отвечал Том Пинч.

– Например, – продолжал Мартин после краткого размышления, – вы отлично можете ну хотя бы следить за тем, чтобы мои планы выполнялись как следует; наблюдать за ходом работ, пока они не продвинутся настолько, что будут интересны для меня самого; одним словом, вы мне понадобится везде, где нужна черновая работа. Потом вы прекрасно можете показывать посетителям мою мастерскую и беседовать с ними об искусстве, если мне

самому будет некогда, ну и так далее, в том же роде. Для моей репутации было бы очень полезно (я говорю совершенно серьезно, даю вам слово) иметь около себя человека с вашим образованием, вместо какого-нибудь заурядного тупицы. Да, я о вас позабочусь. Вы будете мне полезны, не беспокойтесь!

Сказать, что Том никогда не думал играть первую скрипку в оркестре и был вполне доволен, если ему указывали стопятидесятое место в нем, значило бы дать весьма неполное представление о его скромности. Он был очень рад слышать эти слова Мартина.

– К тому времени я, конечно, женюсь на ней, Том. – продолжал Мартин.

Отчего вдруг перехватило дыхание у Тома Пинча, отчего в самом разгаре радости краска залила его честное лицо и раскаяние закралось в его честное сердце, будто он недостойн уважения своего друга?

– К тому времени я женюсь на ней, – продолжал Мартин, улыбаясь и шурясь на свет, – и у нас, я надеюсь, будут дети. Они вас будут очень любить, Том.

Но ни единого слова не вымолвил мистер Пинч. Те слова, которые он хотел произнести, замерли на его устах и ожили в его душе, в самоотверженных мыслях.

– Все дети здесь любят вас, Том, – продолжал Мартин, – и мои тоже, конечно, будут любить вас. Может быть, одного ребенка я назову в вашу честь Томом, а? Не знаю, право. Неплохое имя – Том! Томас Пинч Чезлвит. Т. П. Ч. – на передничках. Вы не возражаете?

Том откашлялся и улыбнулся.

– Ей вы понравитесь, Том, я знаю, – сказал Мартин.

– Да? – отозвался Том слабым голосом.

– Я могу вам сказать совершенно точно, какие она будет питать к вам чувства, – продолжал Мартин, опершись подбородком на руку и глядя в окно так, как будто читал в нем. – Я ее хорошо знаю. Сначала она будет часто улыбаться, глядя на вас, Том, или, разговаривая с вами, – весело улыбаться; но вы на нее не обидитесь, – такой ясной улыбки вы еще не видели.

– Нет, нет, – сказал Том, – я не обижусь.

– Она будет нежна с вами, Том, – продолжал Мартин, – как если бы вы сами были ребенком. Да так оно и есть, в некоторых отношениях вы совсем ребенок, Том, ведь правда?

Мистер Пинч кивнул в знак полного согласия.

– Она всегда будет с вами добра и ласкова и всегда рада вас видеть, – сказал Мартин, – а когда она узнает хорошенько, что вы за человек (что будет очень скоро), она нарочно станет давать вам всякие поручения и просить, чтобы вы оказывали ей маленькие услуги, зная, что вы сами рветесь их оказывать; и, стараясь доставить вам удовольствие, будет делать вид, что это вы ей доставили удовольствие. Она к вам ужасно привяжется, Том, и будет понимать вас гораздо лучше, чем я; и часто будет говорить. Это уж я наверно знаю, какой вы кроткий, безобидный, добрый и ко всем благожелательный человек.

Как притих бедный Том Пипч!

– В память старых времен, – продолжал Мартин, – и в память того, как она слушала вашу игру в этой затхлой маленькой церковке – да еще безвозмездную, – у нас в доме тоже будет орган. Я выстрою концертный зал по собственному плану, и орган будет выглядеть совсем неплохо в глубине зала. И вы будете играть на нем, сколько сами захотите, а так как вам нравится играть в темноте, там будет темно; и летними вечерами мы с ней будем сидеть и слушать вас, Том, вот увидите.

Со стороны Тома Пинча потребовалось, быть может, гораздо больше усилий, чтобы с ясным лицом, выражающим одну только благодарность, подняться со стула и пожать своему другу обе руки от чистого сердца, чем для свершения многих и многих подвигов, к которым призывает нас мощными звуками неверная труба Славы. Потому неверная, что от парения над смертными схватками, в дыму и огне сражений засорились клапаны этого благородного инструмента, и далеко не всегда он звучит верно и стройно.

– Это доказывает только, как добр человек от природы, – сказал Том, со свойственной ему скромностью избегая говорить о себе: – все, кто бы сюда ни приехал, относятся ко мне гораздо лучше и внимательнее, чем я мог бы надеяться – если б был первым оптимистом на свете, или мог бы выразить – если б был первым оратором. Я просто не нахожу слов. Но верьте мне, – сказал Том, – что я вам благодарен, что я этого ввек не забуду и когда-нибудь докажу вам всю правду моих слов, если смогу.

– Все это прекрасно, – заметил Мартин, засунув руки в карманы. Он откинулся на спинку стула и зевнул от скуки. – Неплохо сказано, Том; только я все еще у Пекснифа, сколько помнится, и скорее в тупике, чем на торной дороге славы. Так вы нынче утром опять получили письмо от этого... как его?

– От кого это? – спросил Том, кротко вступаясь за отсутствующего друга.

– Ну, вы знаете. Как его? Зюйдвест, что ли.

– Уэстлок, – отвечал Том несколько громче обыкновенного.

– Да, верно, – сказал Мартин, – Уэстлок. Помню, что фамилия в этом роде, имеет отношение к компасу. Ну, так что же пишет этот Уэстлок?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.